
Мих. П.
ЧЕХОВ


СВИРЕЛЬ

Мих. П. Чехов

СВИРЕЛЬ

повести, рассказы, очерки

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1969

Р2
Ч56

Составление, подготовка текста и вступительная статья М. П. Сокольникова

Примечания С. М. Чехова

7-3-2

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ — БЕЛЛЕТРИСТ

Семья Чеховых была удивительно талантлива. Антон Павлович создал целую эпоху в русской литературе, он был необыкновенным по душевной чуткости и деликатности человеком. Многообразием творческих дарований и незаурядностью натур отличались и другие члены чеховской семьи.

Известно, что отец А. Чехова, Павел Егорович, играл на скрипке, пел и руководил хором; были у него и живописные способности, что видно по его картине «Иоанн Богослов», находящейся в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте.

Старший брат писателя, Александр, выступавший под псевдонимом А. Седой, был автором ряда рассказов, очерков, статей, великолепным корреспондентом.

Второй брат Антона Павловича, Николай, обладал большими способностями живописца и иллюстратора — он ценился Чеховым как «хороший, сильный, русский талант». Его картины «Бедность» и «Девица в голубом» и сейчас привлекают вдумчивой передачей правды жизни, а многочисленные его рисунки и карикатуры ждут еще специального исследования.

Теплым талантом были отмечены и живописные работы сестры Чехова — Марии Павловны. В чеховском музее-квартире в Москве на Садовой-Кудринской висят ее небольшие пейзажи и портреты. Талантом педагога и обаятельной по скромности человечностью отличался Иван Павлович Чехов.

Разносторонне даровит был и младший брат Антона — Михаил Павлович. Он родился 6 (18) октября 1865 года в Таганроге и умер 14 ноября 1936 года в Ялте. Миша, не раз упоминаемый в письмах Чехова, числился в семье своего рода секретарем Антона Павловича. Он был в курсе литературных начинаний старшего брата, переписывал своим четким почерком его

отдельные произведения, носил по редакциям юмористических журналов рукописи Антона, бегал получать за них гонорар.

Естественно, что участие в делах брата возбуждало интерес Михаила Павловича к литературе, к журналистике. Положительно влияло общение со многими видными писателями, артистами, художниками и музыкантами — друзьями Антона.

Со временем Михаил Павлович сам стал писателем и журналистом. Кроме того, он писал акварелью, рисовал по фарфору. Не случайно его зарисовки интерьеров и отдельные пейзажи стали ценными документальными материалами к биографии Чехова. Наконец, младший брат Антона Павловича неплохо играл на рояле.

Воспитанный в духе идеалов прогрессивной демократической интеллигенции, Михаил Чехов в своих литературных работах стремился быть выразителем ее духовных стремлений. Однако можно утверждать, что основным воспитателем его гражданских и этических черт был старший брат. Именно Антон давал в повседневной жизни пример честнейшего отношения к своему делу и гуманного, участливого отношения к людям.

Начав писать еще в гимназии, Михаил Чехов пробует себя в литературе довольно широко, когда начинает учиться в Московском университете на юридическом факультете. В конце восьмидесятых годов появляются его рассказы на детские темы — они печатались в журналах «Детский отдых», «Друг детей», «Родник», «Детское чтение». Рассказы и очерки по общим вопросам и разнообразная юмористика Михаила Чехова находили место на страницах таких журналов, как «Свет и тени», «Будильник», «Русский сатирический листок», печатались в газете «Новости дня», то есть, по существу, в той же периодике, где тогда выступал и Антон Павлович. Надо сказать, что младший брат Чехова занимался и стихотворчеством, сочинял веселые экспромты в стихах.

Михаил Чехов помещал свои произведения под разными псевдонимами — М. Богемский, М. Б-ский, Максим Халява, Капитан Кук, М. Ч. В псевдониме Богемский, возможно, сказался отклик на легенду о происхождении рода Чеховых из Чехии, о чем так поэтически рассказывал в семье дядя Митрофан Егорович.

Произведениям начинающего автора нельзя было отказать в безусловном литературном даровании. Антон следил за писательскими опытами младшего брата и радовался его успехам.

«Миша может написать исторический роман для детей»,— говорил он в одном из писем 1889 года к Суворину [1].

Неопытность и неокрепшее еще в то время мировоззрение, естественно, вызывали появление, что называется, «всякой всячины». И все же рассказы Михаила Чехова даже в его ранние годы пронизаны демократическими убеждениями. Среди его героев видное место занимали обездоленные люди, о судьбах которых он писал с явным сочувствием.

Автор обстоятельного очерка о жизни и писательской деятельности Михаила Павловича Е. Балабанович, говоря об этом периоде его творчества, пишет, что молодого литератора увлекла тогда и «романтика путешествий в неведомые страны. Так, в рассказах «На Дальнем Востоке», «В океан» описано путешествие врача вместе с братом-гимназистом в Китай и на острова Таити. Интересно, что в облике одного из героев — врача Анатоля можно узнать некоторые черты реального портрета А. П. Чехова» [2].

В начале девяностых годов Михаил Чехов показывает себя и способным переводчиком. Серьезным изучением английского языка он был обязан сестрам Шавровым, с которыми его познакомил брат Антон. Михаил Павлович овладел английским, французским и позднее итальянским языками и стал, как говорили в семье Чеховых, «полиглотом». В книге воспоминаний «Вокруг Чехова» он рассказывает о себе как переводчике: «Кроме бесчисленного множества разных мелких журнальных и газетных статей и драматических произведений мною переведено с иностранных языков 43 больших тома убористой печати».

Анализируя первые литературные произведения Михаила Чехова, нельзя не заметить, что ему еще не хватало жизненных наблюдений.

С 1890 года начинается новая полоса в его жизни, когда в течение целых одиннадцати лет ему пришлось жить в провинции и близко познать российскую действительность маленьких уездных городков, сел и деревень. Это новое «бытие» расширило кругозор писательских впечатлений Чехова, дало многообразный материал. Жизнь в провинции помогла ему укрепить свои убеждения, глубже вникнуть в социальный смысл бытовых явлений, понять их с передовых демократических позиций.

---

[1] Письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину 23 октября 1889 года. Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 422. М., Гослитиздат, 1944—1951 гг.

[2] *Е. Балабанович.* Вступительная статья к книге М. П. Чехова «Вокруг Чехова».

Михаил Павлович вначале служит податным инспектором в городе Ефремове Тульской губернии, откуда вскоре переводится в Алексин на Оке. Перед молодым писателем проходит довольно жалкая жизнь чиновников в замкнутой обстановке, с постоянной картежной игрой, выпивками и мелкими пересудами. Частые поездки по уезду давали потрясающие по своим контрастам картины жизни темного, закабаленного крестьянства и деревенских мироедов, всякого полицейского и прочего начальства, ограждающего интересы помещиков и богатеев. В подобной обстановке трудно было сохранить в себе радостное чувство жизни.

В 1892 году Михаилу Павловичу удалось добиться перевода на службу в Серпухов, поближе к Мелихову — имению Антона Павловича, в котором семья Чеховых начала налаживать свое хозяйство. Это позволило ему чаще бывать в усадьбе старшего брата, а летние месяцы почти целиком проводить в Мелихове. Михаилу Павловичу пришлось стать организатором чеховского «поместья», и брат с удовлетворением отмечает эту его работу. «Миша превосходно хозяйничает... Без него я ничего бы не сделал»,— писал в одном из мелиховских писем Антон Павлович[1].

В эти годы появляется написанный Михаилом Чеховым словарь для сельских хозяев «Закром», который и явился своеобразным итогом его сельскохозяйственного опыта. Здесь освещались вопросы полеводства, огородничества, садоводства, животноводства, давались советы по домоводству.

Но неожиданно серпуховская служба Михаила Чехова прерывается. «Миша выхлопотал себе перевод в Углич,— сообщает в письме Суворину Антон Павлович.— Не сидится ему. Службу свою ненавидит».

Углич был настоящей уездной глушью, и здесь легко было потерять душевную бодрость. Но Чехов находит себе отдушину в работе с любителями сценического искусства, организует интересную самодеятельную труппу, режиссирует, становится актером и декоратором. Но и этого мало — Михаил Павлович сам пишет пьесы, и отдельные из них находят место в репертуаре провинциальных театров. Большой успех имел его водевиль «За двадцать минут до звонка».

В конце 1895 года Михаил Чехов переезжает в Ярославль, где назначается исполняющим должность начальника отделения Ярославской казенной палаты. В этом большом губернском го-

---

[1] Письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину 16 февраля 1894 года. Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 124.

роде, культурном центре Верхнего Поволжья, имеющем великолепный русский театр, он продолжает свою деятельность и как литератор и театральный обозреватель. Его статьи и рецензии печатались не только в местной прессе, но и в столичном журнале «Театр и искусство». «Если ты пишешь рецензии (подпись Ч.), то поздравляю, они очень недурны»,— откликался на рецензентскую работу брата Антон Павлович [1].

Однако служба в казенной палате далеко не удовлетворяет Михаила Чехова. Он видит здесь черствую, себялюбивую касту, тесно спаянную чиновными интересами, борьбой за карьеру и абсолютно чуждую защите народных интересов. Окружающая обстановка давала впечатлительному финансовому работнику, стремившемуся как-то облегчить положение налогоплательщиков, немало типических картин. Но если в Угличе они носили, и нередко, анекдотический характер, нашедший отражение в рассказах «Интрига», «На барже» и др., то ярославские впечатления породили образы, отталкивающие по степени типизации социального зла.

Таков, например, генерал из рассказа «Генеральша», прототипом которого послужил начальник Ярославской казенной палаты действительный статский советник Михаил Сергеевич Кропотов. Это его имел в виду Михаил Павлович, когда писал брату 7 февраля 1901 года:

«Я понимаю — служить государству, служить идее, но служба генеральскому желудку и печени для меня унизительна. Они привыкли считать государственное учреждение своей спальной, своей собственностью — и пусть считают. Не он, так другой,— все они одинаковы» [2].

В этом же году Михаил Чехов кончает с чиновничьей службой, будучи полностью разочарован в носителях тогдашней «законности». Он переезжает в Петербург, где впоследствии поступает заведующим книжной торговлей на железных дорогах, в контрагентство А. С. Суворина. «Мне кажется, это дело как раз по нем; он может сделать много хорошего»,— сообщает об этом в одном из писем Антон Павлович [3].

Новое положение позволило Михаилу Чехову иметь свободное время для литературной работы, быть ближе к писатель-

---

[1] Письмо А. П. Чехова к М. П. Чехову 3 декабря 1899 года. Полное собрание сочинений, т. XVIII, стр. 275.

[2] Письмо М. П. Чехова А. П. Чехову. Архив С. М. Чехова.

[3] Письмо А. П. Чехова А. С. Суворину 24 сентября 1902 года. Полное собрание сочинений, т. XIX, стр. 351.

ским запросам. Теперь он много занимается беллетристикой, пишет в тогдашних столичных журналах и газетах.

Часть рассказов Михаила Павловича печаталась в суворинской газете «Новое время», в годы, когда Антон Павлович уже прекратил в ней всякое сотрудничество. Печатая свою беллетристику, его младший брат ни на минуту не забывал о «зверином» лице этой шовинистической газеты. В письме к Антону в 1902 году он пишет:

«В Эртелевом переулке (место нахождения редакции «Нового времени».— *М. С.*) подозрительно относятся ко всякой свежей мысли, как бы невинна она ни была, и синий карандаш гуляет направо и налево, и разжевываются уже всем надоевшие национализм и самобытность чуть не каждый день... О мужике знают и судят по пригородным дачевладельцам, и в то же время о твоих «Мужиках» говорят, что это не мужики. Когда я говорю, что знаю отчасти русского мужика, потому что жил в деревне и служил, то снисходительно улыбаются» [1].

Постепенно отходя от газеты, Михаил Чехов печатает свои произведения в ряде популярных тогда журналов — в ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу «Нива», в «Журнале для всех», в сборнике «Слово», в толстом журнале «Вестник Европы» и др.

В начале нового века произведения Михаила Чехова появляются и в виде отдельных изданий. В 1904 году выходят «Очерки и рассказы», которые в следующем году печатаются вторым изданием. Тогда же появляется отдельным изданием повесть «Сироты», также потребовавшая дополнительного тиража, и повесть «Синий чулок». Круг беллетристических произведений как бы завершает сборник повестей «Свирель», появившийся в 1910 году.

Первое десятилетие девятисотых годов и явилось, в сущности, временем расцвета дарования Михаила Чехова как беллетриста. Успех его рассказов и повестей выражался не только в дополнительных изданиях его произведений, но и в сочувственных оценках критики. Достаточно сказать, что первая книга писателя «Очерки и рассказы» была удостоена Академией наук присуждением Почетного отзыва имени А. С. Пушкина.

Рецензию на эту книгу Михаила Чехова давал такой авторитетный литератор и юрист, как А. Ф. Кони. В обстоятельной

---

[1] Письмо М. П. Чехова А. П. Чехову 18 июня 1902 года. Архив С. М. Чехова.

характеристике чеховского сборника, помещенной в «Отчете о семнадцатом присуждении Пушкинских премий в 1907 году», мы находим очень верный анализ беллетристического дарования младшего брата Антона Павловича.

Кони утверждает, что если по форме рассказы и очерки М. П. Чехова и напоминают произведения Мопассана и Антона Павловича Чехова, то они имеют и собственную цену.

«Изображая русскую жизнь в ряде выхваченных из нее сцен, живых и правдивых, автор не мог, конечно, не натолкнуться на ее печальные стороны, на отсутствие нравственных устоев, на неуважение к чужой личности и труду, на смутное понятие о долге, на расплывчатую и безразличную, а потому и бесплодную доброту, и все это нашло отражение в его рассказах».

М. П. Чехов не впадает в безнадежность. «Он меньше покоряется слепым и жестоким законам существования и резче отделяет тяжесть *жизни*, создаваемую людьми, от тягости *существования*, на которое природа обрекает людей. У него больше веры в личность человека, в то, что последний может и должен бороться с наследственностью, с болезнями, с предполагаемою непреложностью «статистических законов» — с несчастливо слагающимися обстоятельствами. *Тургеневское* «мы еще повоюем — черт возьми!» нередко слышится в его рассказах».

Кони заявляет, что некоторые недостатки «тонут в целой серии рассказов, проникнутых искренним чувством, а иногда и поучительными в своей правдивости изображениями». И рецензент заканчивает: «Бодрой верой в чистые чувства человека, способностью видеть в нем не только игрушку обстоятельств, отданную в жертву животной природе... веет от книги Чехова» [1].

Отойдя от суворинской газеты, Михаил Чехов затевает издание своего журнала «Европейская библиотека», но недостаток средств не позволяет ему развернуть это начинание. Заложенные в его писательской натуре качества редактора и организатора находят выход в создании, начиная с 1907 года, собственного журнала для детей — «Золотое детство». Журнал этот выходил вплоть до 1917 года, и Михаил Павлович был его издателем и редактором.

---

[1] «Семнадцатое присуждение премий имени А. С. Пушкина. 1907 г.». Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. LXXXIV, № 5, СПб, 1908, стр. 19—20.

В то время «Золотое детство» — один из популярных журналов для детского чтения. Он хорошо иллюстрировался, а основным автором его был сам Михаил Павлович. Он печатал здесь свои повести, рассказы и стихотворения под самыми различными псевдонимами — С. Вершинин, К. Треплев, М. Б-ский, М. Ч., Ирис, Кузнечик. «Делал» свой журнал Чехов с большим увлечением, внося в его содержание много занимательности. Гуманный, добрый, полный отзывчивости, он стремился воспитывать в детях любовь к родине, природе, к человеку.

После смерти брата большое место в деятельности Михаила Павловича занимает труд по изучению жизни и творчества Антона Павловича. Михаил Чехов печатает свои воспоминания, делает интересные очерки о чеховских прототипах, пишет о творческой истории произведений Антона. С сестрою он издает шеститомник писем брата, пишет к нему содержательные биографические очерки. Организаторская роль Михаила Чехова в редактировании и издании писем А. П. Чехова заслуживает специальной оценки.

После Октябрьской революции Михаил Павлович подготовляет к изданию книгу своих воспоминаний «Вокруг Чехова», которая выходит в 1933 году в издательстве «Академия». Сейчас эта книга выдержала уже четыре издания. Этот успех не случаен. Писатель К. А. Федин в беседе с литературоведом Е. Балабановичем назвал ее «чеховской энциклопедией» — так богат и многообразен собранный в этих воспоминаниях материал по Чехову и его эпохе, так выразительно он представлен. Не случайно книга «Вокруг Чехова» заинтересовала и А. М. Горького, который сделал на ее полях целый ряд пометок.

В советский период, в двадцатые годы, Михаил Чехов опять выступал как детский писатель (под псевдонимом К. Треплев и С. Вершинин), но в основном он работал как переводчик и напечатал свыше двадцати томов переводов с французского и английского языков (сочинения д'Эсма, Кервуда, Кеннеди, Джека Лондона).

В 1926 году Михаил Павлович переселился в Ялту и жил в Доме-музее А. П. Чехова. Здесь он не прекращал работы по исследованию жизни и творчества брата. Большое внимание он стремился уделить родословной семьи Чеховых. После смерти Михаила Чехова этот раздел чеховианы успешно продолжает разрабатывать его сын, С. М. Чехов.

Живя в Ялте, Михаил Павлович много потрудился и над созданием отлично аннотированного мемориального каталога ялтинского дома-музея.

Так содержательно, одухотворенно прошла жизнь и деятельность этого скромного труженика, человека чуткой души и благородного писательского сердца.

* * *

Современному читателю неизвестна беллетристика младшего брата А. П. Чехова. Являясь мастером короткой новеллы, рассказа и маленьких повестей, Михаил Павлович был близок демократической линии литературы — с ее постоянным раздумьем о смысле жизни, со стремлением подвести читателя к уразумению ряда сложных социальных вопросов.

Сюжеты Михаила Чехова идут прямо от окружающих, порой самых простых фактов человеческого существования. Он не вымышляет их, не изощряется в композиционных построениях. Но, реально изображая явления жизни, М. П. Чехов не остается только ее правдивым описателем. Его повести и рассказы проникнуты верой в чистые чувства людей, он зовет «делать добро», бороться с властью предрассудков, с мещанством и пошлостью. Михаил Чехов осмысливал социальные отношения в царской, дореволюционной России с передовых, прогрессивных позиций. Он не боялся сочувственно рисовать образы униженных и обездоленных людей, бичевал чиновников и бюрократов, показывал отвратительное обличье кулаков-мироедов. Под его пером власть «пьяных и сытых» получала убедительную силу образного выражения, а «насиженные гнезда бездельников» вызывали гневное чувство.

Особенное значение, нам кажется, имеют те рассказы и повести Михаила Чехова, где он говорит о деревенской России дореволюционной поры. В этих произведениях писатель наиболее самобытен, и гражданский пафос тут приобретает наиболее яркую форму. Здесь есть прямая перекличка с такими чеховскими произведениями, как «Мужики», «В овраге», «Новая дача», но у младшего брата свой выбор типов, своя зоркость видения. Если у Антона обличение социальной неправды получает выражение в самой глубине образов, в контрасте их отношений, то в рассказах о деревне Михаила Павловича писательский порыв выливается в прямую публицистику.

Из этих произведений надо прежде всего выделить «Грех» и «Анюта». В первом из них нашло проникновенное отражение типическое явление в жизни дореволюционной деревни, когда молодые крестьянки вынуждены были идти кормилицами в аристократические семьи. История одной из таких крестьянок, оторванной в силу жестоких обстоятельств — меркантильных

расчетов свекра — от родного сына и ставшей молочной матерью ребенка городской барыни, полна неизбывной человеческой скорби.

Горестная история кормилицы Федосьи, показавшей и по отношению к чужому ребенку доброе, отзывчивое чувство, кончается трагедией — собственный ее сын умирает, оставленный без присмотра, а в довершение свекор пропивает заработанные ею деньги.

Трогательный жизненной правдивостью рассказ «Грех» примечателен верно схваченными чертами крестьянской психологии. Федосья «прислушивалась иногда к доносившимся из столовой разговорам и смеху хозяев и гостей, и ей казалось странным, как это люди могут так долго сидеть за едой, так весело смеяться и так много есть и пить». Михаил Павлович Чехов умеет тонко охарактеризовать душевный мир разных по социальному признаку героев. Федосья привязывается к чужому ребенку, а барыня и к своему эгоистична.

Рассказ «Анюта» был в 1965 году напечатан в еженедельнике «Литературная Россия» — к столетию со дня рождения Михаила Павловича. В рассказе описан случай, происшедший в Мелихове. Михаил Павлович был частым свидетелем деревенских событий, так как это село примыкало к усадьбе Чеховых. «Пропой» невесты, которую будут использовать как работницу и которую «кабы без приданого, то и не взяли бы вовсе», нашел в чеховской новелле обнаженно-неприкрытый характер. Страшно от всей этой кабацко-разгульной, циничной гульбы, и неиспорченная натура Анюты не выдерживает увиденной пошлости человеческих отношений.

Ярко обрисован в рассказе жених Анюты, приказчик Григорий Синюхин. Этот пошляк и мещанин — тип матерого представителя невежественной, темной деревни, охваченного страстью приобретательства. Уезжая после свадьбы в город, он восклицает: «Прощайте, Анюточка... До свидания-с... Слушайте мамашу. Не забывайте, что я вас осчастливил... Вы же, мамаша, за нею наблюдайте!»

Картины темного деревенского быта читатель найдет и в большой повести «Единая жена». Здесь тот же отзвук мелиховских впечатлений Михаила Павловича. Как и его брат, он видел у самых въездных ворот усадьбы кабак Деева и наблюдал постоянные сцены спаивания окрестного крестьянства. В повести писатель даже не изменил фамилию кабатчика-мироеда.

Видя темноту народных масс и не в силах вытерпеть го-

речь от их эксплуатации кулаками, вошедшими в тесные отношения с местным начальством, незадачливый герой повести с безнадежным чувством заявляет:

«Господи, и что это за темнота, что это за непроходимое болото невежества и наивного цинизма! И прежде чем приниматься за посев, необходимо еще осушить это болото, чтобы создать из него подходящую почву... Для работы нужен свет ясного солнца правды, а где же этот свет, откуда мне его взять, когда кругом все ложь, ложь и ложь?»

Светлыми мгновениями в жизни героя чеховской повести являлись только те впечатления, которые доставляла ему красота природы. Этими лирическими отступлениями полны произведения младшего брата Чехова. Так же как и у Антона, они смягчают его мысли о жестокости тогдашнего существования.

«Был март,— говорит писатель,— потекли ручьи, и в воздухе запахло тем счастьем жизни, ради которого существует все земное».

В изображении деревни дореволюционной России Михаил Чехов заставляет вспомнить мрачный колорит ряда повестей и рассказов Семена Подъячева.

Нам кажется, что авторской самобытностью отличаются и те произведения Михаила Павловича, в которых он выступает как бытописатель сельского, низового духовенства. Мы говорим о повести «Единая жена» и рассказе «Сживется — стерпится». Правдиво и человечно показывает автор «изнанку» бытия его представителей. Надо сказать, что по своему материальному положению жизнь многих так называемых «сельских батюшек» порой мало чем отличалась от существования среднего крестьянина. В рассказе Антона Павловича «Кошмар» вы, вероятно, запомнили удручающую картину бедности сельского священника отца Якова. В повестях и рассказах С. Гусева-Оренбургского мы встречаем также немало таких сельских «пастырей духовных», бытие и труд которых вызывают участливое отношение читателей.

Обнажая перед читателем трагическую жизнь сельского священника Константина Куняева, Михаил Чехов говорит об унизительных законах наследования церковных приходов, чиновной опеке их со стороны высшего духовенства.

Герой повести Михаила Чехова и испытывает на себе воздействие всех этих отрицательных моментов. Получив приход, женившись на дочери священника, оказывается жертвой насилия кабатчика Деева, он не может изменить условия своей

жизни из-за закона о «единой жене». Отсюда и проистекает весь ужас его существования. Столкновения же с крестьянской средой и представителями местных властей и дворянской интеллигенции только усугубляют его душевные страдания.

В минуту такой потери веры в правду жизни этот горемыка слышит следующую тираду Ракитского, в которой нельзя не видеть обобщения мыслей писателя о незавидной роли сельских представителей культа:

«Что такое вы, российские деревенские попы? Рабы — и больше ничего. Женят вас на нелюбимых поповнах, дают вам приходы в приданое и обрекают вас чуть ли не на голодную смерть. Вам говорят: боритесь с пьянством, а сами поощряют увеличение акцизных сборов; вас посылают просвещать этих дикарей, а сами *сознательно* держат их в темноте (курсив наш.— *М. С.*). А если вы вдруг наберетесь храбрости и вдруг ахнете действительно проповедовать и просвещать, то — ля-ля! — вам тотчас же накинут на рот намордник. Рабы вы у архиерея, рабы у консистории, рабы у Деева и даже у этого печенега, которого вы призваны просвещать».

Есть у Михаила Чехова и довольно большая группа произведений, в которых нашла отражение жизнь провинциальной интеллигенции, чиновничества, военных.

Живя в провинции и находясь в окружении и подчинении высшего местного чиновничества, Михаил Павлович наблюдал цинический процесс борьбы этих людей за свою карьеру, за материальное благополучие... Это было знамением тогдашней чиновной интеллигенции. Чехов в отталкивающем виде показал «восхождение» одного из таких прожженных карьеристов к «высотам» своих чиновних желаний — к должности земского начальника. Примечательно, что подобный служебный, а с ним и материальный успех у Сержа Игнатьева, героя повести «Синий чулок», идет параллельно с полным очерствлением его человеческих качеств, что выражается в попрании всяких интересов матери и сестры.

Омерзительный тип наглого «правителя» городка — полицмейстера — Михаил Чехов запечатлел в повести «Месть». Здесь насилие и цинизм этого держиморды переходят всякие границы,— чего стоит, например, история с ложной тревогой пожарной команды! А генерал со своей женой из рассказа «Генеральша»? Какой неприкрашенной наглостью и ложью веет от этих пресыщенных и фальшивых «властителей» провинциального общества, задающих ему «тон». Михаил Чехов смело раздвигает

занавес, обнажая комедию буржуазной благотворительности, ложные условности морального кодекса помещичье-буржуазного мира.

Повести и рассказы Михаила Павловича Чехова позволяют ярко представить и тот нелепый «свод» господствующих условностей, имевших значение закона, которые так губительно и жестоко отражались, в частности, на судьбе офицерства. Это были пресловутые «правила чести» в карточной игре и обычай реверса. В рассказе «Реверс» говорится о драматической истории отношений офицера и женщины, брак с которой разрешался ему лишь под залог огромной денежной суммы — до тысячи рублей. Залог этот был необходим, потому что офицеру, герою рассказа, еще не было двадцати восьми лет.

Под пером Михаила Павловича нашли свое обличение и все те нелепые, античеловечные законы, которые опутывали буржуазное правосудие в вопросах семейной жизни, развода. Драматические ситуации, возникающие при этом законодательстве, мы видим в рассказах «Стена», «Грязь» и др.

Здесь Михаил Чехов, как юрист по образованию и помощник присяжного поверенного, развертывал глубоко жизненную тематику.

В отдельных произведениях М. П. Чехова заметно ощущается атмосфера российской действительности в период реакции и гонений на инакомыслящих. Наш читатель почувствует это тревожное настроение в рассказе «Пустой случай», отличающемся глубоким психологизмом.

Лучшие представители провинциальной интеллигенции, в особенности ее молодое поколение, чувствуют фальшь социальных отношений. Героине повести Михаила Чехова «Синий чулок» Софье кажется, что «она не может продолжать такую жизнь», что «надо работать для других». В рассказе «Сестра» уходит от отца — генерала — его сын, которому страшно тунеядствовать. И все яснее и прозрачнее начинает звучать мелодия Михаила Чехова о необходимости найти выход из удушливой обстановки.

«Я не понимаю этих ваших прав над моей личностью, над моей правдой, над моим гнездом».

Эта мысль подкрепляется словами о счастье для многих, о счастье всех... «Мало ли людей, для которых еще стоит жить».

Нам остается еще сказать о цикле произведений Михаила Чехова, которые вводят читателя в круг биографии чеховской семьи и помогают понять отдельные факты ее жизни.

Очень интересно подан Михаилом Чеховым таганрогский колорит в повести «Сироты», где специального внимания заслуживает изображение побочной темы — быта купеческой семьи Алексея Кузьмича Щеклеева. В ней, бесспорно, нашли отражение гимназические годы Антона Павловича. Повесть Михаила Павловича позволяет еще лучше понять тяжелую обстановку быта семьи Чеховых.

Можно утверждать, что большой интерес среди чеховедов вызовет рассказ Михаила Чехова «Наследство». В нем автор почти документально запечатлел историю о наследстве А. П. Чехова, которая на несколько лет омрачила отношения членов его семьи. Достоин внимания и рассказ о драматической смерти отца Чеховых и сопутствующих ей унизительных эпизодах с его похоронами.

* * *

Беллетристическое наследие Михаила Павловича Чехова, представленное в этом издании, позволяет нам сделать определенные выводы по существу его литературного творчества. Воспитанник своего старшего брата, он писал в том же жанре короткой повести и рассказа-новеллы, что и Антон Павлович. Михаил Чехов не боялся ставить перед читателем насущные социальные проблемы времени.

Михаил Чехов принадлежал к группе тех писателей, которые своими произведениями делали полезное дело. Он смело срывал покровы со сложившихся жестоких социальных отношений помещичье-буржуазной России предреволюционных лет, разоблачал ложь, подлость правящих классов, возмущался угнетенным положением трудящихся масс, остро ощущал гибельность для крестьянства кулацкой кабалы.

В произведениях Михаила Чехова критика существующего строя звучала искренне и горячо, порой достигая большой протестующей силы. Ведь чего стоит, например, одно письмо к своей сестре сына генерала, ушедшего из семьи и ставшего чернорабочим:

«Дорогая Наташа, неужели ты не понимаешь, что вся поэзия свободного физического труда в том именно и состоит, чтобы быть свободным от всякой собственности... и, следовательно, каждую минуту иметь право возмущаться, презирать, требовать, если придется — сражаться на баррикадах?»

Не надо забывать, что такие мысли утверждались Михаилом Чеховым в годы реакции, когда в литературе махровым цветком распускался модернизм, проповедовалась распущенность нравов и голый цинизм заглушал здоровые человеческие чувства.

Думается нам, что и советскому читателю рассказы и повести Михаила Павловича Чехова доставят художественное удовлетворение, раскроют страницы постылого прошлого. Вместе с тем они напомнят о стремлении лучших людей того времени к новой, свободной жизни, полной большого смысла и красоты.

М. СОКОЛЬНИКОВ

ОЧЕРКИ
и
РАССКАЗЫ

ГРЕХ

И свекор, и свекровь, и бабка Анна — все с нетерпением ожидали, когда невестка Федосья разрешится от бремени. Куркинская барыня писала из города, что у ее дочери мало молока и что как только Федосья родит, так пусть скорее едет к ней в город в кормилицы.

Свекор Афанасий, давно уже мечтавший открыть лавку и не имевший для этого денег, ухватился за эту идею и заранее отписал барыне, что согласен, но только с тем, чтобы деньги выплачивались не Федосье, а ему, как главе дома. Он рассчитывал, что Федосья прокормит никак не меньше восьми месяцев и что восьмидесяти рублей, которые он за нее получит, ему вполне хватит на торговые права и на первое обзаведение.

Федосья скоро произвела на свет мальчика. Роды были тяжелые, и роженица поправлялась очень медленно, но уже с пятого дня свекор и бабка Анна стали поговаривать, что пора бы уже ей вставать и что нечего баловать ребятенка грудью, так как все равно ей идти в город на место, а ему оставаться в деревне одному. А Федосья лежала в постели и, смотря, как ребенок захлебывался от избытка ее молока, и чувствуя, как разливалась по ней теплота от маленького тельца, прижимавшегося к ее груди, старалась не думать о том, что скоро уже ехать в город.

— Не барыня...— ворчала бабка Анна.

— Не замай ее! — говорил Афанасий.— Пущай лежит. По ней девять ден должен золотник ходить, пока своего места не найдет!

На восьмой день, в воскресенье, свекровь носила ребенка в село крестить, причем хотели назвать его по отцу Федором, но батюшка дал ему имя Эраст, а на де-

вятый день уже стали собирать Федосью в город. Она рыдала, прижимала Эраста к сердцу, причитала над ним, но так как это дело было уже давно решенное, то трудно было воевать против мужниной родни и приходилось с этим примириться. Муж ее был в солдатах где-то в Царстве Польском, и если бы он был теперь дома или же пришел на побывку, как девять месяцев назад, то, быть может, он и заступился бы за нее и не отпустил бы ее в город. Но теперь она была целиком во власти свекра, и не послушаться его было нельзя.

В день отъезда с утра отваживали ребенка от матери и давали ему сосать тряпку, смоченную в коровьем молоке, и только перед самым отъездом, когда Федосье стало вдруг невтерпеж от избытка молока, дали пососать грудь ребенку, и то недолго, и поехали. Ребенок плакал.

— Прощай, болезный!..— голосила Федосья.— Милый ты мой! Сиротинка ты горемычная!.. Плачет...

— Мал, глупенек, оттого и пишшит!..— сказала бабка Анна.— Попривыкнет! Не господское дитё! Ну, поезжайте с богом!..

Приехали в город. Афанасий оставил лошадь на постоялом дворе и повел Федосью к барыне. Вошли с заднего крыльца и долго дожидались в кухне. Кухарка пила чай, громко откусывая сахар. Слышался плач ребенка.

Вошла нянька и, косо поглядывая на Федосью, стала развешивать новые пеленки.

— В кормилицы, что ли?..— спросила она Афанасия.

— Так точно...— ответил он.— Доложили бы барыне...

— Свой-то нешто помер?

— Нет, жив, слава тебе господи!

— Стало быть, незаконный? В воспитательный отдали?

Федосья густо покраснела и опустила глаза.

— Зачем незаконный! — обиделся и Афанасий.—Из заработков хлопочем...

— Какая же она мать, если она свое дите не жалеет?.. Собаке и той своего щененка жалко!

Федосья вытащила платок и стала утирать им глаза.

— Что поделаешь? — вздохнул Афанасий.— Больно деньги нужны... А вы не сумлевайтесь: дома две бабы еще остались, усмотрят!

— Все не мать родная,— вздохнула нянька и вышла.

Вошла барыня. Прищурившись, она посмотрела на телячью ногу, лежавшую на столе, а потом с нее перевела глаза на Афанасия и Федосью.

— А, это ты, Афанасий? — сказала она.— Вот хорошо, что пришел!

— Здравствуйте, матушка-барыня...— отвечал он.— Вот привел-с...

— Ну что, мальчик или девочка?

— Мальчик-с... Ерастом назвали.

Барыня прищурилась на Федосью и оглядела ее кругом.

— А ну-ка, покажи грудь! — сказала она.

Федосья покраснела и расстегнулась.

Барыня потрогала ей грудь безымянным пальцем, а потом подала ей чайную чашку и сказала:

— Нацеди-ка немного!

Федосья нацедила и почувствовала себя легче. Барыня попробовала молоко, а затем вышла и минут через пять возвратилась с письмом.

— Вот что, Афанасий,— обратилась она к мужику и протянула ему письмо.— С этим письмом ты отправляйся с ней к доктору... Адрес на конверте. Всякий укажет. Пусть доктор ее осмотрит и даст записку, что она здорова.

— Что вы, барыня, не сумлевайтесь,— отвечал Афанасий.— Чего ей делается? Здорова!

— Делай так, как тебе говорят! — сказала строго барыня.— Без записки от доктора не возьму.

— Слушаю...

Афанасий и Федосья вышли на улицу и побрели к доктору. Всю дорогу Федосья плакала, да и Афанасию тоже стало досадно, что он затеял всю эту историю, но, стараясь больше ободрить себя, чем невестку, он то и дело повторял дорогой:

— Не робей, дочка, не робей!.. Без эстого нельзя!

С трепетом пришли они к доктору и передали ему письмо. Доктор прочитал письмо и приказал Федосье следовать за ним. Афанасий тоже сунулся было за не-

весткой, но доктор приказал ему не ходить. Через четверть часа возвратилась от доктора Федосья. На ней не было лица, и когда она передавала Афанасию записку, то ее руки дрожали. Выйдя на улицу, она разрыдалась и, злобно поглядывая на свекра, заговорила:

— Окаянный! Бог тебя за все это накажет! Что издевки-то надо мной было: и руки смотрел, и ноги смотрел, и на спину смотрел, и глазам своим бесстыжим волю давал!..

Афанасий шел рядом, молчал и сознавал, что невестка его была права и что если бы ему раньше рассказали обо всех этих мытарствах, то он ни за что не поехал бы в город и не стал бы связываться с бабами. Федосья плакала. Прохожие оборачивались и с сожалением смотрели на нее, а Афанасию было стыдно за ее слезы: могут подумать, что это он ее обидел.

— Перестань, Федосья,— сказал он ей.— Не режут ведь! Э, да пропади она пропадом та и лавка! Что канители-то одной!

Пришли к барыне, передали ей записку от доктора и паспорт, и для Федосьи началась новая жизнь.

— Вы же, барыня, за ней наблюдайте,— сказал Афанасий на прощанье.— Долго ли до греха? Бабенка молодая!.. Денег ей на руки не давайте...

Он получил два рубля вперед, простился и ушел, и когда за ним затворилась дверь, то Федосье показалось, что теперь для нее все кончено и что вместе с уходом свекра для нее уже прерывается навеки всякая связь с деревней и с тем маленьким существом, которое осталось теперь так далеко одно, на руках чужих для нее людей, и которое было для нее теперь дороже всего на свете.

Ее ввели в детскую, и в первое время все для нее было чуждо: и ледащий мальчик, сосавший ее грудь, и молодая барыня, у которой не хватило для него своего молока, и пища, и тот костюм, в который ее нарядили. Ее Эраст не шел у нее из ума, виделся ей по ночам, когда ей удавалось заснуть сидя, и те шелковые ленты, которые спускались у нее с кокошника вдоль спины, производили на нее такое же впечатление греха, как и тогда, когда ей случалось оскоромиться. Мальчик был беспокойный, кричал по дням и по ночам, так что ей едва удавалось заснуть какие-нибудь

два-три часа за целые сутки. Сидя в детской и до глубокой ночи мерно катая взад и вперед коляску, которая заменяла собою деревенскую люльку, она прислушивалась иногда к доносившимся из столовой разговорам и смеху хозяев и гостей, и ей казалось странным, как это люди могут так долго сидеть за едой, так весело смеяться и так много есть и пить. Ее удивляло также и отношение молодой барыни к своему ребенку. Она часто ездила в гости и в театр, поздно возвращалась домой, и то, что связывает обыкновенно мать с ребенком — кормление,— по-видимому, только развязало ей руки, и она большую часть своего времени стала отдавать чужим и, по мнению Федосьи, редко занималась с ребенком. Для него было нашито много нарядов, разных капоров, чепцов и салопчиков для гулянья, но ребенок все время плакал, очевидно нуждаясь в них столько же, сколько и Федосья в лентах, спускавшихся у нее с кокошника. И стало ясно для кормилицы, что между ребенком и матерью не было той именно правды отношений, которая возможна только между кормящей и младенцем, и что она, Федосья, для ребенка теперь была в миллион раз важнее и дороже, чем вся окружавшая его обстановка и чем даже его родная мать. С каждым днем Федосья все больше и больше привязывалась к своему питомцу, и если бы она могла теперь иметь при себе еще и своего сына, то считала бы себя счастливой. Перед каждым кормлением, по приказанию врача, она должна была машинкой сцеживать часть своего молока, и ей так было жалко выливать его зря, без всякого употребления, в то время как ее мальчишка теперь, быть может, сидит голодный. Всякий раз ей хотелось броситься перед барыней на колени и выпросить у нее позволения привезти сюда и сына.

После первого месяца к барыне пришел из деревни Афанасий за деньгами, и Федосья очень обрадовалась ему. Он пришел пьяненький, и когда барыня выдала ему меньше, чем он ожидал, он принялся скандалить.

— Нешто так можно? — возмущался он.— За целый месяц только три с полтиной! Коровье молоко и то дороже! Эх, господа!

— Да ты пойми, Афанасий,— объяснила ему старая барыня.— Два рубля уже ты взял, да три с полтиной

за адресный да за больничный сбор, не считая прописки...

— Господа! Нешто такие господа бывают? Ай да господа!

Барыня убежала из кухни, а вместо нее вошел барин в халате. Он молча взял Афанасия за плечи, повернул его и вытолкал за дверь.

— Отдай деньги! — кричал на лестнице Афанасий и стучал кулаком в кухонную дверь.— Говорю тебе, отдай деньги!

Вскоре он умолк, и радость Федосьи сменилась печалью: так она ничего про сына и не узнала! По ее просьбе барыня написала от нее на деревню письмо насчет Эраста, но ей ничего не ответили, и только, когда на следующий месяц приехал Афанасий за деньгами и бухнул барыне в ноги, Федосья узнала от него, что мальчик был чем-то болен, но чем именно, так она толку и не добилась. Он больше был занят тем, что и за этот месяц ему приходилось на пять рублей меньше, так как необходимо было Федосье купить башмаки и калоши.

— Грызь, грызь, надо быть...— объяснил Афанасий.— Бесперечь кричит. Надо быть, не жилец он на белом свете. Недаром как только родившись, то чихнул один только разок. Да и глазки словно бы мутные какие...

У Федосьи замерло сердце и глаза наполнились слезами. Бедный мальчик! Он имеет родную мать, но ее отняли у него, продали ее другому, самые деньги улетучиваются куда-то сквозь пальцы, на какие-то адресные и больничные билеты и на резиновые калоши, которые все равно не понадобились бы ей в деревне! Нет, она бросит все, своего питомца, барыню, она не посмотрит на своего свекра и полетит сейчас же к сыну!

Она подошла к барыне и, опустив глаза, сказала:

— Барыня, отпустите меня к сыночку...

— Да ты с ума сошла, Федосья! — испугалась барыня.— На кого ж я оставлю Володю? Нет уж, пожалуйста, ты не выдумывай пустяков... Не пугай меня!..

— Да какие же это пустяки, барыня?.. Отпустите христа ради...

Федосья расплакалась и долго не могла успокоиться. Барыня встревожилась, что теперь испортится у нее

молоко и что у Володи будет болеть животик, и дала ей капель. А сама вышла к Афанасию и просила его припугнуть Федосью. Выпивши семь стаканов чаю на кухне, Афанасий вызвал к себе невестку и со всего размаху ударил ее по щеке.

— Слушайся барыню! — крикнул он.— Она наша благодетельница.

С чувством тяжкой обиды Федосья возвратилась из кухни в детскую и, низко склонившись над ребенком, так, что почти вся уходила в коляску, горько заплакала, а чтобы не выдать своих слез, стала напевать над ребенком песню. И это пение со слезами показалось и ей самой чем-то неприятным; она сдержала себя, вытерла слезы и стала покрывать мальчика поцелуями в глаза, в щеки, в грудь, куда попало.

По весне поехали на дачу, но только не туда, где жили в прошлом году, а дальше. Ехать приходилось все-таки через Федосьину деревню. С трепетом и с замиранием сердца она ожидала того дня, когда наконец погода дозволит выехать с маленьким на дачу. Наконец солнце засветило ярче, так что и в городе стало хорошо, и все тронулись в путь. Для Федосьи это был светлый праздник. Точно она несколько лет пробыла в ссылке и получила наконец право возвратиться на родину. Она с наивной радостью смотрела из окна вагона на поля, луга, на скот, выпущенный на пастбище, на полуразвалившиеся избы мелькавших мимо деревень. А когда доехали до станции и дальше отправились в путь уже в тарантасах, ей так вдруг захотелось соскочить на землю, снять башмаки и босиком пробежаться по траве или целый день походить за сохою по влажной борозде, чтобы вокруг нее летали грачи, а там вдалеке, на бровке, стояла бы люлька и в ней лежал бы ее сынок Эраст! Нет, не один Эраст, а и Володя!

«Теперь они все одно что братья»,— думала Федосья.

Пора была рабочая, все сеялись, и, когда тарантас подъехал к Федосьиной деревне и она вылезла из него и стала подниматься в горку, ее не встретил решительно никто.

— Смотри же, Феня! — крикнула ей барыня.— Больше часу не сиди!

Федосья побежала вдоль улицы и, звеня на бегу монистами, не могла наглядеться на свою деревню.

Ленты от кокошника развевались у нее по сторонам, за нею гналась собака и лаяла, а она все бежала и бежала. Цыплята с маткой прыснули у нее из-под ног в разные стороны, и только один голубь долго еще семенил перед нею, прежде чем вспорхнуть и улететь. Вот изба Маши-иволги, вот здесь живет Дуня-большая, а вот и их изба. Сейчас она увидит своего сына...

С замиранием сердца она отворила дверь и вошла в горницу. В ней никого не было. На полу сидел маленький ребенок, с необычайно тоненькой шейкой и впалыми щечками; он макал корку черного хлеба в чайную чашку с водой и сосал ее. Вся мордочка его была обмазана хлебом; бледненький, с светящимися насквозь ушками, он поднял головку и посмотрел на мать ярко-голубыми глазами. У него давно уже не были подстрижены ноготки, и рубашонка была не то коленкоровая, не то ситцевая, от грязи нельзя было понять. Сердце сжалось у Федосьи, и глаза наполнились слезами.

— Ерастик! — воскликнула она.— Светик ты мой! Здравствуй!

Он серьезно посмотрел на нее и улыбнулся на ее кокошник.

Она схватила его на руки, прижала к сердцу и, вытащив полную грудь, стала ее совать ему в рот. Вот когда наконец она его накормит!

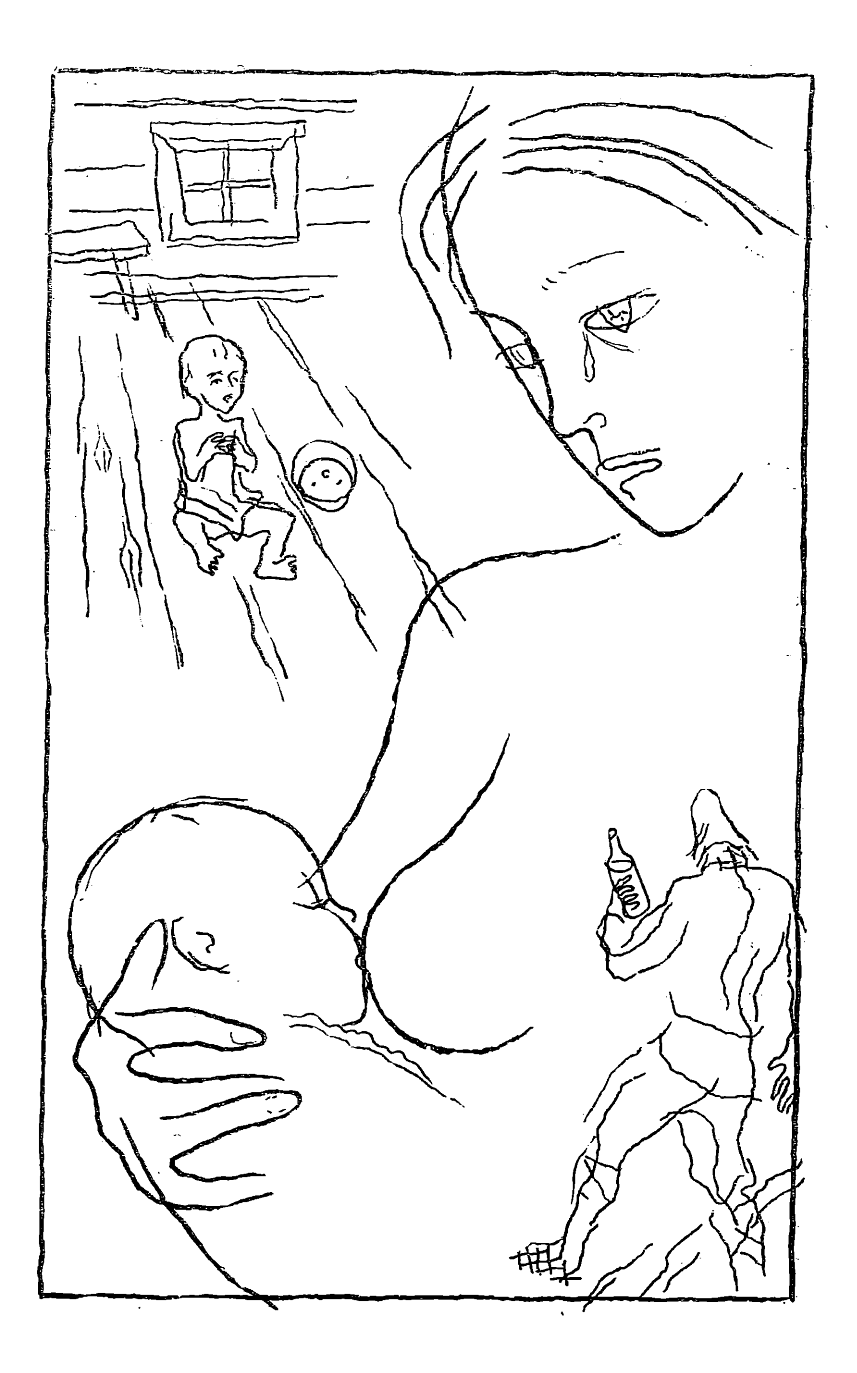
Мальчик испугался, неслышно заплакал и не принял груди: отвык.

Она подозрительно посмотрела на него и посадила его обратно на пол.

«Да мой ли это? — подумала она и испугалась самой себя.— Словно бы мой, а словно бы и не мой... Ах, грех какой!.. Сама своего ребенка не узнала... Не наказал бы бог!»

И она села на лавку и стала поджидать.

Вошла вскоре бабка Анна, начались расспросы, ахи, охи. Ребенок действительно оказался сыном Федосьи. Поставили самовар, напились чаю. Федосья вылила остатки кипятка в корыто, разбавила холодной водой и вымыла Эраста. Дали ему молока и уложили спать. А тем временем час уже прошел, и надо было пешком отправляться к господам в усадьбу. Федосье ужасно не хотелось уходить, жаль было расставаться с сыном, но делать было нечего, она поцеловала его, перекрестила,



отозвала бабку Анну и сунула ей в руку серебряный рубль.

— Побереги его, бабушка! — сказала она, и слезы потекли у нее по щекам.— Я тебя не забуду.

— И полно, касатка! — заплакала вместе с нею бабка Анна.— Я ли его не берегу? Да и то сказать: не господское ведь дитё!.. Когда корова-то своя была, то и молочком его паивала, а теперь, как корову продали, то где его взять? Надо бы яичком его подкормить, да все под наседку подсыпала, да так не к часу, шестнадцать подсыпала, а вывелось только четыре...

Все были в поле. Узнав, что приехала Федосья, прибежала с поля Дуня. Машу-иволгу и Машу-икону на красной горке уже выдали замуж, одну в Иваньково, а другую в Столбы. Сама Дуня зиму служила на господском дворе и теперь была беременна на пятом месяце. Родить пойдет в Воспитательный дом, а оттуда хотела бы пойти в кормилицы. Не похлопочет ли Федосья?

— Ах, Дуняха, Дуняха! — покачала головой Федосья.— Ну что тебе в кормилицах за сласть?

— Полно, девка,— отвечала Дуня,— так никто денег не отнимет, а выйду замуж, то все свекор себе возьмет!..

Пока Федосья дошла до усадьбы, которую господа снимали себе под дачу, стало темно, и барыня сама уже купала Володю. Она обиделась на Федосью, надулась и не разговаривала с ней. А Федосья виновато ходила вокруг ванны, подавала то одно, то другое и думала только о том, как теперь будет она ходить иногда к себе в деревню и навещать своего сына. Но мечтам ее не суждено было осуществиться. Приехал доктор и напугал, что кругом у детей дизентерия и коклюш, и барыня ни за что на свете не согласилась отпустить Федосью снова в деревню.

Около казанской пришел за деньгами Афанасий. Он опять был выпивши, и когда Федосья бросилась к нему с расспросами, то он сделал жалостное лицо и, подсмыкивая носом, стал утирать кулаками глаза.

— Помер...— залепетал он сквозь слезы.— Отлетела от нас его душенька...

Федосья строго посмотрела на него, губы у нее задрожали, но она ничего не сказала и вышла из кухни. Барыня выдала ей жалованье и приказала передать его

свекру. Она вошла с деньгами опять в кухню, бросила их Афанасию в лицо и со злобой сказала:

— На, подавись! Ты его погубитель, окаянный! Коли б не ты, так я бы, может, выкормила его, и он теперь был бы жив, а ты и твои проклятые бабы уморили его с голоду! А, будьте вы все трижды прокляты, анафемы! Душегубы вы все!

С чувством злобы на свекра и на того маленького, для которого она пожертвовала своим молоком и ради которого уморили с голоду ее сына, она вбежала в детскую и бросилась к кроватке. В ней спал Володя, подложив ручку под щечку и раскрывши рот. Ей хотелось подхватить его, избить, ударить им об пол, но при виде его она поняла вдруг, что перед ней лежит ее второй сын, которого она выкормила, выносила на руках и над которым провела столько бессонных ночей! Нет, теперь ей есть куда деваться от произвола свекра и свекрови, теперь уж она здесь свой человек, она воспитала Володю, она его любит, как родного сына, и, что бы там ни говорили ее муж и его родня, она ни за что не уйдет из этого дома и останется при своем питомце навсегда.

И с этих пор, когда ее сердцу уже не приходилось делиться на две части, когда все ее мысли стали целиком принадлежать только Володе, она так нежно привязалась к нему, что, когда настало время прикармливания и появились кашка и коровье молоко, она тайком от матери по-прежнему прикладывала его к груди. Что-то подсказывало ей, что именно в этом была ее единственная связь с ребенком и что, порвись она, эта связь, для Федосьи наступят еще более тяжелые дни.

И в один прекрасный день связь эта порвалась. Как ни затягивала Федосья отнятие от груди, оно все-таки рано или поздно должно было состояться и состоялось. Ее место около Володи тотчас же заняла нянька, которая умела рассказывать сказки и петь песни лучше, чем Федосья, и мало-помалу Федосья все отходила и отходила на задний план, пока, наконец, не очутилась совсем на кухне. Ее постель из детской была перенесена в кухню, рядом с плитою, около крана, и мальчику запрещено было прижиматься к бывшей кормилице. А затем старая барыня вышла однажды к ней и, подав ей паспорт, сказала:

— Больше ты нам не нужна, Федосья... Вот тебе паспорт и два рубля шестьдесят копеек за восемь дней. Можешь уходить.

И перед Федосьей потянулись сначала заводы и дачи с забитыми окнами и дверями, потом засыпанные снегом поля, по которым взад и вперед тянулись заячьи следы, и низко прикорнувшие к земле деревни. Она шла дорогой по лошадиному следу и, не мигая, смотрела вперед. Щеки ее пылали, от скорой ходьбы в овчинном тулупе ей было жарко, но она спешила так, точно чувствовала, что за нею гонится призрак города, который протягивает к ней руки, чтобы отнять у нее все, что она еще имеет. То и дело хватаясь за то место, где у нее были спрятаны засаленные карты, паспорт и фотография Володи, она старалась увидеть на горизонте свою деревню с высящейся к небу лавкой своего свекра, ради которой она принесла столько жертв и ради которой у нее уморили одного ребенка и отняли другого.

Но вот и деревня. Ребята в больших отцовских валенках, бабы и девки в мужских полушубках, у трактира — снег, посыпанный мелким сеном и свежим лошадиным пометом, по которому степенно расхаживают куры... Все, как было в прошлом году, так и осталось теперь. Вот и изба свекра. Так же как и в прошлую зиму, она обнесена вся соломой для тепла, и никакой лавки около нее нет.

Федосья вошла в избу, перекрестилась и от усталости села на лавку, не раздеваясь. Бабка Анна ставила хлеб, а свекровь на дворе рубила дрова. На печи лежал Афанасий и с кем-то разговаривал. Федосья знала, что означал этот разговор, и глубоко вздохнула.

— Что же лавка-то? — спросила она бабку Анну.

Бабка Анна подняла голову от квашни и указала подбородком на Афанасия.

— Пропил...— ответила она.

Федосья поднялась с места, посмотрела на торчавшие с печи ноги свекра и на то место, где когда-то висела колыбель ее сына, и слезы покатились у нее по щекам.

— Грех, грех! — воскликнула она и опустилась на лавку.

ОДИН

Когда Егоров возвратился с кладбища, к нему подбежала его трехлетняя светлокудрая дочь Софка, находившаяся во время катастрофы у тети, и спросила его:

— Папочка, а где же мама?

Он поднял ее, прижал к себе и стал ходить с нею из угла в угол, пока не поборол в себе желание плакать.

В комнатах еще пахло ладаном после панихиды, и стало так пусто-пусто. Точно покойница занимала всю квартиру!

Вошла няня с красным от слез носом и взяла от Егорова Софку.

— Пойдем, моя сиротка, кашку кушать...— сказала она.— Поди, давно уж хочешь.

Они ушли, а Егоров остался один. Он сел на подоконник и стал смотреть на улицу, где уже начинались зимние сумерки. Взад и вперед спешили прохожие — все эти будущие покойники, гремели экипажи, которые все равно рано или поздно сломаются и сгниют, и от этих сумерек, от этих мыслей и пустоты в квартире Егорову сделалось еще грустнее.

Как это все скоро случилось и какая ужасная картина! В его ушах еще до сих пор раздаются стоны его жены от страшных, невыносимых мучений. Он так ясно представляет себе все: возле его жены сидит акушерка, напряженно ждет, а он вот уже вторые сутки ни разу не присел и все ходит и ходит взад и вперед, полный угрызений совести и то и дело хватаясь обеими руками за виски. Потом хлопоты, гробовщики, отпевание, копеечные дрязги и христопродавство, неизбежные в таких случаях, и, наконец, теперь, когда все уже было

кончено, сознание невознаградимой потери, одиночества и тяжкой вины.

На улице сделалось совсем темно, в столовой давно уже погас поданный для него одного самовар, а он все сидел на подоконнике и думал.

Раздались частые тупканья голыми ножками по полу. Туп-туп-туп!.. И в комнату вбежала Софка. Она укладывалась уже спать и прибежала проститься с папой. Он взял ее на руки и понес в детскую. Она только что умылась, у нее были холодные щечки и мокрые волоски на лбу. Егоров прижал ее к груди.

Слезы навернулись ему на глаза, он уложил девочку в постельку и укрыл ее.

— Папочка, а где царство небесное? — спросила Софка.

— Баюшки, детка, баюшки,— вмешалась нянька.— Пора уже баиньки!

Егоров вышел из детской и стал ходить взад и вперед по темной гостиной, а потом закрыл лицо руками и бросился на диван. Когда он встал и обвел вокруг себя глазами, ему показалось, что все предметы смотрят на него уже не так, как при жене, и самые часы стучат иначе. Так грустно-грустно... Точь-в-точь, как тогда, когда пели те петухи, которые он слышал в детстве в провинции.

Он знал, что ему нужно куда-нибудь пойти, рассеяться, и вышел на улицу. Ну, куда пойти? На Невский? Не все ли это равно! В театр, в ресторан? Как это мелко! Пойти к кому-нибудь из знакомых? Не те же ли это прохожие, которым так мало дела до несчастий других! Поахают, пожалеют, а что толку? Вот что: он пойдет сейчас к Алексею Назарычу. Говорят, он опять запил, семьища у него громадная, бедность невылазная, там несчастны сами, а потому не станут ахать и охать. Только несчастные умеют сочувствовать молча.

Он застал Алексея Назарыча сидящим у стола, подпершим подбородок руками, с мутными глазами, смотрящими вдаль. Все дети уже улеглись, только один маленький кричал за стеною, и слышно было, как шикала мать, стараясь его усыпить.

— Здравствуйте, Алексей Назарыч,— сказал Егоров.

Алексей Назарыч посмотрел на него в упор, не принимая кулаков от подбородка, и спросил:

— Тяжко?

— Тяжко,— ответил Егоров.

— Мне тоже тяжко... Оттого и пью.

Затем долго молчали. Алексей Назарыч налил себе водки, выпил и, подобравши на столе крошечку хлебца, закусил ею.

— Тебе тяжко, что у тебя умерли жена и ребенок,— начал он,— а мне, брат, тяжко оттого, что у меня жива жена и живы восемь человек детей... Понял? На всех, брат, не угодишь.

— Зачем вы говорите так? — упрекнул Егоров.— Грех ведь!

— Нет, не грех... Разве грех, что ты стал одинок и несчастен? Так точно не грех и то, что я не одинок и тоже несчастен. Ты жалуешься, и я жалуюсь... Ты несчастлив, и я несчастлив... Только разные причины, а следствия одни и те же... Что ж? Ты думаешь, что я пью оттого, что у меня ничтожная жена и много детей, из которых один после бугорчатки мозга стал идиотом, а другой глухонемой?.. Или оттого, что рахит не выходит из моей семьи? Так? Нет, брат, не так... Я пью оттого, что выбор судьбы выпал именно на меня... Да-с, на меня, а не на кого-нибудь другого!

И он налил себе еще рюмку и опять закусил крошкой.

— Статистика говорит,— продолжал он,— что на каждые десять тысяч человек приходится один каторжник... Это закон природы... Стало быть, за нас с тобой теперь кто-нибудь там, на Сахалине, отдувается... работает. И только потому, что мы с тобой на свободе. Та же статистика говорит, что один алкоголик приходится на восемь тысяч человек,— и перст судьбы указал на меня. Из восьми тысяч только на одного меня, и безнадежно. Понимаешь? На одного. Выходит, что, не будь нас с тобой, людей несчастных, не было бы счастья на земле. Ты понимаешь идею искупления?

— Туманно...— отвечал Егоров.

За стеной так сильно кричал ребенок, что трудно было разговаривать.

— Ты идешь по улице,— продолжал Алексей Назарыч,— ты видишь эти громадные дома... Их владельцы имеют их только потому, что есть люди, которые их не имеют вовсе. Внутри этих домов ты видишь счастливую

мать, это потому, что есть матери несчастные. Когда я гляжу на больницу, мне стыдно, что я здоров, что другие за меня болеют, как болею я сейчас за других... Это закон больших чисел! Это великая мировая воля!

Он вскочил на ноги и взялся за голову.

— Господи, господи! — воскликнул он. — Зачем так безжалостно судьба назначает одних к счастью, других к несчастью?

Он закрыл лицо руками и заплакал.

— Успокойтесь, Алексей Назарыч...— сказал Егоров.

— И всякий раз, как мне запить,— всхлипывал Алексей Назарыч,— я мечусь из стороны в сторону, я умоляю бога, я говорю ему: «Да минует меня чаша сия», но кому-то или чему-то нужно, понимаешь — нужно, чтобы я, существо разумное, богоподобное, запил, и этот кто-то или что-то овладевает мной и стихийно тянет меня к стакану. И я ослабеваю и падаю, падаю, падаю и в то же время радуюсь, что восемь тысяч человек сейчас трезвы, счастливы, ведут порядочную жизнь, и только потому, что вместо них алкоголик — я! Я! Понимаешь? Один я на восемь тысяч человек!

И он хлопнул себя кулаком по груди.

— И только тогда, когда я напьюсь и отрешусь, наконец, от себя самого, от преследующего меня моего *я*, когда я порываю с окружающим меня внешним миром,— я начинаю сознавать себя частью мирового организма и свою душу частью мировой души, я успокаиваюсь немного и говорю: «Да будет воля твоя!» Ты понимаешь? Наши страдания нужны им, этим сытым, счастливым, довольным жизнью, а наша награда там... там... где-то далеко, когда мы умрем и сольемся с мировою душою. И нет у нас надежды на земле. Теперь ты одинок, несчастлив, но пока ты не отрешишься от самого себя, пока ты не признаешь себя — не человеком, нет, а частью вселенной, пока ты не признаешь, что так надо, что так требует закон большого числа, до тех пор ты будешь или жалок, слезлив и ничтожен, или же запьешь, как я.

Алексей Назарыч упал головою на локти и зарыдал.

Егоров взял шапку и, молча, не прощаясь, вышел в переднюю, оделся и стал спускаться с лестницы.

Он шел по улице и мысленно повторял: «Да будет воля твоя! Да будет воля твоя!», но что-то внутри его

говорило, что для него еще не все потеряно, что у него есть дочь и что, как бы велика ни была сила большого числа и как бы ни была права статистика, он употребит все свои усилия к тому, чтобы отвратить от дочери, быть может, уже намеченный на нее удар судьбы, и что если не в руках человека смерть, то в его руках счастье его ближних и отказываться от счастья делать это счастье, подчиниться року и подставить выю под дамоклов меч судьбы — это значит признавать себя не частью мировой души, а слабым, ничтожным, трусливым... И кто знает, быть может, Алексей Назарыч меньше ослабел бы от дум о несчастье, чем от самого несчастья, если бы любил жену, не тяготился семьей, имел немножко воли, привязанности хоть к одному ребенку... Нет, пока существует это прелестное существо, эта худенькая, нежная девочка, которая спит теперь безмятежно в своей кроватке, Егоров знает, для чего ему жить, и он будет стараться жить. И для него стало ясно, что все несчастья в мире существуют не для оправдания счастья других, а для того, чтобы свое личное счастье казалось святее и выше. Так бывало в детстве: когда он постился весь великий пост, пасха казалась ему святее и выше, чем теперь. И для тех людей, у которых осталась еще в сердце привязанность хоть к одному живому существу на свете, для тех еще стоит жить, есть цель жизни, и какие бы выводы ни делала статистика с ее законами больших чисел, они не положат оружия, не покорятся судьбе и будут работать, добиваться, жить... И пока на свете существует надежда, хотя бы маленький ее луч — на земле не будет места предопределению, року, закону большого числа!

И Егоров посмотрел на эти громады, высившиеся по обеим сторонам улицы, на эту толпу, стремившуюся куда-то, несмотря на поздний час, на этот муравейник, в котором бился пульс жизни всей России, и бодро взглянул в глаза своему грядущему, которое до этого его так ужасало.

Он поднялся к себе и тихонько, на цыпочках, прямо из передней прошел в детскую. На столе горел ночник, и громко стучали часы, и нянька лежала на своей кровати, укрывшись с головой. Егоров подошел к кроватке Софки и нагнулся к ней через решетку. Она лежала на спинке, закинув ручки за головку и рассыпав волоски

по подушке. Он обхватил ее тельце и стал покрывать ее горячими поцелуями. Она открыла глаза, отстранила его ручкой и заснула снова.

— Уйди, папа...— сквозь сон пробормотала она.

Прочь наследственность, вырождение, дамоклов меч большого числа! Егоров докажет, что он сильнее их и что если он был бессилен против смерти, то счастье его близких, его дочери в его руках и он создаст это счастье!

Мало ли людей, для которых еще стоит жить!

ГРИШКА

— Телушка аль бычок? — спросила бабка Пелагея.

— Бычишка,— ответил Федор и опустил на пол, около печки, маленькое, мокрое, только что облизанное существо с белым пятнышком на лбу и с белым носом, смотревшее круглыми большими глазами.

Гришутка слез с полатей и подскочил к теленку. Боже мой, какая радость! Маленький, беспомощный теленок лежал, подобрав под себя ножки и уткнув мордочку в землю.

«Бэ-э...— вдруг замычал он.— М-м-м...»

— Ишь какой голосистый! — сказал Федор.— Ладно, успеешь.

— Соломки бы подослать ему...— закряхтела бабка Пелагея.— А погода-то... Так и метет, так и метет, а день-то базарный...

— Гринька! — крикнул Федор.— Принеси-ка охапку соломы!

Гришутка в одной рубахе, в валенках выскочил на двор и возвратился с пучком соломы. На плечах и на голове у него висели снежинки. Батюшки мои, теленок! Никогда этого раньше не бывало!

— Затворяй дверь! — крикнул на него Федор.— Что слюни-то распустил?

Гришка вернулся, затворил дверь и положил под теленка солому.

— Какой маленький,— сказал он.— Тятька, гляди: языком в ноздри достает!

Вошла мамка Федосья с кувшином и тряпкой. Тряп-

ку повесила на печь, а кувшин надела вверх дном на ухват и приткнула к уголку.

— Убрала корову...— вздохнула она.— К Василию Сергеичу сходить бы муки купить, теленку болтушку сделать, а то молока-то до вечера не будет... Молозиво одно... Ты бы послал Гришутку.

Федор надел полушубок и пошел в лавочку сам.

— Погода-то, погода...— закряхтела старуха.— Так и метет, так и метет! До вознесенья-то, чай, и не доедешь!

Гришутка склонился над теленком, присел на корточки и долго-долго смотрел на него. Потом погладил его и липкую, мокрую руку обтер о рубаху.

— Мамка! — воскликнул он.— Какой чудной!

И засмеялся.

Пришел из лавки отец с мукою, мать наболтала ее в воде, вложила в миску кулак, оттопырив один палец, и сунула этот палец в рот теленку. Он схватил его и зачмокал, потянув в себя и болтушку.

— Мамка, дай я,— сказал Гришутка.

Он тоже оттопырил палец, и теленок и его палец забрал к себе в рот и засосал, и какое-то странное ощущение пробежало вдоль спины у Гришутки.

Запищал младенец в люльке. Федосья подошла к ребенку и, захватив в рот муки, сделала из нее и из слюней тесто и втиснула его ребенку в рот.

— Ах ты, пачкун! — заворчала она и, взяв с полу тряпку, вытерла ею в люльке.— Наказание, право...

И положила ребенка на прежнее место. Он попищал немного и умолк.

Затем обедали черным хлебом, кислым молоком и серой кислой капустой, причем все следили друг за другом, как бы кто-нибудь не съел больше. Потом от нечего делать спали долго. Часов в семь Федор пошел в чайную лавку того же Василия Сергеича, в которой в чайниках вместо чая подавали водку, и домой вернулся пьяный. Огня не зажигали весь вечер и рано улеглись все спать. Всю ночь ребенок громко кричал, так что Федосья часто вынимала его из люльки и качала на коленях, причем сама крепко спала сидя. Раза три среди ночи Гришка просыпался, подходил к теленку и гладил его.

Боже мой, какое счастье!

И ему хотелось взять теленка к себе на полати и уложить его рядом с собою.

Утром проснулись рано и пили чай при лампочке. Пили долго, громко хлебая из блюдечек, пока не рассвело окончательно. Федосья подоила корову и разлила молоко по крынкам. Затем топила печь и ставила хлебы. Пекла хлебы старуха. Обедали молоком, в которое накрошили горячего черного хлеба. Но большую часть удоя и большее количество муки выпоили на телка. И Гришке показалось странным, почему именно его, Гришку, всегда усчитывали в еде, а для теленка ничего не жалели. И в детском уме сложилось крепкое убеждение, что и для всей его семьи новый ее член, теленок, представлял такую же огромную величину, как и для него самого.

— Не жалей, Федосья,— сказал жене Федор.— Пущай Гринька поит... Так бесперечь и пусть себе сосет!

И для Гришки наступила новая эра. В скуке и однообразии деревенской жизни, целиком сложенной из забот о куске хлеба и из разных злыдней, судьба послала ему развлечение. Теперь целые дни стали вдруг для него наполненными. Он кормил теленка, убирал за ним солому, следил за каждым его движением. Гришке было уже девять лет, маленькому его братишке минул всего только пятый месяц. Этот интервал, в который перемерло «невесть что» его сестер и братьев, сделал его совершенно одиноким. Жили они в выселках, состоящих всего из трех дворов, но дети его возраста и старше уже были отвезены в город в услужение, и оставались только одни младенцы и девчонки, с которыми у него было очень мало общего. И когда в их избе появился вдруг теленок, жизнь Гришутки сразу переменилась: в этом маленьком представителе будущего жаркого он увидел что-то близкое, родное, что-то заменившее ему и сверстников и брата. И теперь, когда подраставший под его присмотром теленок, привязанный веревочкой к стене, в избытке радости жизни делал те прыжки и пируэты, которые принято называть проявлением телячьего восторга, с ним вместе делал их и Гришутка и уже не замечал ни того, как приходил от Василия Сергеича его пьяный отец и ругался нехорошими словами, ни того, как кряхтела старуха Пелагея и как по целым дням и ночам беспрерывно плакал в люльке младенец.

— Это у него сглаз, наверное,— вздыхала Федосья и совала ему в рот жеваного черного хлеба.— Шш... шш... шш... Спи, спи, махонький!

Через четыре недели случилось нечто неожиданное. Отец запряг розвальни, оделся и, повалив на пол теленка, связал ему ноги — задние к передним и каждую пару вместе. Затем, взяв его на руки, бочком повалил его в сани. Теленок мычал, и из хлевка жалостно вторила ему корова. Гришутку так это поразило, что у него забилось сердце и навернулись слезы.

— Тятька, что ты делаешь? — спросил он.— Куда ты его?

— Известно куда,— ответил Федор.— В город...

— А как же я-то?

— Да и ты тоже... Поди одевайся живее! Что зря-то хлеб жевать?

Пришла с соседнего двора Акулина, пришел крестненький Яков Власьич. Сели за стол, уже одетые, пить чай, и пили его с водкой. Тем временем теленок лежал на боку, свесив отекшую голову с саней, и все время ему вторила из хлева корова.

— То же мать ведь... Мычит,— сказала Акулина.— Всякому свое дите жалко!

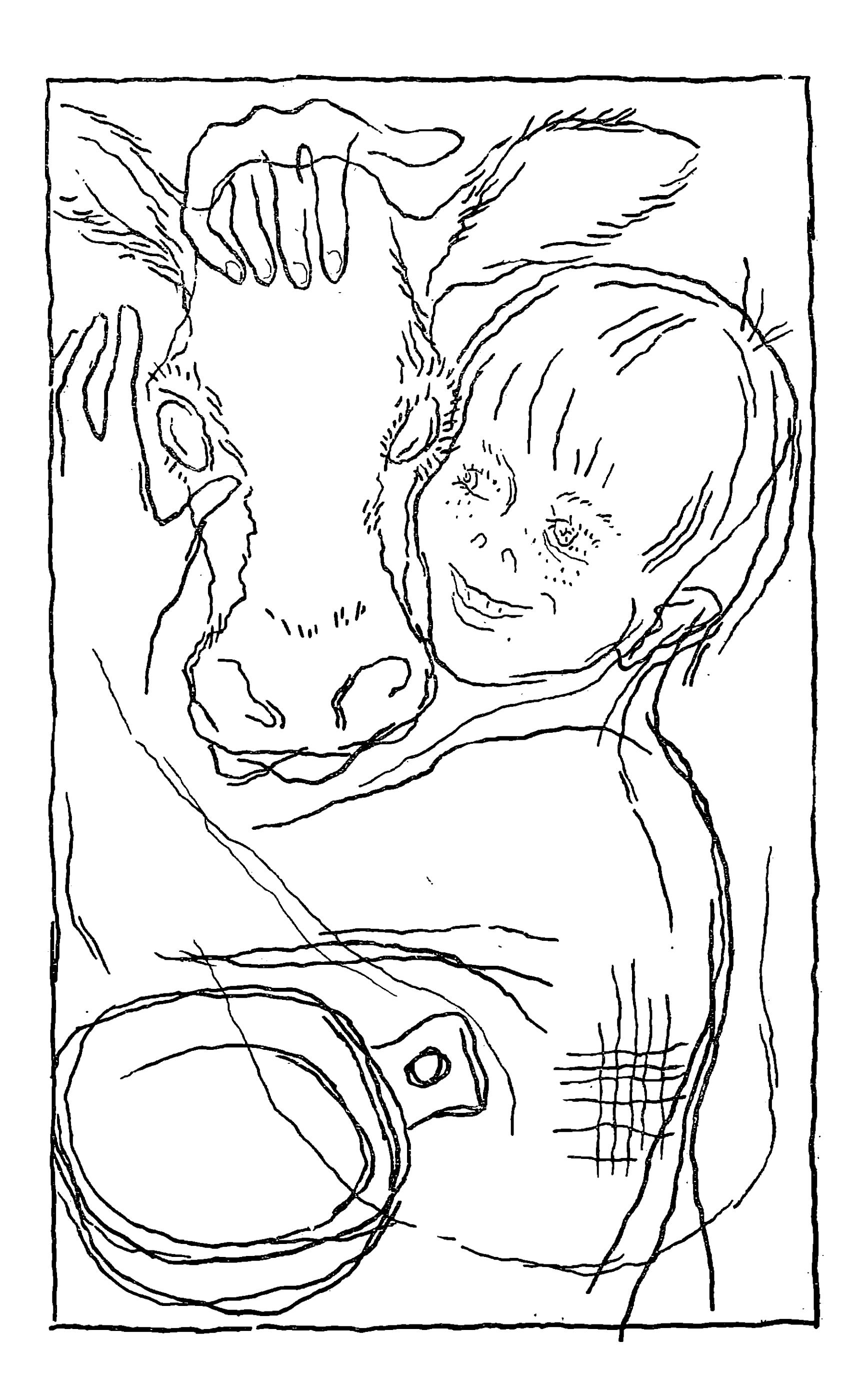
Пелагея погладила по голове Гришку, и он заплакал.

— В город, стало быть,— заговорил крестный.— Это самое, в услужение... Так, так, это самое... Пора... Только вот что я тебе, Федя, скажу... В городе-то рубли, стало быть, с колесо, а пока до нас докатятся-то, рубли-то, так, это самое, с серебряный пятачок обтираются... Эх-ма-хма! Ты же его по какой части отдать хочешь?

— По мясной...

— По мясной части — дело хорошее... Вот Зимаревские все, это самое, мясники... Ничего, живут себе очинно даже слободно... Теперь, говорю, как господа, стали в пост скоромное жрать, так, это самое, ничего... Торговать можно...

Стали собираться. Потные, рассолодевшие от горячего чая и алкоголя, все вышли на двор и стали прощаться. Гришка, весь в слезах, с маленьким узелочком, в который Федосья сунула ему на дорогу черного хлеба и два обгрызанных кусочка сахара, долго еще вертелся около саней, не зная, как бы сесть так, чтобы не при-



мять теленка, а Федор грузно ввалился в сани, точно в них лежало не живое существо, а куль соломы.

Поехали. Было свежо, и полозья скользили по глубоким следам, так что голова теленка волочилась прямо по снегу. Гришка смотрел на него, на серое небо, на грустные березки, попадавшиеся на пути, и на одинокие вешки, которые еще осенью расставлял вдоль дороги староста Афанасий, и никак не мог понять, что отец хочет с ним делать. Он знал, что каждого мальчика отвозят в город в услужение, но почему это так сразу, неожиданно, стряслось над ним и над теленком, он не мог себе объяснить. Заржавленные две копейки, которые сунул ему в руку при прощании крестненький на гостинцы, утомили его кулак, деть их было некуда, он положил их себе в рот и заплакал.

— Э, дура! — заворчал на него Федор.— Ослец этакий! Ревет, словно баба какая!

Подъехали к трактиру. Около него стояло несколько подвод, и возчики громко ругались. Лошади громыхали бубенцами, так что издали было похоже, будто ведут арестантов. Комната была полна махорочного дыма и сквернословия, все липло — и столы, и стены, и буфет, но перед образом горела лампадка. Федор вошел в трактир, помолился, отнял у Гришки его две копейки, приложил своих три и выпил на них водки. Потом взял с прилавка сухарик, закусил им, громко грызя его зубами, и они поехали дальше. Теленок хотел пить и лежал, высунув длинный розовый язык, и когда его морда бороздила по снегу, он жадно облизывался. Стало смеркаться...

— Тятька, куда ты везешь телка? — спросил, наконец, Гришка.

— На бойню...

— А что там с ним сделают?

— Убьют на мясо...

— А кто станет есть?

— Известно кто!.. Господа!

Неужели, действительно, убьют этого теленка? Гришке не хотелось этому верить. Ему, евшему мясо только два-три раза в год, да и то от тех коровенок, которые уже настолько состарились, что вовсе не давали молока, и сроду не видавшему господ, казалось странным, что эти господа, которые, судя по рассказам мужи-

ков, несомненно, образованнее и умнее их, вместо того, чтобы заступиться за Гришку и за теленка, наоборот, сами же поощряют это телячье убийство. Гришка не видал ни разу, чтобы в деревне кто-нибудь ел телят; следовательно, их едят только в городе. Тятька говорит, что их едят господа, а мужики?

— Тятька, а мужики в городах телят едят?

— Где уж мужикам! С голоду телят не едят... Был бы хлеб — и на том спасибо!

Следовательно, телят едят господа, и едят только потому, что сыты. И этот бедный теленок должен умереть по той простой причине, что он вкусный... От кого же теперь ждать защиты? Бедный, бедный теленок!..

В избе у Федора на стене была приклеена лубочная картинка. На ней был изображен экипаж, в экипаже сидела барыня с собачкой на коленях и барин в высокой шляпе, похожей на ведро. У барина была желтенькая бородка, а у барыни розовый зонтик. Внизу стояла подпись: «На Крестовском острову вид хороший на Неву, и из города туда любят ездить господа». И в воображении Гришки предстали этот господин с дамой, которые, ухмыляясь, смотрели на него и говорили: «Ага, вот мы завтра съедим твоего теленка! Завтра его для нас зарежут, и мы скушаем его, потому что он молоденький, вкусный и потому, что у нас есть деньги и мы сыты».

Поздно вечером приехали в город. Сквозь сон Гришка увидал большие дома, запертые магазины, горевшие фонари и слышал колотушки ночных сторожей. Лошадь еще плелась шагом, виляя из стороны в сторону. Навстречу попался извозчик с седоками.

— Куда лезешь, лешман! — крикнул он на Федора.— Путаешься тут... Держи вправо!

Федор встрепенулся, задергал вожжами, но в это самое время поравнявшийся с ним извозчик вытянул его кнутом по спине так, что удар раздался по полушубку, точно по перине.

Остановились у какого-то свата. Лошадь распрягли, напоили и дали ей сена, но телка даже не переложили на другой бок, и так его и оставили лежать до утра с отекшими глазами и с высунутым языком. Гришка хотел было за него заступиться, но дремота и усталость сломили его, и он едва-едва добрался до теплой печки

и заснул. Во сне ему виделись ножи, телята, барин в цилиндре и барыня под розовым зонтиком; кипели для чего-то котлы кипучие. Барин оскалил на него зубы и сказал ему: «А вот я твоего теленка съем!»

Часа в три утра, когда было еще совсем темно, Гришку разбудили. У стола на лавках сидели какие-то лохматые мужики и что-то ели, и тут же стояли два парня и через их головы молились на образ. Отмолившись, они принесли огромные чайники, и все стали пить чай. За чаем Федор торговался с одним из мужиков насчет шкуры теленка. Федор просил девяносто копеек, а мужик давал шестьдесят. Федор божился, что шкура себе дороже стоит, а Гришка никак не мог понять, почему она Федору стоит дороже, чем самому теленку.

В четвертом часу поехали на бойню. Было темно, холодно и сыро, так как за ночь пошел мокрый снег. Фонари уже были погашены, и только где-то впереди мерцали огоньки. Доносились шипение пара и мычание скота. Скоро подъехали к бойне. Федор оставил Гришку одного, а сам соскочил с саней и скрылся за воротами бойни. Подъезжали какие-то люди, должно быть купцы и мясники, и тоже скрывались за воротами. Темнота, резкий ветер, жалобное тягучее мычание скота и шипение пара где-то сбоку произвели на Гришку очень тяжелое впечатление. Он обнял теленка и стал плакать.

Вышел отец, взял лошадь под уздцы и ввел ее во двор бойни. Вдоль двора Гришка увидел много быков, которые стояли в грязи и лизали от жажды забор. Лечь им было невозможно, так как они были слишком коротко привязаны к забору, и все пустое пространство между ними и под ними было занято овцами, которые блеяли.

— Тятька, что это шипит? — спросил отца Гришка.

— Это клей здесь варят... Ну слезай, Гринька, пойдем!

Гришка слез с саней, отец развязал теленка, взвалил его на плечи, и они пошли на бойню. Раздались шум, крики, рев...

— Сторонись! — закричал на них кто-то.

При свете фонарей Гришка увидел, как шесть здоровых мужиков с засученными рукавами, все в крови, вели к убою быка. Бык упирался, пятился, но потом, точно поняв, что своей судьбы не миновать, поплелся

покорно. Его притянули за рога к кольцу, ввинченному в пол, так что его ноздри плотно примкнули к запекшейся на полу крови, и, обвязав вокруг его тела веревку, перекинули ее через блок в потолке и стали тянуть. Бойник перекрестился, взмахнул длинным ножом и вонзил его в затылок быка, вращая этим ножом крест-накрест в затылке. И, не издав ни малейшего звука, подтянутый за веревку от блока, бык всею тяжестью рухнул на землю.

Гришка испугался и затрясся всем телом.

— Тятька... тятька...— говорил он.— Миленький тятька... Я не буду... Прости христа ради...

— Ну что сопли-то распустил? — крикнул на него отец.— Не тебя ведь режут, а скотину.

— Федор, неси! — раздался чей-то голос.— Живее!

Федор зашел за перегородку и опустил на землю теленка. Здесь Гришка увидел и того мужика, который торговался с его отцом о шкуре. Молодой бойник наклонился над теленком, пощупал ему гортань, приказал Федору и Гришке держать его за ноги и быстро его зарезал. И Гришка стал участником в убийстве того самого друга, которого он так заботливо воспитывал и так нежно любил. Это было выше сил его.

И с этого момента Гришка уже перестал плакать и протестовать. Ужас, который он пережил за эти минуты, запах крови и явная несправедливость к беззащитным животным огорошили его, и его детской душе это оказалось не под силу. Он ходил как потерянный и уже ничего не понимал из того, что вокруг него происходило. С убитого только что быка уже содрали шкуру, и один бойник тянул его обеими руками за язык, в то время как другой отрезал этот язык от гортани. И бык смотрел на них, выкативши круглые, оловянные глаза без век, и Гришке это не казалось уже таким страшным. Точно в полусне ходил он по бойне, и когда отец подозвал его и униженно, снявши шапку и низко кланяясь, подвел его к какому-то толстому человеку, Гришка подошел к нему так же равнодушно, как и к тем бойникам, которые вырезали у быка язык.

— Сделайте такую милость, Назар Никитич...— кланялся отец.— Не оставьте. Возьмите в услужение... Явите божескую милость!

Гришку посадили на воз с тушами и повезли в город.

Начинало светать. Теперь уже можно было ясно увидеть и город, и голубей на крышах, но Гришка уже не интересовался ими. Он ожидал, что его заставят сейчас резать и убивать, и старался примириться со своим положением.

Возы остановились около открытой уже мясной лавки Назара Никитича. Молодцы стали вносить на себе в лавку мясные туши и разрубать их на части, причем Гришке так и казалось, что вот-вот ему сейчас отхватят вместе с мясом руку или ударят топором по голове, а хозяин подошел к телефону и приказал соединить себя с другой городской бойней.

— Позвольте узнать, убит ли мой скот? — спросил он по телефону.

А потом он вдруг с лицом, полным ужаса и негодования, обратившись к молодцам, сказал:

— Ну вот что прикажете делать? Нешто это люди? Ведь это азиаты! До сих пор моя скотина стоит еще живая! Некому ее убить!

Гришка ожидал, что хозяин порадуется тому, что злые бойники не успели еще зарезать его скотины, но и в этом ошибся. Он отошел к двери и стал поджидать той минуты, когда мимо их лавки проедут тот барин в цилиндре и та барыня с розовым зонтиком и с собачкой на коленях, которые висят у них в деревне на стене и ради сытости которых истребляется на свете столько живых существ.

Уж и задаст же он им!

СЖИВЕТСЯ — СТЕРПИТСЯ

Вы спрашиваете, почему я пошел в монахи? Скажу откровенно — призвания не было, но случилось это само собою, как единственный выход из положения.

Девятнадцатилетним молодым человеком я выдержал незамысловатый экзамен на сельского учителя и получил школу в селе Талицах. Работы, конечно, было немало, рвения еще того больше, но скука деревенской жизни, в особенности осенью, в непролазную грязь, иногда доводила меня до отчаяния. Поэтому вы легко поймете, каким благодеянием для меня являлась семья нашего местного батюшки отца Никодима. Это был еще не старый, в полном смысле слова русский поп, сам пахавший, сам косивший и живший впроголодь. Любил просвещение и читал газеты, которые выписывал на свои деньги. Попадья у него была милая, добрая, но недалекая женщина, весь дом несшая на своем горбу. Ей помогала их дочь Наталья, моя ровесница, девушка, не представлявшая собою ничего особенно выдающегося, но необычайно трогательная. Разводила цветочки, любила соловьев и к моим школьникам питала привязанность. Но в ее лице было что-то материнское, вечная озабоченность, вечно приподнятые брови и выражение такое, точно вот-вот сейчас ее позовут или что-то у нее там осталось недоделанным. Была у отца Никодима еще и другая дочь — Настя, но та училась в городе в епархиальном училище, и я ее не видал ни разу в течение четырех лет. Но об этом я скажу ниже.

Наталья была моей первой любовью. Вероятно, тому была причиной моя юность и роскошная в тот год весна,

ибо, сколько слышу и читаю, первая любовь в мире редко бывает продуктом, так сказать, сознательной деятельности и еще реже завершается браком. Тем не менее я решил жениться. Я не помню, чтобы когда-нибудь сирень цвела так буйно, как в тот год. Верите, кусты были точно облиты цветами, запах стоял повсюду опьяняющий, а что было разных стрекоз, пчел и других насекомых! Так и реяли перед глазами!

Помню, я взял полотенце и, выкупавшись на том местечке, которое я знал только один, с промокшей на спине парусиновой блузой и с мокрыми волосами пошел прямо с купания к попу пить чай. Ах, что это был за вечер! Не запомню другого такого. Дом попа был серенький, в четыре окна, с палисадником; но сзади его тянулся порядочный сад, составлявший собою министерство Натальи. Когда я вошел в калитку, попадья доила у хлевка корову, а из-за стены доносилось хрумканье лошади, жевавшей свежую траву. Ходила утка с утятами, и толпились куры. Премилая картина нашего домашнего поповского обихода!

Поздоровавшись с попадьей, прошел я прямо в сад. По дорожкам, сняв рясу, в одном нижнем белье, с длинными волосами и в сапогах с рыжими голенищами, прохаживался сам отец Никодим, удивительно похожий в таком виде на Робинзона Крузо. Тут же на кустах был растянут для просушки его парусиновый подрясник.

— А, просвещеннейший дидаскал! Милости просим...— сказал он мне.— А я вот косил траву для своего Россинанта, да промок немножко... Просушиваюсь... Жарко!.. Каков вечер?

— Да, раверендиссиме...— отвечал я.— Превосходный.

Отношения у нас были самые приятельские, несмотря на значительную разницу лет. Но, устыдившись даже меня, отец Никодим надел сушившийся подрясник и, сказавши: «Я сейчас!», вышел. Я остался один в саду. Вдруг слышу постукивание посудой. Иду к тому месту и вижу мою Наташу, расставляющую чашки для чая. Оглянувшись по сторонам, я подошел к ней и сказал:

— Наталья Никодимовна, позвольте просить вас быть моей женой.

Она, бедняжечка, испугалась, вся затрепетала и встала с места.

— Бог знает, что вы говорите, Прокофий Семеныч,— ответила она и опять села.— Как вам не грех?..

Мы оба сидели молча, она — перетирая уже вытертые блюдечки, а я — строя из сухариков пирамиды. Она тяжело дышала, и щеки ее пылали. Но уж зато надрывались соловьи!

Мы молчали, но для нас обоих было ясно, что эта весна, эти соловьи, этот аромат были созданы только для нас обоих и что, не будь их, не произошло бы того, что произошло.

Послышались скрип калитки и шаги.

Наталья Никодимовна спохватилась и стала перетирать чашки.

— Не ломайте сухарей...— сказала она.— Мамаша есть не станет.

Подошел отец Никодим, уже в черном подряснике, затем пришла матушка, и мы стали пить чай. Разливала, как и всегда, Наташа.

— Нет, плохая я тебе стала, отец, работница,— сказала попадья.— Моченьки моей нету. Поясница-то, поясница...

— Марфо, Марфо, о мнозем печешися...— ответил отец Никодим.

— Ну и сидел бы ты, отец, голодный!

— Много ли мне, мать, надо? Пошел рыбки наловил — вот и сыт.

Разговорились о рыбной ловле и решили завтра же отправляться вечерком к Божаровскому омуту. Для отца Никодима рыбная ловля составляла своего рода культ, и как для богослужения он надевал ризы, так и для рыбной ловли у него имелась специальная одежда. Воспитанник бурсы, он до самой старости сохранил ее речения, повадки и уклад жизни. Соловья звал Филомелой, помнил латынь и латинские слова произносил по-бурсацки. Так, например, слово decem — десять — он произносил так: децэм.

И вот на следующий вечер, взяв удочки и лапти для раков, мы отправились на рыбную ловлю. Я шел босиком. Тогда для меня это было и легче и дешевле. Засели мы за ловлю. Батюшка удил, а я ловил раков. Раки ловятся так: к пятке лаптя привязываются кусок мяса

и веревочка, а к носку — гирька, от чего в воде лапоть держится стоймя; рак хватается клешней за мясо, и когда лапоть вытаскиваешь за веревочку на воздух, то рак отцепляется от мяса и падает в носок лаптя. Дело не хитрое. Мы ловили, а в селе Божарове парни и девки пели хором песни, заходила туча, и больно кусались комары.

— А ведь быть грозе! Парит! — крикнул мне отец Никодим.— Должно, к ночи соберется.

Я сделал вид, что не расслышал, и, подойдя к нему, сел на корточки.

— Отец Никодим,— сказал я.— Простите, что я вам досаждаю. Позвольте мне просить у вас руки вашей дочери Натальи Никодимовны.

Отец Никодим нахмурился и ничего не ответил. Так мы промолчали, должно быть, с час.

— Что я тебе отвечу, Прокофий Семеныч, на твое лестное для меня предложение? — сказал он потом, когда мы стали собираться уходить.— Парень ты хороший и сердцу моему любезный. Но рассуди, как мне с тобою быть? За Наташей останется мой приход, так распорядился владыка, следственно, муж ее должен быть обязательно духовный. Это первое. Повторительно, в попы тебе не вылезти, потому бывают, которые посвящаются и из учителей, это точно, но образование твое маленькое, и не рукоположит тебя ни один архиерей. Отдать же за тебя Наташу без прихода, чем вы жить будете? Много ли проживешь на твои семнадцать рублей? Приданого ведь у меня эти вот фанаберии да попадья. Вот и рассуди сам. А против твоей личности я не имею ровно ничего. Даже рад... Прости, Прокоша, и... пойми.

Потом мы собрали наши снасти и пошли домой. Всю дорогу мы молчали, а когда дошли до ворот поповского дома, отец Никодим молча обнял меня и поцеловал в губы. Так мы и расстались. Я перестал ходить к нему в дом и с тех пор встречался с ним и с его семьей только за всенощной да за обедней. Да вот еще, правда, когда настал сенокос, я помог ему скосить церковную леваду. Два утра мы махали с ним косами, а потом я громадил возы, а Наташа свозила их домой. Во время работы я старался на нее не смотреть, да и она на меня тоже.

Вскоре после покоса, вечером, когда я уже ложился спать, ко мне неожиданно пришел отец Никодим и сел

на край кровати. Он был весь в пыли и имел очень усталый вид.

— Вот что, Прокофий...— сказал он.— Вижу и понимаю. Был у преосвященного, сейчас прямо из города. Сижу я вчера вечером у себя в садике, смотрю на Наталью и думаю: кому-то все это достанется? И приедет, брат, из губернии какой-нибудь рыжий попович, присланный владыкой, непременно с весноватым носом, неуклюжий, и будет у него вид прелютейший. Может, он и добрый, а кто ж его знает? И придется отдать все — и приход, и сад, и Наталью — незнакомцу. Катавасия!

— Ну и что же? — спросил я.

— Говорил владыке про тебя.

— Не может быть!

— Чего уж тут не может быть, когда оно так? Вот что, Прокофий... Ты человек молодой, тебе двадцать лет. Собирай, брат, монатки и иди к преосвященному. В уважение к тому, что ты учитель, преосвященный принимает тебя, хотя и великовозрастна суща, без экзамена в третий класс семинарии с тем предположением, что если ты успешно закончишь курс, то будешь рукоположен во священники и моя Наталья с приходом останется за тобой... Дерзай, Прокофий! Ведь это счастье! Завтра же отправляйся ко владыке, бухни ему в ноги и вырази свое согласие... Ну что сидишь, как кариатида?

Я испугался.

— Отец Никодим! — воскликнул я.— Да как же я пойду к преосвященному один?

— А как ходил Ломоносов и многие подобные? Как хожу я? Смелым бог владеет! Не съест ведь...

— Так-то оно так, отец Никодим, но ведь для ученья нужны средства... А где я их возьму? Ведь целых четыре года! Мало-мало, а все сотен пять надо. Заработка-то ведь не будет...

— Я дам тебе иждивение.

Я замахал и руками и ногами.

— Что вы, отец Никодим! Господь с вами! Разве я не вижу? Вы сами, можно сказать, чуть не нуждаетесь, семью содержите, донку воспитываете — и вдруг тратиться еще на меня. Да что вы! Разве я не понимаю?

— Бог поможет!

И долго еще мы говорили и пререкались, пока наконец отец Никодим не ушел от меня, взяв с меня слово,

что я буду жить на его средства ничтоже сумняся и что завтра же поеду ко владыке.

— После уплатишь,— говорил мне отец Никодим.— Все сторицею возместишь и мне, и моей старухе. Только бы здоровье... Прощай, друже! Только бабам моим не болтай ничего.

— Прощай, отче!.. Спокойной ночи.

На другой день я был у архиерея, а через месяц уже переехал в губернский город в семинарию. Прощание с отцом Никодимом и с его семьей было очень трогательное, точно я уезжал в Америку, попадья дала мне полдюжины полотенец, а милый попик сунул мне в руку десять рублей. Наташа плакала. Но не могу скрыть от вас, что в то утро она мне почему-то показалась какой-то маленькой и сутулой.

— Прощайте, Прокофий Семеныч...— сказала она и протянула мне свою большую, рабочую руку.

— Поцелуйтесь на прощанье! — сказал отец Никодим.— Как брат с сестрой... Вот так.

Мы поцеловались, и я поехал.

Семинария, товарищи, архиерейский хор, в котором я скоро занял видное место тенора, посвящение затем во стихари и участие в архиерейской службе, а затем, как-никак, театр и движение на улицах скоро совершенно изгладили из моей головы наше село и семью отца Никодима. Правда, я получал от него письма и деньги и сам писал ему, но с каждым разом все больше и больше убеждался, что если я когда-нибудь и женюсь на Наташе, то разве только из благодарности и для того, чтобы получить приход. Один раз я получил от отца Никодима такое письмо: «Приехал богослов свататься к приходу и к Наташе. Мы его накормили, напоили и вежливенько, чин чином поставили от себя на дистанцию». Мне было больно об этом читать, но написать отцу Никодиму прямо не хватало смелости, и, грешный человек, я боялся лишиться его субсидии. Впрочем, я далеко в будущее старался не заглядывать.

Прошел год, настали каникулы, или, как у нас называли, «кондиции», большинство разъезжалось по домам, а меня вызвал к себе архиерей и предложил мне остаться в его хоре и на лето.

— Куда тебе ехать? К Никодиму? Успеешь...— скороговоркой заговорил он.— Лето-то и у меня козлом

попоешь. Без козла тоже ведь нельзя... Нынче козлы дорогие.

В другой раз я стал бы проситься, но вспомнил про Наташу, бухнул архиерею в ноги и остался в его хоре. Отец Никодим прислал мне письмо, в котором хотя и сожалел, что я лето не проведу в его семье, но высказывал свою радость по тому поводу, что, значит, я человек преотменнейший, ежели понадобился самому владыке. При этом он прислал мне карточку своей семьи, снятую в уездном городе. Поп и попадья сидели, а Наташа стояла, сложивши руки на животе. Боже мой, что это были за руки!

Целых четыре года я не был в семье отца Никодима. А когда я кончил курс, меня вызвал отец ректор и сказал мне, что по распоряжению владыки я должен жениться на Наталье Никодимовне, причем приход отца Никодима остается за мной. Чтобы свадьбой я не торопился, потому что не к спеху, и что когда я женюсь, то вскоре же воспоследует и рукоположение меня в священники.

Не могу описать вам той радости, с которою встретила меня семья отца Никодима. В тот день у него было настоящее торжество, и, судя по закускам и винам, можно было предполагать, что к этому дню он готовился все четыре года. Должен сказать также, что этот день был роковым в моей жизни, и что если надпись на кольце у царя Соломона «Ничто не проходит» могла оправдаться, то именно на мне. Этот день не прошел для меня даром и определил собою все дальнейшее направление моей жизни. В доме отца Никодима я встретил его вторую дочь, Настю, которая только в прошлом году окончила курс в епархиальном училище и приехала к отцу. Это была такая писаная красавица, такое ангельское было у нее лицо, такая прелестная была у нее фигура и такая редкостная доброта светилась в ее глазах, что при виде ее я не мог удержаться и внутренне, сам себе, сказал: вот моя жена! С захватывающим интересом, звонко смеясь и играя бровями, она жадно слушала повествования из моей семинарской жизни, а ее сестра Наташа, моя невеста, сидела рядом с нею с тем же испуганным выражением лица и с теми же большими руками на животе. На этот раз на носу у нее к тому же выступил еще пот.

Я полюбил Настю всем пылом моей души, я готов был на все, чтобы только она была моей, и искал только случая, чтобы сказать ей о моей любви. Каждый день мы разговаривали, гуляли, и каждый день я видел около себя это большерукое, испуганное существо, эту мою невесту Наташу. Я знал, что я должен был на ней жениться, что не далеко уже время посвящения меня в диаконы и в иереи, я видел, что все прихожане отца Никодима смотрят на меня как на будущего его преемника,— и это резало меня по сердцу. Я чувствовал себя вором, похитившим образование у отца Никодима, обокравшим его, погубившим счастье его Натальи и, вместо благодарности, готовящимся укусить его, как змея, пригретая им у своего сердца.

26 августа, в день святых Адриана и Натальи, то есть в именины Наташи, предполагалась наша свадьба, а 14 сентября — посвящение меня в иереи. Оставалось до венчания всего каких-нибудь недели две. Чувство порядочности заговорило во мне, я возмутился сам собою и решил во всем признаться отцу Никодиму.

— Отец Никодим,— сказал я,— согрешил я перед богом и перед вами. Я не могу жениться на Наталье.

Отец Никодим не проронил ни слова и опустился на стул. Долго длилось молчание.

— Я давно замечал это...— наконец прошептал он.

— Отец Никодим, изведите из темницы душу мою! — воскликнул я и припал к его коленям.— Разрешите меня от данного вам слова и простите меня!

— Но почему же, Прокофий, почему? Что случилось такое значительное?

— Я не люблю Натальи Никодимовны.

Отец Никодим поднялся, глубоко вздохнул и строго спросил:

— Значит, ты отказываешься?

— Отказываюсь окончательно.

— И бесповоротно?

— Бесповоротно...

— Змей!.. Искариот!..

А потом он вдруг бросился ко мне и сжал меня в своих объятиях.

— Женись, Прокоша...— сказал он.— Сделай такую милость! Ведь все на меня будут пальцами показывать!.. Ведь ее, старуху, некрасивую, никто теперь не

возьмет! Женись, роднуша! А что ты разлюбил — так это ничего: сживется — стерпится!

Я вырвался из его объятий и выбежал в сад. В саду я наткнулся на Наташу, вероятно, злобно посмотрел на нее и убежал в поле. День был пасмурный, стояла в суслонах сжатая рожь, и умолкнувшая в поле жизнь увеличивала и без того грустное настроение. Я шел и старался дать себе отчет: мог ли бы я жениться по принципу «сживется — стерпится»? Все четыре года, когда я почувствовал охлаждение к Наталье и тем не менее бодро смотрел в глаза будущему, я утешал себя тем, что не все же женятся по любви и что сживется — действительно стерпится, а стерпится — действительно слюбится. С этим я и возвращался по окончании семинарии к отцу Никодиму. Но теперь, когда я полюбил другую, когда она стала для меня всем на свете, этот принцип показался для меня таким узким, таким пошлым, что против него запротестовало все мое существо. Теперь я не имел права жениться на Наталье.

Наутро я собрался в губернский город и явился к архиерею. Он принял меня весело, ласково, но когда я сказал ему, что я не женюсь и отказываюсь от прихода, он вскипел и, выйдя из себя, закричал на меня:

— Слон! Элефант! Упрямец!

А потом подумал и добавил:

— Впрочем, и она-то, кажется, старуха уже... Чай, на год старше тебя? Иди с миром... Насильно не женишь... В академию поступай!

Затем к архиерею был вызван отец Никодим. О чем они говорили, я не знаю, только через неделю или дней через десять приехал к нам семинарист, рыжий и некрасивый, и присватался к Наташе. Потом их повенчали, и с воздвиженья стала Наталья попадьей.

Положение мое в доме отца Никодима стало двусмысленным, к тому же я и не имел ни копейки денег. Мне нужно было уехать надолго для отыскания себе места, но мысль о том, что я могу хоть на день, хоть на час не быть около Насти, лишала меня всякой энергии и чувства собственного достоинства. Притом же я стал замечать, что и Настя переменилась ко мне и стала избегать меня, и это еще больше разжигало мою любовь к ней.

— Пора бы вам, Прокофий Семеныч, поискать себе

должность,— сказала мне однажды жена отца Никодима.— А то все на наш счет да на наш счет... Мы не миллионщики! Ох, поясница моя, поясница!.. К погоде оно, что ли?..

Мне и раньше казалось, что я низко пал, но эти слова все прояснили. Я оскорбился и поехал в город. Здесь после долгих поисков я нашел себе место в полицейском управлении и, возвратившись к отцу Никодиму, сделал Насте предложение.

Она отказала мне.

Не в силах сдержать себя, я, как вор, притаился в саду, в кустах, и, выждав, когда она проходила мимо меня, бросился к ней и, сжав ее в своих объятиях, стал покрывать ее лицо, шею, грудь и руки поцелуями. Она визжала, вырывалась, и тут же я увидел белую, высокую, строгую фигуру отца Никодима. Я выпустил Настю из своих объятий и виновато, со стыдом, побрел к калитке.

— Иуда!.. Искариот!..— услышал я сзади себя голос отца Никодима.

В полицейское управление я так и не явился. Я долго ходил как очумелый и не знал, как поступить. «Успокойся, подожди немного, сживется — стерпится»,— шептал мне внутренний голос, а в то же время какой-то дьявол разжигал мою гордость и плоть, и мне казалось, что все уже потеряно и что жизнь для меня не имеет больше никакого смысла. И если бы я не был того круга, к которому принадлежал по рождению и по воспитанию, если бы во мне не было идеи бога и я не боялся страшного суда, то весьма вероятно, что я наложил бы на себя руки...

А дальше уже неинтересно. О том, как я был послушником, рассказывать не стоит: все было так обыкновенно! А перед самым пострижением я послал отцу Никодиму письмо, в котором просил его простить меня за обиды.

И только тогда, когда я сжигал корабли, когда полз ничком под покрывалом и когда все стояли со свечами в руках и отпевали меня для мира, только тогда, когда архимандрит бросил ножницы и я подымал их и сам вручал их ему, я понял, что именно теперь настанет покой моей мятущейся душе и что именно с этого момента «сживется — стерпится».

ПРЕСТУПНИК

По делам службы я заехал в один отдаленный городок, затерявшийся среди болот и лесов и имеющий не более одной тысячи жителей. Местность кругом была дикая, угрюмая, все было покрыто снегом, но говорят, что и летом здесь не лучше. Городок состоял всего только из двух улиц, и в нем не было ни одного двухэтажного дома. Я приехал в воскресенье, еще засветло, и от нечего делать пошел гулять. Идя вдоль улицы, я увидел, как из калитки одного дома вышел какой-то смуглый господин с восточным лицом. Он был высок, строен, имел черные печальные глаза и клином подстриженную черную бородку. Увидев на мне фуражку с кокардой, он снял шапку, поклонился и пошел своей дорогой. Было очень странно видеть восточного человека в таком северном медвежьем углу. Я пошел вслед за ним и, дойдя до городового, спросил его, кто это такой.

— Это ссыльный, ваше благородие, Мурзакул Алиев. Он стоит на квартире у мещанки Смысловой.

— А за что он сослан? — спросил я у городового.

— Я не могу знать, ваше благородие, должно, за преступление какое.

Этот восточный человек так меня заинтересовал, так мне понравилось его лицо и благородная, чисто горская осанка его тела, что, когда наступил вечер и на постоялом дворе было положительно противно сидеть и хотелось даже плакать от скуки, я решил повидаться с Мурзакулом и провести вечер у него.

Он встретил меня необычайно радушно, а когда я

ему сказал, что только в прошлом году был на Кавказе, видел Эльбрус и проезжал затем по Военно-Грузинской дороге, то он радостно засмеялся, и слезы брызнули у него из глаз. Разговорились.

— Дядя убивал,— сообщил он мне потом,— а я не убивал. Мой отец прятал дядю, а я знал куда... Дядя убежал в горы, а нас с отцом сослали. Отца на Амур, а меня сюда...

— Зачем же вы прятали дядю, когда знали, что он убил?

Мурзакул поднял на меня свои темные глаза и улыбнулся всем лицом.

— Акцизный крал у дяди дочь, дядя мстил ему. Для нас дядя был старший в роде, и мы должны были слушаться его. Иначе нас наказал бы бог.

— Вы хорошо помните Кавказ?

— Еще бы! — радостно воскликнул Мурзакул.— Горы, ледники Эльбруса, наш Нальчик... Они часто мне снятся.

— Что же, у вас осталась дома мать?

— Матери я не знаю. Как только я родился, в соседнем ауле тоже родился маленький. Отцы наши нами поменялись, чтобы мы около матерей не потеряли храбрости. Десяти лет отец взял меня назад, но моя мать Нахо уже померла.

— И больше у вас родственников на Кавказе не осталось?

— Есть еще сестра Рухие, замужем за кем-то. Где-то в горах.

Из отдушника в окне ужасно дуло, и видно было, как по стеклам ползли хлопья таявшего снега. Я пересел на другое место.

— Какой благородный человек ее муж! — воскликнул вдруг Мурзакул и восторженно поглядел на темное окно.— Я отлично помню, как отец выдавал за него сестру. Мы жили в сакле втроем: отец, Рухие и я... Был еще у нас юнак Мемет, но он спал отдельно. Была темная ночь, облака ходили низко-низко, и ветер дул и метался, как дикий зверь. Я лежал на ковре и дремал; мне тогда было двенадцать лет. Отец сидел у очага и чинил седло, а Рухие отжимала брынзу. Было холодно, я лежал под буркой. Как вдруг отворилась дверь, и входил юнак.

«Господин,— говорил юнак,— там какой-то джигит приехал и желает тебя видеть».

«А разве ты не сказал ему, что у старого Джебраила вино в мехах еще не оскудело и что его сакля не стала вдруг меньше? Отчего же ты не пригласил джигита войти сюда?»

«Нет, господин,— отвечал юнак,— я говорил джигиту, что в мехах у моего господина вино еще не оскудело и что его сакля не стала вдруг меньше, но он не слезал с коня и не захотел войти к тебе. Он просит, чтобы ты к нему сам выходил».

Отец зажег фонарь, стащил с меня бурку и сказал:

«Мурзакул, пойдем...»

Мы вышли на двор. Было очень холодно, я дрожал. Отец поднимал фонарь, и мы увидели всадника на черном коне; он стоял как раз у нашего крыльца. Кругом обступили горы, и слышно было, как за аулом лаяли шакалы.

«Разве ты не слыхал, джигит,— спросил у него отец,— что старый Джебраил никому не отказывает в ночлеге? Отчего же ты не хочешь войти к нему, во имя пророка?»

«Оттого, что у тебя есть дочь, господин,— отвечал джигит.— Я слыхал, что она прекрасна, как день, и что ее глаза черны, как ночь. Я слыхал, что когда она идет за водой, то горы заглядываются на нее и ветер слушает ее песню. В Сухуме волны моря разбиваются о скалы гор. Но об ее красоту, говорят, разбилось не одно мужское сердце у вас в ауле... Я хочу жениться на ней, старик. Если бы я сошел с коня и вошел к тебе в саклю и если бы ты отказал мне в ее руке, то я дрался бы с тобой и взял бы ее насильно, но я не хочу гневить пророка, во имя которого оказывается гостеприимство... Отдай за меня свою дочь, старик!»

Отец помолчал немного, а потом мы оба возвратились в саклю. Рухие уже сидела у очага и грелась. Отец молча взял ее за руку и вывел за дверь.

«Джигит,— сказал он,— ты благородный человек... Вот тебе жена!»

Джигит посадил Рухие на коня, укрыл ее своей буркой и ускакал с нею в горы.

— Какой благородный человек мой зять! — воскликнул Мурзакул.

— Чем же он благородный? — спросил я его.

— Он мог бы просто украсть мою сестру Рухие, но он этого не сделал.

— И вы думаете, что ваша сестра счастлива за ним?

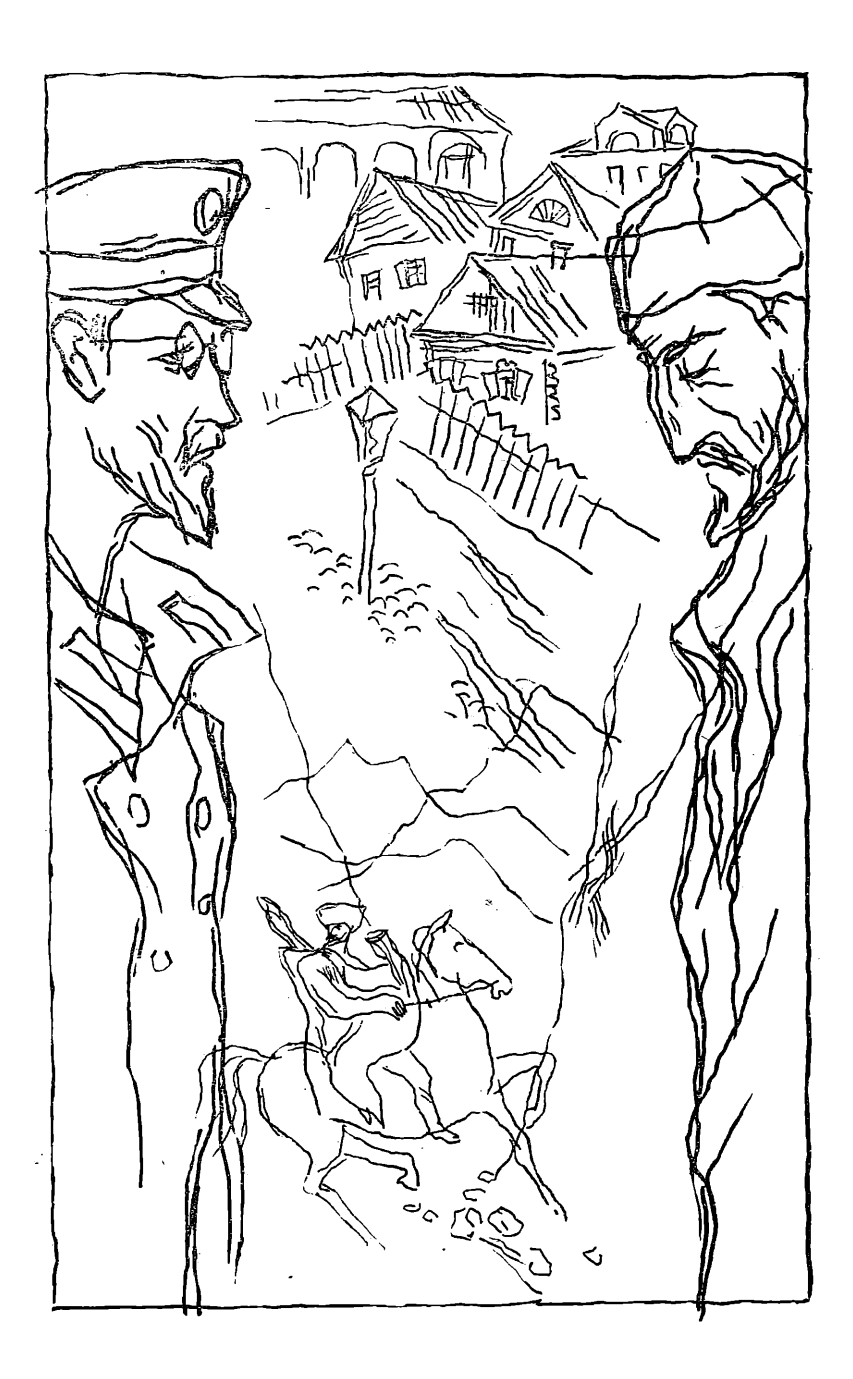
— О, конечно! С таким человеком несчастливой быть нельзя.

И еще долго мы разговаривали о Кавказе. А когда я собрался уходить, была уже поздняя ночь. Я простился с Мурзакулом и побрел к себе на постоялый двор.

Стоял март, ноги проваливались в зажоры, сверху падал дождь, смешанный со снегом, и залеплял глаза. Дул резкий ветер, а на дворе стояло то время весеннего перелома, когда сама природа, кажется, как будто не решается: держаться ли еще зимы или же махнуть на нее рукой и переходить на лето. Тротуаров не было, у заборов лежали тяжелые кучи осевшего снега, так что приходилось идти посредине улицы по конскому следу. Городок точно вымер. Во всех окнах уже были потушены огни, и на колокольне единственной церкви чуть слышно позванивал колокол: это ветер дергал за веревку, протянутую от колокола к сторожке. И, глядя на этот прикорнувший к реке городок, затерянный в снежной пустыне, без прошедшего и без будущего, я невольно подумал о той страшной борьбе за существование, которая заставила его первых обитателей бросить насиженные гнезда и основать город в таких печальных, болотистых местах.

Мне было очень жаль Мурзакула. Было ясно, что он пострадал не потому, что был преступник, а просто потому, что весь уклад жизни его племени не мог измеряться на европейский лад. Он знал, что его дядя убил акцизного, знал, где дядя был спрятан, и не доносил об этом в силу вполне понятных родственных отношений, а может быть, и потому, что для него это казалось настолько же неблагородным поступком, насколько благородным было для него сватовство его зятя. Ясно, что в данном деле для присяжных заседателей было большое поприще разобраться, где право и где неправо, и судить так, как того требовали человеческое сердце и святая, богом данная совесть.

Всю ночь я не мог заснуть и ворочался с боку на бок. Мешали насекомые, было душно, думалось о загубленной жизни Мурзакула и в то же время не хоте-



лось верить, чтобы суд не принял во внимание всех обстоятельств дела.

Наутро я не утерпел и пошел опять к Мурзакулу.

— Простите,— сказал я ему.— Но в вашем деле вы, кажется, что-то упустили. Я не думаю, чтобы присяжные были настолько жестоки, чтобы вынести вам обвинительный приговор.

Мурзакул вздохнул и провел рукою по волосам.

— На Кавказе еще нет суда присяжных! — грустно ответил он и, опустив голову на локти, громко зарыдал. Потом он встрепенулся и, выпрямившись во весь рост, сказал: — Вы знаете, на Кавказе отец собственноручно застрелил бы меня, если бы увидел у меня вот эти слезы! Ах боже мой, какая тоска!.. Она так изменяет характер!

Через два дня я уже уезжал из этого городка, вероятно навсегда. На постоялый двор меня пришел проводить Мурзакул. Он заботливо укутывал мне полостью ноги и оправлял сани, лошадей. Затем он вскочил на облучок и выехал со мною за город. Я долго еще видел его темную фигуру на белом фоне снега, и только, когда дорога стала огибать городское кладбище с покосившимися крестами и с полуразвалившейся часовней, он повернул назад и зашагал домой.

СТЕНА

Земское собрание закончилось раньше, чем предполагали. Гласный Карпов не заехал даже в имение жены, от имени которой был представителем на собрании, поспешил в Петербург. Утомившись сидеть в душном вагоне, он пошел с вокзала домой пешком и всю дорогу думал о том, как он сейчас примется за еду. Дома его не ожидают. Сынишка Борька бросится к нему навстречу, усядется на его колени, заерзает на них и, не дав ни с кем сказать ни слова, запищит:

— Ну, папка, рассказывай!

Выйдет жена, эта интересная, изящная женщина с рыжими волосами, потом теща. И после этой недели грязной номерной жизни в убогом уездном городишке теперь приятно будет засесть за свой письменный стол и начать работать...

Но вот уж и дом. У крыльца стоит чей-то экипаж. «Чей бы это? — думает Карпов.— Надо поспешить!» Дверь отворяется, и из дома выходит какой-то господин в цилиндре и дама, похожая на его жену. Они садятся в экипаж и едут в его сторону. Да, это его жена. Господин обнял ее за талию, низко склонился над ней, а она улыбается, что-то с жаром ему рассказывает... Вид у нее такой счастливый, радостный...

— Тася! — крикнул ей Карпов.

Они проехали как раз мимо, но она не заметила его.

«Что бы это значило?» — подумал Карпов и поспешил домой.

Его встретила теща, старушка с седыми волосами, румяными щеками и, кажется, подведенными бровями.

Она была затянута в корсет. Карпов всегда возмущался этим, но всякий раз ему отвечали, что женщина всегда должна ходить подтянутой.

— Где Тася? — спросил ее Карпов.

Теща сделала жалостное лицо и закатила глаза.

— Она расхворалась, бедное дитя,— отвечала она.— У нее ужасно болит голова, и она пошла к Наде попросить ее сделать массаж... Надя это так отлично умеет...

Ложь показалась Карпову подозрительной и возмутила его.

— Так вы говорите, что она ушла к Наде? — переспросил он.

— Да, mon cher, к Наде... Если бы она знала, что вы вернетесь, она не пошла бы.

— И одна?

— Sans doûte...

Теща надула губы и вышла. Раздалось топанье ногами, точно гнали лошадей, и в комнату вбежал худенький мальчик лет семи, в бархатном костюмчике и в сапогах. Увидав Карпова, он просиял и в первое время не мог от удивления выговорить ни слова.

— Папка! — воскликнул он.— Папка! Дурак ты этакий! Здравствуй!

— Здравствуй, Бобик...— мрачно ответил Карпов.

— Бабушка! Няня! — закричал Бобка.— Да вы посмотрите, кто приехал!

И он бросился отцу на шею.

— Ах, подожди, пожалуйста! — заворчал на него Карпов.— Не до тебя тут!

— Да что ты сердишься? — обиделся мальчик.— Я все время слушался и не баловался, а ты... Глупый!

Карпов вышел в прихожую и стал надевать пальто.

— Вы куда? — спросила его вошедшая теща.

— К Наде...— ответил он.

— А обедать?

— После...

Теща встревожилась. Как же так? Только сию минуту она распорядилась, чтобы накрывали на стол, и послала за ветчиной, а он уходит! Нет, он не должен ездить к Наде! Он должен остаться дома, отдохнуть, а Тася скоро приедет... Наконец, они могут разойтись по дороге!

Карпов надел перчатки, шляпу и вышел. Теща высунула голову на лестницу и закричала ему вслед:

— Матвей! Матвей Иваныч! Вернитесь! Да вернитесь же!.. Ах, господи, какой... Дело есть!

— Что такое? — остановился Карпов.

— Вот что... Ах, боже мой... Да вернитесь же!

— Анна Михайловна, мне некогда,— сказал он.— Прошу вас, говорите поскорее, что такое?

— У бедной Таси болит ужасно голова... Она долго искала фенацетин, но он... но я... я только что его нашла... Пожалуйста, свезите ей порошок... Я вам сейчас вынесу... Она так страдала, бедное дитя!..

Анна Михайловна минут с пять не выходила с фенацетином, так что Карпов стал даже терять терпение. Наконец она вышла, подала ему порошок. Карпов сунул его в карман и ушел.

Он вовсе не хотел шпионить за своей женой, так как вполне доверял ей, и если отправился теперь к ее сестре, Надежде Гавриловне, или, как попросту все ее называли, к Наде, так только для того, чтобы проверить тещу, которую он ненавидел за то, что она затягивалась в корсет, красила себе брови и часто лгала. И если на этот раз она действительно солгала, то он попросит ее оставить его дом и переселиться к Наде. Чем он виноват, что она толчется в его семье, вмешивается в воспитание его сына и ссорит его с женой? Если Тася уехала сейчас куда-нибудь к знакомым, откуда за ней, быть может, прислали этого господина в цилиндре, то зачем же теща врет, что у нее болит голова и что она отправилась к Наде попросить ее сделать массаж виска? Ведь эта ложь может заронить в душу мужа сомнение в безупречности жены, может посеять между мужем и женою вражду. И нужно быть такой испорченной женщиной, как Анна Михайловна, чтобы брать на себя смелость врать на такие щекотливые темы. Он выведет ее на чистую воду и попросит ее удалиться.

— Старая лгунья! — ворчал он дорогой.

Но вот и дом Нади. У крыльца стоит экипаж, кажется, тот самый, на котором ехала его жена с господином в цилиндре, а может быть, и не тот.

Матвей Иваныч позвонил. Пока ему отворяли, он повернулся к кучеру и спросил:

— Это чьи лошади?

— Господина Леонтьева,— отвечал кучер.
— Ты кого привез сейчас?
— Барыню Карпову.
— И часто ты возишь ее?
— Порядочно.
— И все с Леонтьевым?
— Так точно...
— Давно?
— Почитай с полгода.

У Карпова похолодело под сердцем и задрожали колени. В это время горничная отворила дверь и, увидав Карпова, смутилась, точно не решаясь, впускать его или не впускать. «Вот оно! — подумал Карпов.— Даже горничная знает!..»

— Татьяна Гавриловна у вас? — спросил он ее.
— У нас...
— А этот... Как его?.. Леонтьев тоже у вас?

Горничная опустила глаза и тихо отвечала:

— Тоже у нас...
— Ну кланяйтесь им и... поцелуйтесь с ними!

Карпов захлопнул перед нею дверь и зашагал по переулку.

Вот неожиданность-то! Как же теперь быть, что теперь делать? Неужели же это правда? Неужели она ему изменяет? И как это до сих пор он ничего не знал, не догадался об ее измене? Впрочем, мужья всегда последние узнают... Побежать теперь обратно, к Наде, ворваться в комнаты, накрыть их, сделать им сцену,— ах как это умно, как красиво! И если его предположения окажутся справедливы, то это будет только лишним поводом к тому, чтобы жена его действительно разлюбила. За подобные вещи нельзя не разлюбить... Поехать теперь домой, мирно заняться своим делом и не подать даже и виду о том, что ему кое-что известно,— удивительная доблесть! Его будут обманывать, за его спиной будут позорить его честное имя, а он будет только молчать и улыбаться? Нет, слуга покорный! Так что же делать? Ясно, что необходимо объясниться с женой с глазу на глаз, но разве она скажет ему всю правду? Кому не люба на плечах голова? Да и не такая женщина Тася. Скорее, она бросится к нему на шею, зажмет ему рот поцелуями, и после разговора с нею он останется еще в больших дураках, чем был. Нет, он

должен следить за нею, он должен принять свои меры, иначе его семейное счастье, его честь попадут на улицу и сделаются достоянием базара... А не будет ли это шпионством? Честно ли это?

И что-то комом подступило вдруг к его горлу, и ему захотелось кричать, драться, протестовать, громко стукнуть обо что-нибудь кулаком... Вот не ожидал-то он, что он так ревнив!

Спускался вечер. Домой возвращаться не хотелось, так как Карпов был уверен, что непременно сделает сцену теще или жене, если она уже дома, а это казалось ему унизительным. К тому же начиналась боль в левой стороне головы, а она доводила его иногда до такой степени нервного возбуждения, что ему хотелось буквально биться об стену или колоть голову чем-нибудь острым. И если бы он пошел сейчас к себе домой и при этом стала бы лгать ему еще и жена, то он, вероятно, не поручился бы за себя, и вышло бы черт знает что такое. Лучше уж он пойдет в гостиницу, займет там себе номер, уткнет голову между подушками и будет молча ожидать того времени, когда и на душе и в голове станет легче. Кстати, это и им, бабам, будет наукой. Они хватятся его, догадаются, в чем дело, и, быть может, в них пробудится совесть. Завтра утром, возвратясь домой, он не скажет им ни слова и посмотрит, как они с ним себя поведут.

Он взял номер, потребовал себе ветчины с горошком, но не мог ее есть, разделся и улегся в постель. Немного погодя он встал и обвязал себе голову носовым платком, а затем обвязал ее еще и полотенцем. Ах как мучительно болит голова! И если бы теперь кто-нибудь пришел к нему и сжал ее в тисках так сильно, чтобы заскрипел череп, то ему было бы гораздо легче... У его жены Таси тоже болит голова, но у нее это проходит как-то менее бурно, она выпьет фенацетину, и все... Не выпить ли фенацетину и ему? Кстати, тещин порошок в кармане.

Карпов развернул порошок и — обомлел. Теперь уж не оставалось больше никаких сомнений.

На обратной стороне порошка рукою тещи была написана записка следующего содержания:

«Тася. Муж твой неожиданно вернулся. Я сказала ему, что у тебя болит голова и что ты поехала к Наде

насчет массажа. Он не поверил. Притворись и не выдавай меня».

— Подлая баба! — воскликнул Матвей Иванович.— О тупоголовая, низшая раса! Раса, у которой хитрость заменяет ум, у которой честности нет ни на грош! Этот тонкий голос, узкие плечи, маленький рост, эта прославленная слабость бабьего отродья — о, как я их ненавижу, как мне противна эта воровская манера так относиться к правам мужа, к семейному очагу!..

Нет, теперь довольно! С этим документом в руках он пойдет сейчас же домой, перевернет его вверх дном, он выведет все на чистую воду, и если его жена права, если все это штуки его милой родственницы, с которой он никогда не имел ничего общего и которая вот уже столько лет тяготеет над ним, над его семьей, как раковая опухоль, как ненужный, смердящий и гноящийся нарост, то он ей покажет! Он выкинет ее из дому, как жалкую тварь, как шелудивую собаку, и не будет чувствовать ни малейшего упрека совести, ни малейшего сострадания!

Он оделся и поехал домой.

С невыносимой болью в левой стороне головы, задыхаясь от скорой ходьбы по лестнице и от гнева, он вошел к своей жене. Она сидела у письменного столика, рыжая, в красном бархатном капоте, обнажавшем ее шею и локти, и, склонившись у зеленого абажура, что-то писала.

Он подошел к ней и положил перед нею записку тещи.

— Что ты об этом скажешь? — спросил он ее и зашагал по ковру.

Тася повернула к нему голову и, не поднимаясь с места, молча и серьезно стала следить за ним глазами.

— Как тебе нравится эта записка? — вновь спросил он ее.

Тася не отвечала. Она взяла записку, скомкала ее, не читая, и бросила под стол.

— Вы сегодня унизились до шпионства...— сказала она наконец.— Как это красиво! Вы стали подглядывать за своей женой, стали осведомляться о ней и о вашем сопернике у чужой прислуги... Теперь вам остается только подкупить курьера и начать перехватывать письма жены... Что ж? Желаю вам успеха...

Кровь бросилась Карпову в лицо.

— Тася! — воскликнул он.— Я встретил тебя на улице с этим господином, и если бы твоя мать не стала лгать мне...

— Ах, довольно!..— сказала Тася.— Избавьте меня от мелодрамы...

Она встала, выпрямилась во весь рост, оперлась рукою о стол и продолжала:

— В сущности говоря, чего вы хотите от меня? Объяснений? Извольте... Я давно искала этого случая, так как скрываться от вас и воровать было тяжело и для меня самой. Вы желаете знать, люблю ли я вас? Нет, не люблю! Нисколько! Даже больше — я ненавижу вас... Впрочем, успокойтесь: я ненавижу не вас лично, а в вашем лице мне противна эта власть мужа, этот вечный страх перед вашим правом надо мной, этот кошмар в виде закона и общественного мнения, которые всегда останутся на вашей стороне. Что еще?

Карпову показалось, что под ним провалился пол.

— Значит... значит, ты любишь его? — задыхаясь, прошептал Карпов.

— Да, я люблю его...— спокойно отвечала она и опустила глаза.— Что дальше?

Все помутилось у него в глазах. Сердце его не забилось, а, наоборот, расширилось так, что, казалось, не могло уже помещаться в груди, в висках застучало, точно молотом кто-то стал бить по больной стороне головы.

— Так ты не любишь меня? — прошипел он и сделал несколько шагов вперед.— Так ты... ты любишь другого?

— Да, я люблю другого...— так же спокойно отвечала она.

Он близко подошел к ней, взял ее за плечи и, сжав губы и сверкая безумными глазами, говорил:

— Так ты любишь другого?.. Так ты любишь другого?..

В глазах у него замелькало, он больше уже ничего не понимал и чувствовал только, как его руки с ее плеч соскользнули ей прямо на горло. Уронив стул, они оба повалились на пол и стали барахтаться на ковре... Позабыв себя, он придавил ей коленом грудь и слышал ясно, как захрустели ее ребра...

И если бы в эту минуту не вбежал в комнату тот, кому меньше всего следовало бы видеть эту сцену, то дело окончилось бы, вероятно, гораздо безнадежнее, грубее...

— Мама! — взвизгнул Борис.— Мама! Мама!

— С мамой дурно! — закричал отец.— Принеси скорее воды!

Чувство порядочности заговорило вдруг в душе у Матвея Ивановича. Ему сделалось невыносимо стыдно и захотелось каяться, просить прощения... Он схватил жену за талию, трепал ее и со страхом повторял:

— Тася!.. Тася!.. Да очнись же!.. Боже мой, что я наделал!

Вбежала теща, прислуга... Засуетились, послали за доктором, забегали с водой и нашатырным спиртом, и когда Тася очнулась и пришла в себя и когда блуждающим взором она обвела вокруг и глаза ее остановились на муже, то и для тещи, и для самого Карпова стало ясно, что паутина их семейной жизни порвана навсегда и бесповоротно и что никакой уже мастер на свете ее не починит никогда.

С чувством невыразимого стыда Карпов вышел из комнаты, и это был его последний выход, как хозяина дома. С этого дня он поселился в гостинице, и с этого же дня его жена стала уже открыто принимать у себя Леонтьева.

Каждый день Карпов подолгу ходил взад и вперед около дома, стараясь увидеть своего сына, и как раньше его жена воровала у него свои свидания с Леонтьевым, так теперь он воровал у нее свидания с сыном. Положение становилось двусмысленным и подчас просто доводило его до отчаяния. Он отлично знал, что все права на его стороне и что стоит только ему пожелать — и его ребенок будет около него. Но боязнь разлучить ребенка с матерью, которую — он знал это — ребенок так же любит, как и его самого, а главное, сознание, что он на волос находился от преступления, окончательно лишили его энергии. И для того чтобы повидаться с сыном, он снисходил до унижения подкупать няньку, зная, что этим молчаливо признает за собою то, что именно он, отец, составляет причину раздельного жительства с женою. И если бы он с первого же раза без всякой жалости выгнал свою жену вон

вместе с ее матерью и оставил сына при себе, то это было бы гораздо законнее и, пожалуй, справедливее, чем то, что он заварил теперь своим молчаливым уходом из дому... Ах зачем, зачем он дал волю этой вспышке ревности, зачем не сдержал себя? И если бы его жена бросилась к нему с просьбами простить ее, он уверен, что все обошлось бы благополучно и не произошло бы того, что произошло. Но она гордо встретила его, и ее ответы показались ему настолько обидными и циничными, что все его существо запротестовало...

«Ну а если бы этого не случилось? — думал он.— Могли ли бы мы продолжать нашу совместную жизнь? Разумеется, нет! Жить вместе, есть за одним столом и каждую минуту, каждое мгновение сознавать, что тебя ненавидят и что ты составляешь собою помеху для чьего-то счастья... Как это ужасно!»

И если бы жена стала требовать от него развода, неужели бы он во имя одной только идеи ненарушимости брачного союза отказал бы ей в разводе? Конечно, нет... Ведь если бы полюбил он, а не она, то, вероятно, он считал бы себя правым и, наверное, теперь рассчитывал бы на ее согласие на развод.

Наступила весна, прилетели скворцы, и все потянулись на дачи. Татьяна Гавриловна с Леонтьевым тоже уезжали на дачу, куда-то далеко в Финляндию, и увозили с собою и Бориса. Накануне отъезда нянька тайком привела его к отцу прощаться.

— Папка, поедем с нами! — умолял его Борис.— Без тебя мне скучно... Я буду послушный, не буду баловаться... А если ты насчет Егора Александровича, то ты, папа, его не бойся! Поедем, папа!

— Нельзя, Борька...— отвечал отец.— Вырастешь — тогда поймешь... Ты вот лучше перекрести меня и... обними. Вот так!.. А теперь прощай!.. Мама ждет.

— Пойдем, папа! Я тебе покажу, каких мне солдатиков подарил Егор Александрович.

Они уехали, и Карпов остался один-одинешенек. Номерная жизнь, тоска по своему углу, по своему письменному столу, желание видеть около себя своего ребенка стали уже утомлять его, и ему захотелось переменить свою жизнь и начать жить по-старому. Не-

сколько раз он принимался за письмо к своей жене, прося ее войти с ним в переговоры, но всякий раз против этого восставало сознание им своей правоты, и дело откладывалось раз за разом.

Как-то в середине июня он ехал по делу в уездный город. Ехать пришлось на лошадях. Проезжали через какую-то деревню, где около покосившейся набок скворечни была счастливая суета. Вывелись молодые, запоздавшие скворцы и приучались летать. Заходило солнце. Старый скворец сидел на жердочке, распустив крылья и перебирая перья клювом, а молодежь по параболе перелетала со скворечни на дерево и с дерева на скворечню.

«Вот он сделал свое дело,— подумал Матвей Иванович про скворца.— Он произвел на свет и вырастил целую кучу себе подобных, и за их воспитанием некогда ему было и вздохнуть. И теперь все они улетят в теплые страны и, возвратившись, вновь займутся рождением себе подобных, их воспитанием, добыванием пищи. И вечно они заняты, вечно веселы, жизнерадостны, поют... А мы с Тасей родили одного только Бориса. Мы боимся теперь его потерять, боимся каждого его лишнего чиханья и не знаем, как его поделить. Вечно хнычем, вечно чего-то желаем и оттого, что имеем много свободного времени, портим жизнь и себе и другим. И если бы мы, как вот эти скворцы, осуществляли, не мудрствуя лукаво, естественный закон размножения, если бы мы рождали каждый год и если бы за воспитанием детей — массы детей — нам некогда было и дохнуть, то никакие Егоры Александровичи не полезли бы нам в голову и самая мысль о раздельном жительстве показалась бы нам смешною... Желая сберечь нашу молодость, мы остерегались иметь детей... Ах, какая это была ужасная, роковая, непоправимая ошибка!

Возвратясь домой, он застал у себя тещу, Анну Михайловну. Она дожидалась уже более часа и, увидя его, прослезилась. Она была одета во все черное, с черным крепом на шляпе. Увидев этот траур и то, что она плачет, Карпов испугался и спросил ее, не случилось ли чего-нибудь серьезного?

— Нет, Матиас,— отвечала теща.— Этот креп я ношу по поводу ваших отношений...

Ему стало противно, и, чтобы поскорее избавиться от нее, он спросил ее, что ей нужно?

— Дорогой мой,— сказала она и приложила платок к глазам.— Не скрою от вас, хотя и знаю, что для вас это будет тяжело выслушать... Но успокойтесь, призовите ваше мужество к себе на помощь.

— Да скорей! Не тяните, пожалуйста!

— Тася беременна... Она так любит своего Жоржа, бедное дитя! Она надеется на ваше великодушие и просит у вас развода... В противном случае... В противном случае...

Теща приняла платок от лица и закатила глаза.

— В противном случае,— продолжала она,— вам придется признать этого ребенка своим!

Он посмотрел на нее с омерзением. Ах, как вдруг ему захотелось подскочить к ней и дать ей под подбородок, чтобы щелкнули ее вставные зубы!

Но он сдержался и, помолчав немного, упавшим голосом сказал:

— Передайте ей, что я... согласен, но только под одним условием, чтобы Борька оставался при мне.

— Как вы великодушны! — воскликнула теща и протянула к нему руку.— Позвольте мне пожать вашу благородную руку.

Он со всего размаха ударил по ее руке и отошел к окну.

— Невежа! — услышал он за своею спиною.

И теща вышла.

Для него начались дни тяжелых испытаний. Его разводили с женой, он принимал вину на себя, и ему и другим порядочным людям пришлось столько солгать, столько раз спускаться до самой низменной грязи и взводить на себя и на других такие небылицы, что у него и у всех причастных к этому делу не раз возникало в душе глубокое убеждение, что бракоразводный процесс есть одно сплошное преступление. И те люди, которые самим законом были поставлены на страже нравственности, эти несчастные чиновники, они сами были убеждены, что вся формальная сторона этого дела фиктивна, но никто из них не возразил против лжи, а наоборот, эта ложь даже поощрялась.

Но вот он разведен. В его паспорте в рубрике «состоит ли в браке» слово «состоит» было заменено сло-

вом «разведен», и он навеки лишился права иметь семью, свой очаг, видеть копошащихся у своих ног детей, дурачиться с ними на ковре... И теперь, когда вопрос об его одиночестве выяснился перед ним во всех своих мелких подробностях, ему вдруг невыразимо захотелось иметь детей, да побольше, как у того скворца, чтобы изнемогать от усталости, воспитывая их, и чтобы в голову не приходили никакие мысли, кроме узкой, настоятельной заботы о куске насущного хлеба. Ему захотелось вдруг, чтобы его профессия заменилась для него каким-нибудь тяжким, невыносимым трудом, чтобы ему пилить, строгать, бить камни, но чтобы только забыться и убить свою плоть. Теперь он знает, как воспитывать своего Бориса! С каким рвением он примется за это воспитание, сколько времени он посвятит ему теперь! Он сделает из него честного работника, для которого физический труд будет составлять весь смысл жизни человека на земле и для которого слово «любовь» будет символом деторождения, семьи, осуществлением мирового закона произведения себе подобных, а не того нелепого, опасного отношения к жизни, которое дает возможность любовь отличать от увлечения и брак от семьи.

И он написал своей бывшей жене письмо, прося ее прислать к нему его сына с няней. Он и сам бы поехал за ними в их усадьбу, но знает, что теперь у них идут приготовления к свадьбе, и, с другой стороны, он уверен, что она поймет его и отнесется снисходительно к тому, что он не желает лично приехать за сыном. Довольно уж было унижений и без того; и теперь, когда надо как можно скорее позабыть обо всем, чтобы смело начать новую жизнь, он думает, что личное свидание совершенно излишне.

На это письмо он получил ответ, в котором Татьяна Гавриловна писала, что ей, как матери, чрезвычайно трудно расстаться с Борей, что она сама надеется дать ему надлежащее воспитание и что ребенку оставаться при ней тем необходимее, что Карпов никогда не должен забывать, что он разведенный муж, то есть сторона, признанная виновной. Она надеется, что он соберет все свои силы для того, чтобы перенести это несчастье, и что время поможет ему в этом. Во всяком случае, она благодарна ему за развод.

Письмо это вывалилось у него из рук, он почувствовал, как между ним и его сыном вырастает высокая каменная стена, которая безнадежно теперь отделяет его от сына и которую никакими средствами нельзя устранить. Нет, он разрушит эту стену, он докажет всему миру, что он не совершил ничего такого, за что мог бы лишиться прав на воспитание сына, и что если существует на свете правда, то все в один голос скажут, что оставаться Борьке у матери, в этой яме зловонного разврата, под влиянием преступной тещи, гораздо безнравственнее, чем у него, разведенного отца! Прочь эти хитросплетения юристов! Он покажет, что кроме правды формальной есть еще правда высшая, правда божья, перед которой должны побледнеть все писаные законы!

И он стал собираться в путь...

Вокзалы, пакгаузы, закоптелое депо, фабрики и заводы, затем чистое, широкое поле с кое-где видневшимися пахарями — все картины тяжкого физического труда промелькнули перед ним одна за другой. Вот и станция. Он берет ямщика и едет. У дороги баба пашет землю. У обеих, и у нее и у лошаденки, усталый, разморенный вид и тяжкая решимость продолжать дело до конца. Невдалеке люлька с младенцем. Баба остановилась, приложила ладонь к глазам и посмотрела на него так, точно желала убедиться, что это не сон, а действительно люди, которым не нужно сейчас ни пахать, ни сеять, ни убирать скотину...

Вот и усадьба. Перед домом сад, окруженный невысоким палисадником, сквозь который мелькает какая-то фигура. Это Борис. Сердце у Карпова забилось, он оставил лошадей, подошел к палисаднику и просунул между кустов голову.

— Борька! — окликнул он.

Борька поднял голову, увидел отца, и лицо его просияло.

— Папка! — воскликнул он.— Папка! Да откуда ты, дурак, приехал?

— Тссс!..— замахал ему Карпов.

Мальчик подбежал к палисаднику, отец перегнулся через него, поднял сына за плечи, крепко прижал его к себе и со всех ног пустился к экипажу.

— Пошел! — крикнул он ямщику.

И снова поля, леса, баба, на этот раз уже кормящая младенца, и лошадка, мирно щиплющая запыленную траву...

— А в понедельник мама женилась за Егора Александрыча и сказала, что у меня теперь другой папа...— рассказывал дорогой Борька.— Только тот папа не настоящий... А бабушка вчера горбатую горничную ударила по щеке и назвала верблюдом. У нее потекли слезы, а она, глупая, стала вытирать их грязными руками. Надо платком, а она руками...

Поздно вечером приехали в город. Всю дорогу мальчику было холодно и не во что было его одеть. А когда приехали в номер, оказалось, что нет ни белья, ни лишней подушки, ни одеяла... Через несколько дней мальчик затосковал, запросился домой, к маме, к своим игрушкам и к комнатам, по которым можно побегать...

Карпов смотрел на его грустные, задумчивые глаза и с каждым часом все более и более начинал понимать, что для ребенка необходимо еще то, чего не может ему дать ни один мужчина на свете. И какова бы ни была его мать, она физически была для него мать, и нарушать эту связь ребенка с нею было так же преступно, как и отнимать ребенка у отца.

Через месяц полицейский пристав отобрал от Карпова расписку о невыезде, а вскоре затем ему подан был запечатанный казенный пакет. Он распечатал, и руки его задрожали. Оказалось, что судебный следователь такого-то участка вызывал его в качестве обвиняемого по статье 1408 Уложения о наказаниях.

Он развернул это уложение, отыскал статью и понял все.

Против него было начато дело о похищении ребенка...

— Стена! Стена! — воскликнул он и в изнеможении повалился на кресло.

НЕПРИЯТНОСТЬ

И нужно же было случиться так, что в самый тот момент, когда у роженицы начались первые потуги, ее отец, Иван Маркович, пошел зачем-то в чулан и стал поднимать тяжелый ящик с книгами. Бледный как смерть, с искаженным ужасом лицом, он вбежал потом в кабинет зятя, писавшего в это время записку к акушерке, и закричал:

— Что я наделал! Что я наделал!

— Что случилось? — спросил встревоженный зять.

— К доктору!.. Боже мой!.. Боже мой!.. Александр Иваныч!.. Голубчик!..

И он повалился на диван.

Александр Иваныч подбежал к старику, желая ему помочь, но потом спохватился, что за стеною у него роженица и что дорога каждая минута, написал поскорее письмо еще и к земскому врачу и приказал Фролу скакать во весь дух. Он отлично понимал, что по такой грязи, да еще на лошади, измученной молотьбой и пахотой, далеко не уедешь, и это раздражало его. И когда в комнату вошел брат его жены, идиот Петруша, это бесполезное создание, бывшее всем в тягость и отличавшееся таким прекрасным аппетитом, Александру Иванычу захотелось вдруг его оборвать, наговорить ему грубостей. Он сдержался и сказал:

— Ты бы пошел в лес, Петруша!

— Гы-и! — ответил Петр и вышел.

Больному становилось все хуже, и роженица стала стонать громче. Через два часа приехала акушерка, а земский врач дал знать, что приедет после приема, если

достанет лошадей. Фрола тотчас же погнали на той же лошади в Залегощ в аптеку, а за врачом отправили повозку, которую наняли на деревне у мужика Зязина. Поехала кузнечиха Федосья. И как все оказалось неорганизованным! Этого дня дожидались целых девять месяцев, высчитывали его по пальцам, а между тем приходится теперь гонять и людей и лошадей из-за каких-то глупых гофманских капель и гигроскопической ваты!

Приехал доктор Кириллов, долгое время провозился с больным и под конец объявил, что положение серьезно и что немедленно старика надо везти в город, в больницу, где ему могут сделать операцию. Иначе смерть.

Но как и на чем отправить бедного Ивана Марковича в город? Четыре лошади пашут, две скородят, две еще вчера отправлены с зерном на мельницу и до сих пор не возвращались, очевидно, дожидаются очереди, а до станции тринадцать верст. Побежали в поле, взяли лошадь прямо из-под бороны, наскоро подкормили ее, запрягли в телегу и подвели к крыльцу. На боку у нее зияла рана, натертая за пахотьбу.

Акушерка вошла в кабинет и стала шушукаться с врачом. Он внимательно слушал ее и крутил двумя пальцами волосы на щеке.

— Так, так...— говорил он.— Это неприятно... А щипцов вы не захватили?

Доктор ушел к роженице. Ивану Марковичу все становилось хуже. Сначала он стонал, а теперь уже стал кричать. Еле живого, его вынесли из дому и положили вдоль телеги. Спускался вечер, и стал накрапывать дождь. Теперь вопрос: кому с ним ехать в город? Александр Иваныч хотел просить об этом доктора, но Кириллов взял его за пуговицу и сказал ему:

— Поезжайте, голубчик, вы... Я при роженице нужнее... Оно, конечно, врачу оказали бы предпочтение, но... я при роженице нужнее. Поезжайте!

— А как же жена-то? — спросил Александр Иваныч.

— Ничего, голубчик... Поезжайте! Даст бог, все обойдется по-хорошему... А ведь старичка бросать нельзя!

Александр Иваныч хотел было протестовать, но здравый смысл говорил ему, что иначе было поступить

нельзя и что это было единственным решением вопроса. Стало совсем темно, и дождь забарабанил по террасе. Александр Иваныч вошел к своей жене. При свете лампы она лежала с закрытыми глазами и, ухватившись обеими руками за железные прутья кровати над головой и крепко стиснув зубы, корчилась от боли. Топилась печь, и пахло карболкой. Акушерка сидела сбоку, по-видимому без всякого дела, а Кириллов ходил взад и вперед по диагонали комнаты и думал.

— Ой!.. Ой!..— стонала роженица.— Да что же это такое?.. Господи!.. Ой-ой-ой-ой!

— Доктор, помогите ей! — сказал Александр Иваныч.— Разве вы не видите?

— Так и надо, голубчик... Это естественно,— отвечал ему Кириллов.— А вы еще не уехали? Поезжайте поскорее, а то опоздаете на поезд... Жаль старичка... Я вполне вас понимаю, но... что же делать?

Александр Иваныч поцеловал жену в холодный лоб с таким чувством, точно навсегда прощался с ней, и, глотая слезы, вышел на двор и сел в телегу. Было темно, и дождь продолжал свою неумолимую работу. Мимо капусты, боясь, как бы не зацепиться за палисадник, двинулись в путь. Тринадцать верст по грязи, на полудохлой лошади, с умирающим человеком... Как это ужасно! Сколько времени будет потрачено зря, без малейшей пользы для больного! А тем временем болезнь уже сделает свое дело и здесь и, быть может, там, позади, где ему хотелось бы теперь быть самому, сидеть возле жены и каяться в своей вине...

— Гы-и! — раздалось вдруг сбоку. Кто-то заиграл на гармони.

Это Петруша возвращался из деревни.

На поезд, конечно, опоздали. Пришлось ожидать два часа, и когда приехали в город, то в клинику попали только к часу ночи. Подлая дорога в трясучей телеге, два часа на станции, где ожидавшие поезда мастеровые накурили и так наплевали, что негде было сесть, затем этот вагон с коротенькими скамейками, битком набитый пассажирами, и медленный, воловий ход поезда вконец доконали старика. Он уже не стонал и не охал, а только шевелил бледными губами и крестился.

Швейцар в больнице куда-то сбегал, затем вышел

молодой врач в белом халате, привезли тележку, положили на нее больного и увезли. Через несколько времени сиделка вынесла одежду Ивана Марковича, связала ее в узел и передала какому-то другому человеку. Затем вышел тот же врач и объявил Александру Иванычу, что дело дрянь и что необходимо немедленно же делать герниотомию.

— Хотя это и наша обязанность,— сказал врач,— но мы всегда спрашиваем согласия у родственников.

Александр Иванович согласился, врач ушел, и он остался один. Никто не пригласил его зайти к больному; мимо него шлепали туфлями сиделки, сновавшие взад и вперед, для всех он был здесь чужой. Раздались шаги, отворилась дверь одной палаты, и тихо, мирно, точно ничего и не случилось, служители вывезли из нее на тележке с резиновыми колесами мертвеца. Лицо его и туловище были закрыты простыней, из-под которой торчали, как палки, одни только голые ноги с корявыми большими ногтями и желтыми пятками. Александру Ивановичу стало вдруг жутко, и он вышел на улицу. Было темно, лил дождь как из ведра, и плакали фонари. В большом итальянском окне во втором этаже мелькали белые фигуры врачей в фартуках: очевидно, это была операционная. Теперь в ней на столе лежал его тесть Иван Маркович.

Александр Иваныч долго ходил взад и вперед по тротуару, долго смотрел на чей-то памятник, стоявший перед больницей, и наконец пошел отыскивать себе ночлег. Весь город уже спал, все гостиницы уже были заперты, и если бы он пожелал теперь достать себе номер, то пришлось бы звонить, разговаривать с сонным швейцаром, выбирать, торговаться... Потребовали бы с него паспорт, а он его с собой не захватил... Нет, уж лучше он проплутает по улицам до утра, забежит потом в больницу узнать о здоровье тестя и с первым же поездом уедет обратно в деревню! Никогда еще в жизни ему не хотелось так страстно поскорее вернуться домой, как сейчас. Дождь полил еще сильнее, и стали промокать сапоги. Слышно было, как в них хлюпала вода. Александр Иваныч поднял голову и увидел себя у вокзала — не того, с которого он приехал сюда, а другого. Он вошел в него. В передней на лавке храпел кондуктор, и возле, обращенный красным стеклом к

стене, горел фонарь и чадил. Александр Иваныч лег на скамью рядом с кондуктором и заснул.

Когда он проснулся, было уже утро. Все тело у него болело от неудобного спанья, и хотелось пить. Он вспомнил про тестя, про свою жену и заспешил. Теперь только узнать насчет Ивана Марковича — и скорее домой, домой! Было еще рано, но уже выезжали конки и гимназисты шли учиться. Сапоги ссохлись у него на ногах и жали пальцы. Он сел на извозчика и поехал в больницу.

— Вам кого? — спросил его швейцар.

— Как мне пройти к Ивану Марковичу Соловьеву?

— Он уже умер...

В это время по лестнице раздалось шлепанье туфель, и сбежала сиделка.

— Вы насчет Соловьева? — спросила она.— Не желаете ли, я дам вам капель? Вы, пожалуйста, не волнуйтесь— он сегодня ночью скончался. Могу я вам передать его обручальное кольцо?

Александр Иваныч взял от нее кольцо и с благоговением его поцеловал. У него зацарапало в горле, и на глаза стали навертываться слезы.

— Проведите меня к нему,— сказал он.— Где я могу его видеть?

— Он сейчас в мертвецкой... Потрудитесь обратиться в контору.

— А где контора?

— Как выйдете из крыльца, то через дорогу направо. Там вам дадут пропуск.

Он собрался уже уходить, но в это время к нему подошла какая-то женщина в белом крахмальном чепце и спросила его:

— Вы привезли Соловьева? С вас следует получить шесть рублей двадцать пять копеек за операцию и содержание. Если вы не можете заплатить этих денег, то представьте удостоверение от полиции, и они будут приняты за счет казны.

Александр Иваныч достал кошелек, расплатился, сунул квитанцию в карман и пошел в контору.

— Вам гробик, барин? — спросил его вдруг кто-то за спиной.

Он обернулся и увидел почтенного человека, протягивавшего к нему карточку от магазина.

— Самый лучший-с... Белый, кашемировый, с приборами, от шестнадцати рублей-с...

— Убирайтесь прочь! — крикнул на него Александр Иваныч.

— Хи-хи-с!.. Наша лавка как раз напротив-с... Вот она-с!..

Всю дорогу до конторы этот человек шел за Александром Иванычем и, несмотря на его отмалчивание, предлагал ему гробы разных сортов.

— Послушайте,— обратился к нему Александр Иваныч,— ведь это не великодушно. Не успел человек умереть, как вы уже так нагло пристаете с вашами гробами! Жаждете покойника, как ворон крови, и подстерегаете его близких у крыльца... Это не великодушно!

— Помилуйте-с! Ведь мы не плохие гробы предлагаем, а которые получше-с! Это вот у Печепина — ну, там, действительно, работа посерее...

Александр Иваныч пошел в контору. Здесь были наставлены столы, покрытые зеленым сукном, стояли шкафы и полки с конторскими книгами. Несмотря на сравнительно ранний час, чиновники уже занимались. У одного стола толпилось несколько городовых с книжками, ожидавших, по-видимому, какой-то отметки.

— Позвольте спросить, где я могу узнать насчет Соловьева? — спросил Александр Иваныч у одного из чиновников.

— Вам пропуск? Пожалуйте его паспорт.

— Виноват... Болезнь случилась так внезапно, что второпях не догадались его захватить... Да, признаться, я и не знаю, есть ли еще у него паспорт...

— В таком случае я ничего не могу для вас сделать... Вам что угодно? — обратился чиновник к вошедшему вместе с Александром Иванычем в контору гробовщиком.

— Да вот гробик пришел их милости предложить.

— Но позвольте! — воскликнул Александр Иваныч.— Какое значение может иметь тут паспорт? Человек умер, его надо хоронить, а вы требуете его паспорт!

— Мы должны на паспорте сделать пометку, что господин Соловьев умер, иначе по его паспорту может жить кто-нибудь другой... Да и вообще возможны злоупотребления. К тому же я должен вас предупредить,

что без паспорта мы пропуск не выдадим, а без нашего пропуска ни один священник не станет его отпевать.

— Какая чепуха! А если я паспорта не доставлю вовсе?

— Тогда мы сдадим Соловьева в анатомический театр, как труп бесхозяйный, и дадим знать полиции.

— Как это ужасно!

Александр Иваныч вышел на улицу и стал соображать. Если ему послать телеграмму домой, чтобы порылись в комнате у Ивана Марковича и поискали там его паспорт, то когда-то еще придет телеграмма в их уездный город да когда-то доставят ее с нарочным в его усадьбу! Ну, положим, телеграмма придет через пять-шесть часов. Кому рыться в бумагах тестя? Жене? Акушерке? Мог бы порыться Петруша, но Александру Иванычу так и представились его глупая рожа и его идиотский смех. А потом этот несчастный паспорт нужно везти опять на станцию, потом девяносто верст по железной дороге... Нет, лучше уж ехать за паспортом самому. Кстати, он посмотрит и на то, что делается дома...

Он поехал домой. Всю дорогу настроение было отвратительное. Шел по-прежнему дождь, в вагоне для некурящих курили, было душно и дымно, и от того, что целые сутки он не снимал сапог и промочил к тому же ноги, мучительно болела мозоль. При этом угнетало сознание, что во всем доме, кроме этих несчастных семидесяти пяти рублей, приготовленных на родины, не было ни копейки, а предстояли еще большие расходы на похороны и на посев. Найдет ли он на станции ямщика? Теперь рабочая пора, все заняты на поле, да и кому охота трепаться в такую ужасную грязь?

Но вот и станция. Как он и ожидал, ямщиков около нее не оказалось, и на всей платформе только и стоял один мужичонка Ананий. Этот Ананий занимался извозом и часто возил Александра Иваныча в усадьбу, когда за ним не высылали лошадей. Какое счастье! Теперь, значит, он заплатит ему обычные два рубля и поедет.

— Ну, Ананий, едем! — сказал он.

— Пожалуйста, Ликсандра Иваныч... Шесть рубликов.

— Да ты с ума сошел! Всегда за два рубля, а теперь вдруг шесть целковых!

— Теперь время тесное, Ликсандра Иваныч... Нельзя... Ежели теперь не взять, так когда же и взять... Так и быть, уж пять рубликов... А меньше, накажи меня бог, не поеду!

Александр Иваныч махнул рукой и поехал. Черт с ним! Разве можно разговаривать с человеком, у которого на труд и капитал свои особые воззрения!

Приехали. Во всем доме было тихо, очевидно, прислуга ушла в поле или по грибы. С замиранием сердца Александр Иваныч вошел в комнату жены. Пахло иодоформом, и на столе стояли пивные бутылки с водой, заткнутой ваткой. На кровати лежала его жена, бледная как смерть, с впалыми щеками и с заострившимся носом. Она спала. Тут же сбоку, прикурнув на сундуке, спала и акушерка. Возле матери, в бельевой корзине, лежал маленький ребенок, красный, как индеец, и тоже спал. Александр Иваныч нагнулся, перекрестил его, поцеловал жену в лоб и вышел в комнату тестя. В ней все как было, так и осталось. Много икон, по стенам булавками приколоты разные счета и записочки, над кроватью портрет какого-то Миши. Гиря в часах вытянула уже всю цепь до самого колечка, и часы стояли. В комнате слышен был запах от погасшей лампадки. Иван Маркович любил порядок, и все у него было сложено и лежало на месте.

Александр Иваныч стал рыться в его бумагах. Вот начатое письмо: «Любезнейший братец Федор Маркович. Ваше письмо растрогало нас до слез...» Вот дневник Ивана Марковича, над которым все так смеялись: «2 июня. Настасья Карповна приехала»; «3 июня. Настасья Карповна уехала»; «4 июня. Пиона расцвелась»; «5 июня. Сколь тягостен труд земледельца» и т. д. А вот наконец и паспорт. Александр Иваныч развернул его и стал читать: «Нос, рот и подбородок умеренные... Лицо чистое, особых примет не имеется».

«Какая чепуха! — подумал он.— И из-за этой, ничего не выражающей бумаги меня заставили потерять целый день, трепаться сюда и обратно по возмутительной дороге и грозятся еще передать труп в анатомический театр! Как это мелко, ничтожно, какой нелепый, возмутительный формализм!»

Он положил паспорт в карман и вышел в поле. Было

грязно, но пахали, и молодые грачи степенно расхаживали по свежим бороздам. У одной лошади, со стороны кнута, был привязан около глаза пучок соломы, чтобы она не видала заранее, как ее будут бить; у другой веревочная постромка от бороны до крови растерла бок и шаркала прямо по язве. Лошади еле ходили, и если судить об их участи по тем понуканиям, которые раздавались ежеминутно, и по тем дерганьям вожжами, которые разрывали им углы губ до крови, то человечнее было бы их просто пристрелить.

Приказав Фролу запрягать, чтобы ехать на станцию, Александр Иваныч отправился на деревню в трактир к Макину. Он застал Макина за прилавком, а у столика сидел Ананий и пил пиво. При входе Александра Иваныча Ананий, пошатываясь, подошел к нему и протянул руку.

— Барину почтение...— залепетал он.— Хороший барин... Благородный человек!..

Макин пригрозил ему, строго посмотрел на него и потом моментально осклабил свое лицо в улыбке и повернулся к Александру Иванычу.

— Я к вас с просьбой, Егор Степаныч,— обратился к нему Александр Иваныч.— У меня сегодня родила жена и в городе скончался тесть. Дайте мне триста рублей взаймы!

Егор Степаныч, подняв глаза к потолку, долго соображал что-то и сказал:

— Хорошо-с...

Потом порылся, достал вексельную бумагу и протянул ее к Александру Иванычу:

— Потрудитесь написать-с...— сказал он.— Вексель на триста тридцать рублей от сего числа впредь на один месяц...

— Да зачем же вексель, Егор Степаныч? — возмутился Александр Иваныч.— Зачем эта приписка лишних тридцати рублей! Ведь мы с вами соседи!

— Как угодно-с!

И Егор Степаныч положил вексельную бумагу обратно.

Александр Иваныч вышел из трактира, направился к богатому мужику Воронцову, дочери которого у него возили навоз, но с полдороги вернулся назад и, решившись, подписал вексель.

— С новорожденным вас имею честь поздравить...— сказал ему Егор Степаныч, подавая деньги.

Александр Иваныч ничего не ответил и вышел.

Жена, акушерка и ребенок все еще спали. Александру Иванычу жаль было их будить, он достал бутылку пива и кусок белого хлеба, съел его с пивом и поехал на станцию.

«Прощайте ласковые взоры...» — донеслось до него из трактира.

Это пел пьяный Ананий.

В больницу Александр Иваныч приехал вечером, получил пропуск и с этим пропуском отправился отыскивать покойника. Оказалось, что он в подвале.

— Пожалуйте за мной! — сказал сторож.

С фонарем в руках он повел Александра Иваныча в подвал. Они прошли несколько ступенек, сторож отворил дверь — и смрадом пахнуло Александру Иванычу в лицо из темных челюстей подвала. Ежась от непривычного чувства, он пошел вслед за сторожем. На длинных столах рядком лежало несколько десятков покойников со втянутыми внутрь животами, руки по швам. Некоторые из них были с открытыми ртами и смотрели оловянными глазами в потолок. Александру Иванычу сделалось страшно и захотелось на воздух.

— Вот он ваш! — сказал сторож и поднес фонарь к лицу Ивана Марковича.

— Бедный старик! — прошептал Александр Иваныч и перекрестился.

Иван Маркович лежал голый, с раной в нижней части живота.

— Кто же у вас будет его обряжать? — спросил вдруг сторож.

Александр Иваныч спохватился.

— Я, право, не знаю...— отвечал он.— Я здесь приезжий...

— А где будете хоронить-то?

— И это пока не знаю...

— Вот что, барин: бегите скорее на кладбище, а то вот лучше в монастырь, он здесь под боком. Торгуйте могилу. Я вашего покойника обряжу и вынесу в часовню. А вы мне после дадите на чаек... А то дальше завтрашнего дня держать не будем. В киятр отнесем.

Александр Иваныч пошел в монастырь. Шла все-

нощная, и доносилось пение монахинь. У ворот ему сказали, что надо обратиться к матери-казначее. У казначеи его встретила служка, которая сообщила ему, что за место под могилы берут по сто пятьдесят рублей да за рытье по три с полтиной.

— А вы, батюшка, поторгуйтесь...— сказала она.— Мать-казначея уступит.

Вскоре вошла и казначея.

— Документы в порядке? — спросила она Александра Иваныча с первого же слова.

— Пропуск от больницы есть...— ответил он.

— Этого довольно...— заспешила казначея.— Умер в больнице? Зарезали! Вот наши условия: за могилу — сто пятьдесят рублей, клиросным — пять рублей, священнику за встречу — пять рублей, за рытье могилы — семь с полтиной.

— Три с полтиной, матушка...— с низким поклоном прервала ее служка.— Со всех берем по три с полтиной...

— Семь с полтиной! — оборвала ее казначея и впилась в нее глазами.

Служка молча поклонилась и отошла.

— За кресть два рубля,— продолжала казначея,— за надпись пятьдесят копеек.

Александр Иваныч вытащил деньги, уплатил, получил от казначеи оплаченный счет без марки и пошел обратно.

Часовня оказалась в другом квартале. Около нее стояли два катафалка: один белый, другой черный, и толпилось много народу со свечами в руках. Доносилось панихидное пение. Александр Иваныч протискался к часовне и на цыпочках заглянул в окно. В часовне стояло несколько гробов, и Иван Маркович лежал уже обряженный, тоже в гробу. Выждав, когда вынесли двух покойников и поставили их на катафалки, Александр Иваныч вошел в часовню и, не зная, как поступить, перекрестился и положил перед Иваном Марковичем земной поклон.

— Это ваш покойничек? — спросил его священник.— Так, так... Прикажите отслужить панихидку? Так, так...

И панихида началась. Александру Иванычу было горько, хотелось плакать, но, чтобы развлечь себя, он

начал бухать поклоны, стараясь не замечать того, что вокруг него происходило. Он чувствовал, что нервная система уже начинает ему изменять и что его может хватить еще ненадолго. Но вот панихида окончилась.

— Должен предупредить вас,— обратился к нему батюшка, заворачивая евангелие в епитрахиль,— что в больничной церкви мы отпевания обыкновенно не производим. Тогда бы от желающих не было отбою. Для этого установлена начальством такса: двадцать пять рублей за одно только отпирание церкви. Если эта сумма вас не стесняет, то прикажите, и мы отпоем вашего тестя и в больничной церкви.

— Батюшка! — воскликнул какой-то человек, стоявший рядом, очевидно служащий при часовне.— Да отец Петр от Симеона Солпника отпоет! Он и всех наших отпевает! Мальчишка проводит!

— Ну вот и отлично! — ответил батюшка.— Так отправляйтеся поскорее к отцу Петру!

Александр Иваныч застегнулся и вышел из часовни.

— Позвольте за гробик семнадцать рублей получить-с...—услышал он вдруг сбоку.

Он обернулся и увидел того самого гробовщика, который утром навязывал ему свои услуги. Тогда Александр Иваныч обругал его, а теперь с благодарностью за то, что тот избавил его от излишних хлопот по покупке гроба, вытащил из кармана деньги и уплатил ему. Гробовщик протянул уже заранее подписанный счет.

— Господин!.. Господин!..— позвал его кто-то другой.— Подождите-с!

— Что такое? — спросил его Александр Иваныч.

— За певчих прикажете сейчас получить, или же вы у нас изволите и все похороны заказать?

— А вы кто такой?

— Мы от бюро похоронных процессий.

Ах да! Ведь еще похороны, носильщики, факельщики, певчие...

— А у вас почем самые дешевые похороны? — спросил он.

— Да что зря-то язык часать?..— отвечал приказчик.— Положьте уж с певчими тридцать два рубля!

Александр Иваныч отвернулся и пошел далее, не

потому, что эта сумма показалась ему большою, а просто, чтобы не опоздать к отцу Петру.

— Давайте тридцать! — услышал он позади себя голос приказчика из бюро. — Двадцать семь! Ну, хотите двадцать пять!.. Ну, воля ваша...

Александр Иваныч остановился и сказал, что согласен. Приказчик вытащил два серебряных рубля и сунул ему в руку.

— Это вам задаток... — сказал он. — Вы же, барин, не обманите... А то обидно будет...

Поздно вечером Александр Иваныч пришел в какую-то серенькую гостиницу, где-то вблизи от больницы, и занял номер. Всю ночь он не мог заснуть. Душный, кислый воздух, мучительная боль в виске и воспоминание о подвале с мертвецами не давали ему спать. В его ушах отдавалось пение панихиды, и едва он закрывал глаза, как перед ним проносилась то грязная, вся изрытая дорога от усадьбы до станции, то пьяный Ананий и трактир Макина, то окно в операционную и мелькавшие в нем белые тени врачей. И он ворочался с боку на бок и никак не мог дать себе отчета в том, что вокруг него происходило. Ну, хорошо. Ничего нет странного в том, что человек умирает, что его хоронят, но почему это все словно сговорились и стараются на чужом несчастье так грубо, так топорно построить свое благополучие? Говорят, что в пути во время перелета, когда вдруг заболевает птица, то другие ее убивают. Но ведь там, у птиц, это имеет смысл, так как больной товарищ служит помехою, задерживает караван в пути. А здесь? Кому служил помехою Иван Маркович? Значит, служил. Значит, в борьбе за существование, в этом пути следования людского каравана, он кому-то мешал, заедал чье-то счастье, занимал чье-то место, кому-то не давал жить. И вот теперь после него делят ризы и об одежде его метают жребий. Если у него ничего нет, то найдется у его близких. Не все ли равно? Ведь нашлись же сейчас деньги у Александра Иваныча, и если он платил за своего тестя, значит, считает себя обязанным платить.

Ах, как невыносимо больно, как тяжело, какая мучительная тоска!

Александр Иваныч лежал на кровати, смотрел на потолок и чувствовал свое горячее дыхание. Ему хоте-

лось пить, и болело все его тело. Неужели же он захворал?

Свечка догорела, голубой рассвет запросился в окна, и на улице начиналось движение. Где-то зазвонили, должно быть, в монастыре. Александр Иваныч встал, оделся и, чтобы не давать себе поблажки, вышел на воздух.

«Вот стоят дома...— думал он.— Их строили одни, а живут в них другие. И никому не известно, да и дела нет до того, что сталось со строившими их мастерами. Мастера пришли, воспроизвели своими мышцами известную ценность и ушли, тоже нисколько не думая о тех, кто пользуется теперь их трудом. Одних заменяют другие, других третьи. После них остаются дома, дневники, вроде оставшегося после Ивана Марковича, или просто одни только тела, которые перегнивают в земле и создают собою, быть может, новые организмы. Умер Иван Маркович, вместо него появился другой человек — сын или дочь, Александр Иваныч еще не знает,— его заменит внук или внучка, и так все во всемирном обороте. Но для чего существует смерть? Что в ней разумного, справедливого? Жил-жил человек, а потом вдруг взял да и помер. И помер нелепо, глупо, в самый тот момент, когда именно больше-то всего и хочется жить. И если бы в смерти было что-нибудь разумное, то неужели бы мы ее так боялись, так избегали? Неужели бы мы так заботились о медицине, о лекарствах, такое почетное место отводили бы микроскопии и гигиене! И если мы верим в медицину, в лекарства, то, значит, придет же когда-нибудь такое время, когда мы будем жить дольше, чем теперь, и, быть может, сделаемся даже бессмертны, как боги. Ах, зачем, зачем существует смерть? Зачем умирают люди?»

Церковь, отпевание, разговоры со старостой о свечах и надгробное слово отца Петра — все это пронеслось перед ним как в тумане. Вот он идет за гробом. Моросит дождь. К нему подходит регент и говорит, что если Александр Иваныч не даст в его личную пользу сейчас же десяти рублей, то он уйдет с певчими с полдороги, так как певчие не от него, а от бюро.

Александр Иваныч лезет в карман, но вместо десяти рублей ему попадается трехрублевка.

— Возьмите три рубля...— умоляюще говорит он, чтобы только не лезть во второй раз в карман.

Регент хватает трехрублевку, точно крадет ее, и отходит.

— Покорнейше благодарю,— говорит он.— Дай бог царствие небесное...

Поздно вечером, усталый, весь в грязи и мокрый от дождя, Александр Иваныч вернулся пешком в усадьбу. Он вошел в столовую и, как был, опустился на стул. Собаки от радости завыли, засуетились, и по поднятому ими шуму акушерка догадалась, что Александр Иваныч возвратился, и протянула к нему ребенка.

— Вот,— сказала она, входя.— Здравствуйте, Александр Иваныч!

Александр Иваныч поглядел на ребенка, посмотрел для чего-то на часы и задумчиво спросил ее:

— Антонина Федоровна, зачем это люди умирают?

Акушерка улыбнулась.

— Нет, отец мой,— ответила она,— скажите-ка лучше, зачем они родятся? У иного, глядишь, восемь человек детей, грязь, беднота, детей проклинают, есть нечего, а они все родятся! Я, батюшка, двенадцать лет, слава тебе господи, таскаю за головы да за ноги, а все никак не могу понять: зачем это они родятся?

Александр Иваныч потрепал ребенка пальцем по щеке и пошел к себе в кабинет.

«Какая досада,— подумал он, снимая сапоги,— забыл спросить ее: мальчик или девочка?.. Подумает еще, что я не рад... Да и рад ли я?.. На самом деле, зачем они родятся?»

Роженица уже спала, и беспокоить ее акушерка не велела. Александр Иваныч, как и вчера, поцеловал ее в лоб и, возвратясь к себе в кабинет, сел за письменный стол и опустил голову на локти.

Послышалось робкое покашливание в кулак. Александр Иваныч поднял голову и увидел Фрола.

— Что, Фрол? — спросил он его.

— Насчет посева, Александр Иваныч,— ответил он.— Будем завтра сеять али нет?

— Да чем сеять-то, голубчик?.. Семян ведь нет, да и денег у меня... нет тоже. Оставим до ярового. Почему непременно рожь?

— Что вы, что вы, барин!.. Нас куры засмеют! Нешто

это можно? Давайте посеем ту, что мужики за долг отдали.

— Да ведь ей, кажется, лет пять или шесть... Взойдет ли?

— Взойдет! Чего ей зря-то лежать? Посеем!

Фрол повернулся по-солдатски и ушел. Александр Иваныч прошелся по кабинету.

«Вот оно, решение вопроса,— подумал он.— Целые годы лежала рожь в закроме неподвижно, и вот по капризу какого-то Фрола она будет призвана к жизни, будет расти, куститься, ее будут хлестать дожди, пригибать к земле ветры, плевелы будут мешать ей свободно развиваться, но что бы ни случилось, какая бы судьба ее ни ожидала, а она все-таки будет упорно спешить воспроизвести себе подобных. И когда произведет, то придет коса и тоже по чьему-то капризу безнадежно ее подкосит...»

В полуотворенную дверь просунулась голова Петруши. Он улыбнулся и радостно воскликнул:

— А у нас ребенок есть! Гы-и!

ОСЕНЬ

Марья Петровна возвратилась с телеграфа и, усталая, села за ужин. На дворе шел дождь, было холодно и неуютно, и осень уже так надоела, что казалось ей не будет и конца. В эти дни Петербург представлялся ей унылым, построенным на безнадежном месте, она чувствовала себя в нем одинокой и затерянной и сильно скучала по провинции, где так много деревьев, столько простора, такой белый снег зимою... Когда она поднималась к себе, лестница была освещена и слышны были звуки рояля и танцев. Это у ее хозяев, у которых она снимала комнату, был журфикс. Марья Петровна любила эти журфиксы, потому что чувствовала себя в такие ночи не совсем одинокой, и ей было приятно, что не все еще в доме спали. Проходя через переднюю, сплошь увешанную пальто, она услышала, как кто-то в зале воскликнул:

— Господа, давайте играть в фанты!

Танцы тотчас же прекратились, задвигали стульями, и слышно было потом, как то и дело, вероятно после каждого вынутого фанта, раздавался всеобщий громкий смех. Вошла горничная принять посуду и приготовить постель: за гостями не успела раньше.

— Что, Настя, весело? — спросила ее Марья Петровна, кивнув головою в сторону доносившегося смеха.

— И-и, барышня,— отвечала Настя.— Куда уж нам веселиться! Наше с вами дело осеннее!

Настя тоже была девицей лет под сорок, тоже, повидимому одинокой. Марье Петровне хотелось побол-

тать, не быть одной, и ей стало жаль, что горничная собиралась уже уходить.

— Настя, отчего вы не вышли замуж? — спросила она ее.

Настя посмотрела на нее и просто отвечала:

— Никто не взял, барышня, оттого и не вышла.

— Неужели у вас не было женихов?

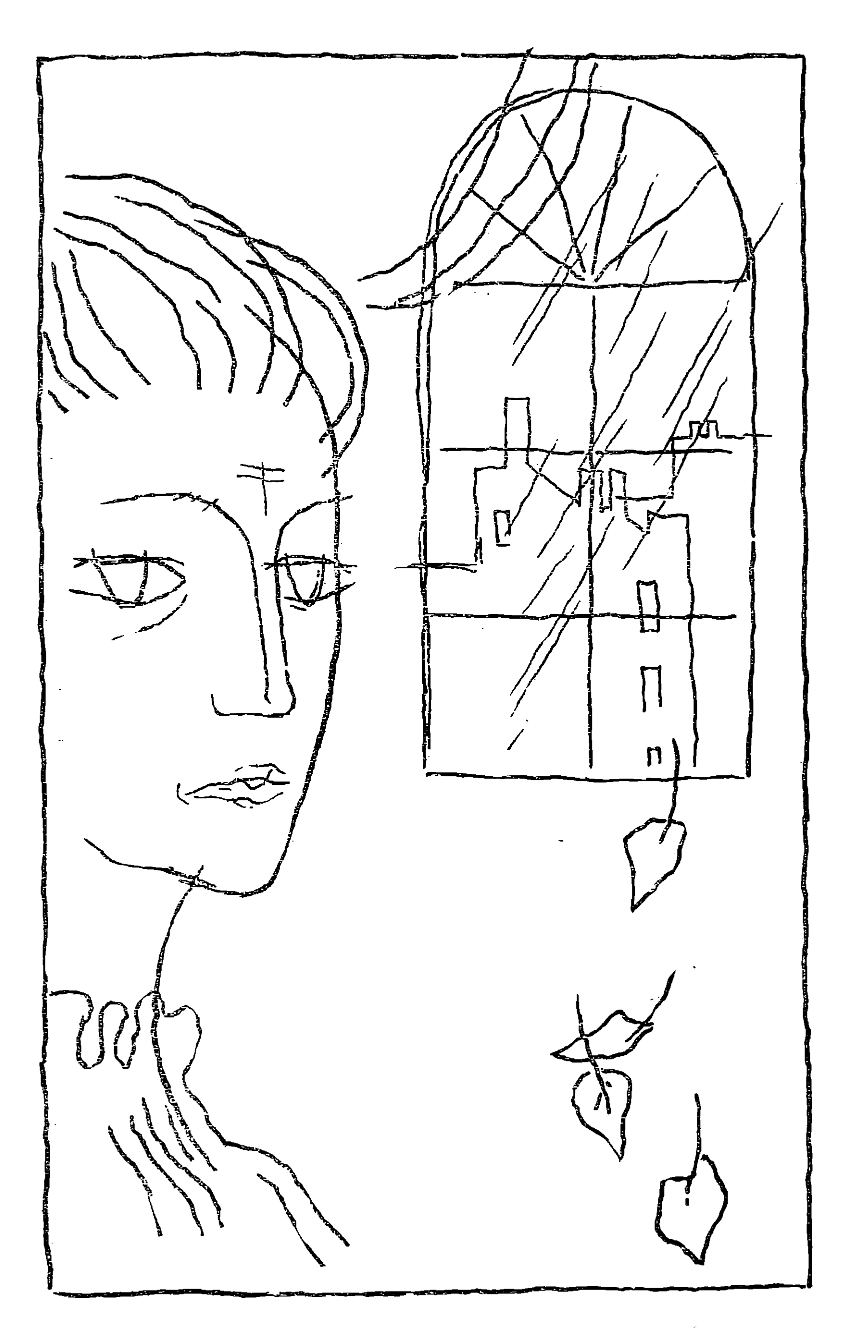
— Мало ли женихов, да никто без приданого не брал! Кабы приданое было, то разве бы я так по чужим людям трепалась? За первого бы пошла!

— А любовь?

— Да что любовь! — усмехнулась Настя.— Это только в вашем сословии все про любовь да про любовь. А в нашем хороший человек, да не пьяница, да добрый — вот тебе и любовь! А я на вас все не надивлюсь, барышня, отчего это вы-то засиделись в девках?

За стеной снова заиграла музыка и снова затанцевали, и эта близость чужого счастья располагала к мечтам и к воспоминаниям о прошлом. Марье Петровне было весело с Настей и хотелось поговорить хоть с ней, отвести душу, чтобы потом, быть может, долго краснеть за свою откровенность. Она прошлась по комнате и, чувствуя, как почему-то запылали ее щеки, стала гладить по ним руками.

— Отчего я не вышла замуж? — отвечала она.— Не пришлось, Настя! Были и женихи, а не пришлось. Сватался один офицер, но тогда я была еще молода и отказала ему. А потом умерла моя мать, и отец увез меня жить в деревню. Ах, Настя, какая это была грустная, тяжелая жизнь! Хозяйство, вечные страхи за урожай, копеечные дрязги и запись мелких, ничтожных расходов! Иногда стояли чудные вечера, пели соловьи, но так, бывало, умотаешься по хозяйству за день, что и не знаешь, как доберешься до постели. Отец мой был больной, и у нас никто не бывал, кроме учителя да попа. Так моя молодость и проходила даром. И бывало, когда доносились к нам в усадьбу пение, игра на гармонике и веселый смех деревенской молодежи,— ах, милая, как мне хотелось тогда сбросить с себя всю эту обузу дела, позабыть, что я барышня, пойти на деревню и тоже стать в хоровод — и жить, жить хоть этой мужицкой, но человеческой жизнью! А когда я вырвалась из усадьбы, мне уже было немало лет...



— Chaine des dames! — раздалась за стеною команда дирижера, и слышно было, как позвякивали офицерские шпоры.— Arrêtez!

— Вместе с отцом мы переехали на юг,— продолжала Марья Петровна,— к морю. Его плеврит перешел в чахотку. Я ухаживала за ним, как сиделка, и целые дни проводила около него. Усадьбу продали, сверх банковского долга выручили только самые пустяки, и те годы моей молодости, Настя, которые я прожила в усадьбе, так и остались не нужные никому. Мы наняли жалкую меблированную комнату, воздух у нас был пропитан запахом лекарств... Но и здесь, голубушка, сквозь эту хмурую обстановку больничной жизни к нам проник луч радостного света. С дальнего севера приехал один господин и... сделал мне предложение.

— Ну и что же? — спросила ее Настя с интересом.

— Разве я могла бросить больного отца? — отвечала Марья Петровна. — Мы должны были жить на юге, а ему надо было уезжать на север.

Настя сделала большие глаза, хотела было что-то ответить, но в это время из прихожей ее позвали:

— Настя, иди же накрывать на стол!

Горничная спохватилась, выбежала из комнаты, и Марья Петровна осталась одна. Она села за стол, подперла руками виски и стала вспоминать.

Бурное, серое море, тяжелые облака нависли над горами, и на вершинах лежит снег. Марья Петровна стоит на балконе и старается разглядеть в бинокль, когда будет отчаливать от пристани пароход. Он долго борется с волнами и, наконец победив их и выпустив массу черного дыма, выходит в открытое море. На нем — ее последняя надежда... Она провожает его до тех пор, пока он не скрывается за лиловым мысом, и ей делается так грустно-грустно... Теперь ей уже никто больше не сделает предложения!

Но вот и весна. На кладбищенской церкви, на горке, звонит колокол. Поют певчие. Ее отца выносят вперед ногами и под кипарисами закапывают в могилу. Она одна-одинешенька на свете!

Она идет по набережной и вдруг неожиданно встречает свою гимназическую подругу. Боже мой, как они обе переменились! Около подруги — две девочки, ее дочери. Когда Марья Петровна знакомится с ними, они де-

лают реверанс. Если бы она вышла тогда замуж за того офицера, то, быть может, и у нее были бы теперь такие же славные дети и она не была бы так одинока, как сейчас.

И ей страстно захотелось вдруг стать матерью, иметь семью, много детей, хлопотать для них, обшивать, учить с ними уроки...

Она обнимает девочек, жадно их целует, прижимает их к сердцу, а они смотрят на нее большими глазами и не знают, как им отнестись к этой бурной, неожиданной ласке.

— Ах, Маруся! — говорит Марье Петровне подруга.— Поверь мне, главное в браке не муж, не роман, а дети! Я не знаю, что бы я делала без детей.

...За стеной перестали танцевать, и где-то вдали, должно быть в другой комнате, запели хором. Марья Петровна насторожилась, чтобы лучше расслышать, но слова едва до нее долетали. Что-то знакомое, отдаленное, что-то такое, что она слышала еще во дни молодости, когда тоже была счастлива, и что заставило и теперь радостно забиться ее сердце. Какая досада, что не слышно слов!

Она вспомнила, что дверь из хозяйской гостиной выходила в коридор и что в коридоре теперь, вероятно, гораздо слышнее. Она встала, прошла на цыпочках через переднюю, в которой теперь было темно, тихо отворила дверь в коридор и стала прислушиваться.

Вдруг кто-то прошел в переднюю. Звенели шпоры, и слышно было, как шуршало шелковое платье. Поравнявшись в темноте с Марьей Петровной, офицер взял свою даму за руку и нежно-нежно, как можно говорить только один раз в жизни, стал уверять ее в своей любви.

— Будьте моей женой,— сказал он и поцеловал ей руку.

Она отдернула от него руку и резко и отрывисто проговорила:

— Нет!

Марья Петровна почувствовала, как вдруг слезы подкатили ей к горлу, как застучало у нее в висках, ей мигом представилась вся ее жизнь и стало невыразимо жалко не его, этого отвергнутого, влюбленного офицера, а ее, эту незнакомую ей девушку, которая так нерасчетливо отнеслась к тому, что посылала ей судьба. Глупая!

Любовь придет и пройдет, но вместо нее останутся дети, этот дар божий, который наполняет женщине жизнь и делает ее счастливой!

И, не в силах сдержаться, Марья Петровна высунулась из-за двери и громко закричала:

— Соглашайтесь! Соглашайтесь!

А потом она вбежала к себе в комнату, заперла за собою дверь и, схватившись обеими руками за грудь, в волнении заходила по комнате.

«Что я наделала! — ужаснулась она.— Что я наделала!»

Ей было стыдно, и в то же время что-то подсказывало ей, что если у человека и у животных право первому говорить о своей любви принадлежит мужчине, то в этом есть своя правда, та самая правда, как и в том, что в детях для матери счастья больше, чем для отца. И теперь, когда для нее уже нет впереди никакой надежды, она отлично понимает, что, отталкивая от себя признание мужчины, девушка грешит против этой вечной правды и против всей своей жизни впереди.

«А если девушка не любит?» — вдруг встрепенулась Марья Петровна.

Но теперь, с высоты ее тридцати четырех лет, в эту минуту ее полного одиночества на свете, этот вопрос показался ей мелким и незамысловатым, как в молодые годы кажется нам незамысловатой вся предстоящая нам жизнь впереди.

А рядом по-прежнему пели хором, и никому не было дела до телеграфистки и до слез, катившихся у нее по щекам. Вместе с нею плакало и грязное петербургское небо, и слезы его текли по стеклам единственного окна в ее комнате, выходившего на двор.

«И-и, барышня! — звучала у нее в ушах фраза Насти.— Наше с вами дело осеннее!»

Марья Петровна упала головою на подушку и горько заплакала.

— Осень! Осень! — всхлипывала она.— А впереди — одинокая, безнадежная зима!..

РЕВЕРС

Поручик Семенов сделал предложение учительнице музыки Марье Викторовне. Она давно уже любила его и так обрадовалась этому предложению, что громко заплакала. Пришлось даже затворить окошко.

— Только вот что, Маруся...— сказал ей поручик, когда она успокоилась.— Со свадьбой придется повременить немножко, потому что не хватает денег на реверс... Бабушка обещала прислать полторы тысячи, но ведь этого мало... У меня кое-что есть, я буду копить еще, но, может быть, и ты что-нибудь сбережешь... Тогда уж и свадьба!

Марья Викторовна, ожидавшая предложения уже целых два года, нисколько не удивилась этому, а, напротив, была даже польщена, что и она примет участие в образовании реверса.

В первое воскресенье Семенов объявил в батарее, что он жених, и вместе с Марьей Викторовной сделал визит командирше и батарейным дамам. Все они смотрели на нее уже другими глазами, высказывали ей пожелания, и только штабс-капитанша Егорова покачала головой и сказала:

— Ах, бозе мой, бозе мой, как тязело, когда много детей!..

Да вот еще капитан Юшкевич, запивавший иногда запоем, обратился к Семенову со словами:

— Охота тебе жениться! Попрыгал бы на свободе! Ты меня прости, но ведь жена всегда либо неверна, либо больна. А затем эти роды, пеленки... Ффи!

С этих пор весь город уже знал, что поручик и

Марья Викторовна жених и невеста, и высказывалась радость, что теперь, слава богу, одним семейным домом в городе будет больше. Бабушка, действительно, выполнила свое обещание — прислала полторы тысячи, а поручик с Марьей Викторовной стали усчитывать себя в каждой копейке и ежемесячно вносили полковнику по тридцати рублей в счет реверса. Это всех умиляло, так как всем было известно, что Семенов посылал своей матери ежемесячно по пятнадцати рублей, а Марья Викторовна уплачивала еще за прокат рояля, без которого ей, как учительнице музыки, нельзя было обойтись.

Прошло шесть месяцев, и настала осень. На батарейный праздник приехал бригадный генерал производить смотр батарее, и по окончании ему, по обыкновению, полковник давал обед. Пили шампанское, выпили и за жениха с невестой. При этом генерал встал с места и, подойдя к Марье Викторовне, звякнул перед ней шпорами и поцеловал ей руку.

— Желаю вам тихого семейного счастья,— сказал он.— Вы вполне его достойны.

Дамы были очень польщены любезностью генерала, но Марья Викторовна чувствовала себя нехорошо и с трудом улыбнулась. Все видели, что она почему-то была в этот день какая-то серая, причем то тут, то там у нее выступали пятна на лице, и два раза она выходила во время обеда из-за стола. Дамы переглядывались, а Семенов сидел как на иголках и с нетерпением ожидал окончания обеда. Вечером предполагался в офицерском собрании бал, и генерал заранее пригласил Марью Викторовну на все мазурки. Она не сумела отказаться, но на бал так и не пошла. Ей было не по себе. После обеда Семенова усадили в карты, а его невеста простилась с хозяйкой и незаметно для других ушла. Поздно вечером к ней прибежал Семенов, одетый в парадную форму, чтобы проводить ее на бал, но она отказалась.

— Да что с тобой? — спросил ее поручик.— Ты сегодня какая-то вялая... Больна, что ли?

Она опустила голову и глубоко вздохнула.

— Да,— отвечала она.— Мне нездоровится.

— Что же именно?

— Поскорее бы свадьба... Я беременна... Стыдно.

— Какая неприятность! — забормотал он.— Какая неприятность! И как это не вовремя!

Она подняла глаза и виновато посмотрела на него. Слезы покатились у нее по щекам.

— Давай повенчаемся! — сказала она.— Через неделю уже пост, венчать не станут до рождества, а с каждым днем будет все заметнее и заметнее!.. Повенчаемся, голубчик!

— А где деньги на реверс? — спросил он у нее.

— А сколько еще не хватает?

— Свыше пятисот... Ты ведь знаешь, какой формалист наш полковник! Одной копейки не уступит!

Эта цифра ее ошеломила. До поста оставалась какая-нибудь неделя, а таких денег скоро не достанешь и не заработаешь. Она уже с месяц подозревала свое положение, но все еще была не уверена и боялась понапрасну тревожить Семенова. Но сегодня за обедом, когда внесли жареную индейку и Марью Викторовну стошнило от одного только запаха ее, она поняла, что нечего уже обманывать и себя, и своего жениха и что со своим положением теперь нужно считаться. Она видела, как перемигивались батарейные дамы, понимала, что это на ее счет, и ей представлялся весь ужас ее положения, когда все станет очевидным и ничего уже не скроешь... Несомненно, ей откажут от уроков, и она лишится и того заработка, который имеет, и свадьба отложится еще на более неопределенный срок. Теперь она невеста, перед нею щелкают шпорами, за ее здоровье пьют шампанское и целуют ее руку, а тогда она будет уже офицерской любовницей, и те, кто теперь ей ласково улыбается, первые же бросят в нее камень... Ах, зачем все это случилось? И зачем существует эта необходимость вносить куда-то какую-то сумму денег, точно этим можно уничтожить закон природы, точно быть женатым и иметь семью составляет право только одних богатых!

Семенов ушел в собрание, а она села у стола и стала думать... Теперь ее будут все презирать, если она не выйдет замуж... Несомненно, это также повредит по службе и ее жениху...

— Боже мой! — воскликнула она и сложила руки ладонями вместе.— Что делать? Что теперь делать?

Она зарабатывала до сорока рублей в месяц, из которых десять рублей уплачивала за квартиру, десять в реверс, десять за прокат рояля и только десять рублей тратила на себя. Конечно, она виновата во всем! Если бы она не дозволила себе лишней роскоши иметь рояль, то теперь в реверсе было бы на шестьдесят рублей больше, а это как бы теперь пригодилось!

— Откажусь, непременно откажусь...— шептала она.— Завтра же пойду в магазин и попрошу, чтобы рояль взяли обратно!

Завтра ее комната опустеет. Войдут в нее мужики, нагрязнят в ней своими сапогами и надолго выстудят ее. Но это ничего. Бог даст, она выйдет замуж, и года через два, когда Семенову исполнится двадцать восемь лет и им возвратят реверс обратно, они приобретут себе рояль. И у нее будет свой собственный инструмент, который она будет беречь, любить и заботливо обходиться с ним...

«Что стоит такой рояль? — подумала она.— Должно быть, рублей девятьсот...»

Девятьсот рублей!

Девятьсот рублей! Сердце у нее забилось, в висках застучало, и та мысль, которая вдруг пришла ей в голову, в одно и то же время и испугала и обрадовала ее. В самом деле, как это ей не приходило в голову раньше! Ведь платит же она теперь по десяти рублей в месяц за прокат рояля, почему бы ей не вносить этих денег за то, что она получит право назваться женой своего мужа, матерью своего ребенка и прямо всем посмотреть в глаза?

Всю ночь она не могла уснуть, то улыбаясь этой счастливой мысли, то хватаясь за сердце, которое замирало от страха. А когда настало утро, она оделась и пошла. Была метель, тротуары были занесены снегом, так что можно было пройти только у самого забора, в траншее между ним и сугробом. По улицам было пустынно, и весь город, казалось, вымер.

«Плохая погода,— подумала она.— Это к счастью...»

Она дошла до двери, над которой висела знакомая ей вывеска, и остановилась. Потом она встряхнула головой и бодро стала подниматься по ступеням.

После обеда пришли мужики, наследили, выстудили ее комнату и унесли от нее рояль. Она долго стояла у

окна и смотрела, как они взвалили его себе на плечи и в ногу, по-солдатски, понесли его вдоль улицы. Затем они свернули за угол, и еще долго-долго хлопало воротище, которое они позабыли за собою затворить. Она стояла у окна, прильнув лбом к стеклу, и крепко сжимала в кулаке пять сторублевых бумажек и квитанцию от ссудной кассы.

Теперь она богата!

Семенов побранил ее, что она отказалась от рояля, но страшно обрадовался, когда она сказала ему, что неожиданно получила от матери на приданое пятьсот рублей. Бедная старушка! Она взяла под вексель эти деньги с тем, чтобы они выплачивали и капитал и проценты.

Какое счастье! Поручик схватил Марью Викторовну за талию, закружился с ней, а потом она уткнула ему голову в грудь и чувствовала, как пылали ее щеки от стыда за эту первую, но казавшуюся ей необходимой, ложь.

Как раз в самое заговенье они повенчались. Офицеры были в мундирах и при орденах, пили шампанское и вечером танцевали. Но Марья Викторовна была скучна, ее тошнило, и ей казалось, что все смотрят ей на живот и что вот-вот спросят ее, куда девался ее рояль. Дамы участливо поправляли на ней в церкви цветы и вуаль и старались не упустить из виду, кто первый из брачащихся ступит на коврик, а она боялась взглянуть на эти эмблемы чистоты и невинности и мысленно повторяла: «Преступница! Развратная!»

А затем жизнь потекла своим чередом. Семенов давал уроки в солдатской школе, а Марья Викторовна преподавала музыку. Каждый месяц она аккуратно вносила в музыкальный магазин плату за прокат рояля и в ломбард проценты за залог. Она была счастлива и понемножку устраивала свое гнездо.

Наступила весна, потекли ручьи, и в воздухе запахло той радостью новой жизни, которою отличается всегда время около пасхи. Прилетели грачи и скворцы, так заметные в уездных городах, защебетали воробьи, и на окнах в булочных уже появились первые куличи. Марья Викторовна пошла к штабс-капитанше Ершовой взять на фасон детский конвертик, чтобы праздники не сидеть без дела, а ее муж, покончив занятия в школе,

лежал на диване, заложив руки под голову, и ожидал ее прихода.

— Кто там? — спросил он, услышав чьи-то шаги в прихожей.

— Настройщик...— послышался ответ.

Поручик вышел в прихожую. Перед ним стоял молодой человек с кожаной сумкой в руках.

— Что вам угодно? — спросил поручик.

— Прислали настроить рояль... Из магазина Крузе.

— У нас никакого рояля нет... Мы уже давно не держим!

— Не держите? Гм... Ведь здесь живет г-жа Семенова?

— Здесь, но, повторяю, мы рояля не держим!

— Ведь вашу супругу зовут Марья Викторовна?

— Совершенно верно.

Молодой человек пожал плечами.

— Странно...— сказал он.— А меня послали!

И он ушел.

На другой день из музыкального магазина приходили, когда батарея стала собираться к выступлению в лагеря. Хозяин прислал сказать, что не позволит увозить инструмент из города и если Марья Викторовна поедет тоже в лагерь, то он возьмет рояль обратно. Марья Викторовна испугалась, засуетилась, но так как в июле она ожидала разрешения от бремени и не собиралась в лагерь, то дело обошлось благополучно.

Но вот все уже готово. В три часа утра, едва только в соседнем монастыре ударили к заутрени, трубачи заиграли генерал-марш, и батарея выступила в поход. И Марье Викторовне показалось странным, зачем это понадобилось в такой ранний час тревожить всех этих близких для нее людей и уводить их далеко, в другую губернию, когда на дворе так славно и когда с такою радостью взад и вперед летают стрижи. И эти угрюмые четыре орудия, ради которых было целый год занято столько людей и лошадей, показались ей некрасивыми насекомыми, вовсе не страшными и недостойными того, чтобы вокруг них хлопотали.

— С богом! — сказала она и перекрестила удалившуюся батарею.

И она осталась одна.

Вскоре же по выступлении батареи, когда она сидела

у полковницы за чаем, она почувствовала себя нехорошо и с трудом доплелась к себе домой. Всю ночь она тяжко прострадала и только утром послала за m-me Ершовой, которая в молодости была акушеркой, но с тех пор уже все перезабыла. И только на другой день к вечеру кое-как, с грехом пополам, на свет появился у роженицы ее первый сын. Дали телеграмму Семенову и ожидали его с часу на час. Все оказалось неорганизованным, наняли наскоро какую-то девчонку, но у нее как-то все не удавалось, и ребенок кричал.

— Ах, бозе мой, бозе мой!..— хлопотала m-me Ершова, и все валилось у нее из рук.

К вечеру следующего дня Марья Викторовна почувствовала сильный озноб, от которого звонко стучали зубы, и страшную боль в нижней части живота. Всю ночь она простонала, а к утру лишилась сознания. M-me Ершова суетилась около нее, послала за уездным врачом, который оказался на вскрытии, так что пришлось пригласить молодого врача-еврея, только что приехавшего в город.

— Ну да...— сказал он, осмотрев больную.— И что же вы мне говорите? У нее родильная горячка! Вы ее заразили!

— А я так старалась! — плакала m-me Ершова и ломала себе руки.— Это, доктор, у нее от простуды...

Послали в лавку за льдом, внесли его целый таз в комнату больной, отчего сразу стало холодно; ребенок заплакал, зачихал и еще долго не мог уняться. А когда к вечеру приехал из лагеря Семенов, он застал картину уже ясно развивавшегося тифа. Он бросился к жене, обнял ее и стал целовать в глаза, в щеки, в губы. Она сбросила с головы мешок со льдом, приподнялась и, сев на край кровати, посмотрела на него дикими глазами.

— Маруся! Маруся! — звал он ее.— Это я! Очнись же!

Она ни слова не сказала и повалилась обратно на кровать.

И для него начались мучительные дни и ночи, когда приходилось по целым неделям не смыкать глаз.

Больная бредила, очевидно, видела страшные сны, все время говорила о каких-то процентах и раз даже, как показалось поручику, покушалась на самоубий-

ство... Это были тяжелые дни, когда у человека опускаются руки и когда он не может себе дать ни в чем отчета, ходит как тень и делает все машинально.

И в один из таких дней из музыкального магазина прислали за роялем. Мужики столпились в прихожей, приказчик требовал возвращения инструмента, но Семенов никак не мог добиться толку ни от него, ни от больной, и кончилось дело тем, что он закричал на приказчика, назвал его хозяина жуликом и выпроводил всех вон.

— Так, стало быть, у вас рояля нет-с? — спросил приказчик.

— Убирайтесь вон! — кричал на него Семенов.— Не желаю с вами разговаривать!

— Очень хорошо-с!

И они ушли.

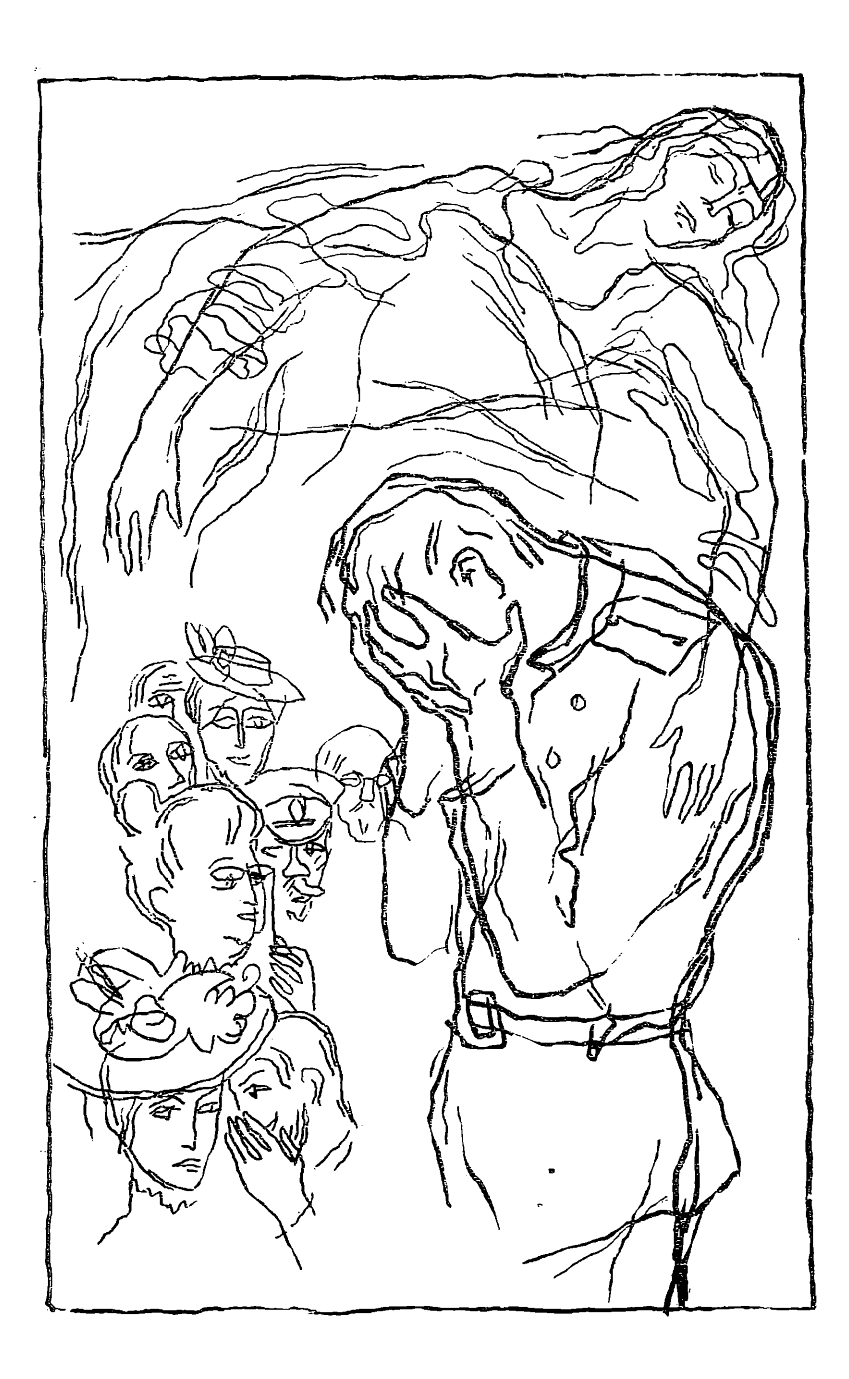
Затем случилось несчастье. Умер ребенок — и все кругом сразу как-то опустело. Точно он занимал собою все комнаты, не помещался в них и каждую минуту требовал для себя все большего и большего простора — и вдруг успокоился. Семенов одел его в то платьице, которое принесла ему на крестины полковница, сходил за гробиком, уложил в него ребенка и поехал на кладбище. Было ветрено, пыль вихрями носилась по дороге. Он сидел с непокрытой головой на извозчике, держа на коленях гробик, и никак не мог понять, за что все это на него обрушилось. И вспомнились ему слова капитана Юшкевича о том, что жена или неверна, или больна, и ему страстно захотелось повидаться с ним, поговорить, пожаловаться на свою судьбу...

Подъехали к кладбищенской церкви. Семенов внес ребенка в притвор и, не зная, как поступать далее, поставил гробик прямо на пол.

— Вам отпеть? — спросил его какой-то человечек.— Сию минуту...

Вышел из алтаря батюшка, надел епатрахиль, что-то прочитал скороговоркой, причем дьячок пел совершенно не соображаясь со словами священника, и гробик заколотили. Ямка уже была готова; в нее опустили гробик. Две-три старухи-нищие протянули к нему свои блестящие костлявые руки; он сунул в них по монете и пешком отправился домой.

Ах, как ему вдруг захотелось заплакать, так, чтобы



никто не видал, чтобы никто не осудил его за малодушие!

Он сел на кучу щебня, приготовленного для шоссе, закрыл лицо, и слезы потекли у него по щекам. Пришла откуда-то черная, лохматая собака, повиляла перед ним хвостом и ушла прочь.

Дома ожидал его сюрприз. Войдя к себе в палисадник, он увидал какого-то господина в форменной фуражке с кокардой и с портфелем в руках.

— Г-н Семенов? — обратился к нему чиновник.

— Так точно...— ответил поручик.

— Позвольте рекомендоваться; я судебный следователь 2-го участка... Мы с вами как-то встречались у Немыцких... Видите ли что... Против вашей супруги вчат иск по обвинению ее в мошенничестве... Это очень серьезное обвинение.

Семенов остолбенел.

— Она взяла напрокат в музыкальном магазине Крузе рояль,— продолжал судебный следователь,— и заложила его в ссудной кассе купца Мартынова. Каким-то образом Крузе узнал об этом и доказал свое право на рояль... Когда я мог бы допросить вашу супругу?

Теперь для Семенова было понятно все! Не заходя к своей жене и не простившись даже с судебным следователем, он бросился в ссудную кассу, но она была уже заперта.

До самого вечера он ходил как очумелый, не возвращался домой и только повторял: «За что? За что?»

И ему рисовались страшные картины суда, с прокурором, присяжными и речами и ясно представлялось, как его жена будет отведена под конвоем в тюрьму и как все с сожалением будут кивать на него головами и говорить: «Бедный! Бедный! Как он неудачно женился!»

Поздно вечером он пошел к полковнице, у которой, когда был еще холостым, чувствовал себя как в родной семье. Он отворил калитку. В глубине двора, точно снегом обсыпанного цветом тополя, стоял стол с горящей на нем лампой, и за столом сидел какой-то офицер. Это был капитан Юшкевич. Бедняга сидел с оплывшим лицом и мутными глазами смотрел в пространство. Он опять запил, и его на время запоя отпустили из лагеря домой. Полковницы не было дома.

— Здравствуй,— бросился к нему Семенов.— Какими судьбами?

— Видишь? Запил...— отвечал Юшкевич.

Семенов положил локти на стол и упал на них головою. Потом, застыдившись своего малодушия, он поднял голову и откинулся на спинку стула.

— Ну как живешь? — спросил его Юшкевич.

Поручик склонился к нему и рассказал, в чем дело.

— Дурак...— проворчал на него Юшкевич...— Если бы тебе понадобился реверс, то ты мог бы поступить так же, как и я. Когда я женился, то дядюшка моей жены выдал мне фиктивную закладную на типографию... Понимаешь? Фиктивную закладную... И все было хорошо...

— Прости меня,— отвечал Семенов, — но это похоже на подлог!

— А разве у тебя вышло иначе?

Поручик ничего не ответил и поднялся с места.

— Заходи! — сказал он ему на прощанье.

— Ладно...— ответил Юшкевич.— Зайду.

И Семенов вышел.

Дома он застал жену сидящей на кровати. Она посмотрела на него своими впалыми, но счастливыми глазами и улыбнулась ему.

— Кажется, моим страданиям пришел уже конец...— сказала она.

Он нагнулся к ней и, боясь, чтобы она не спросила о ребенке, поцеловал ее в лоб.

«Нет, они только еще начинаются!» — подумал он и, отойдя к окну, стал смотреть в темный палисадник.

БЕДА

Климов сделал Лидии предложение, и ее отец, Федор Егорыч, на радостях поехал в город и привез оттуда семнадцать фунтов колбасы. Все дома удивились такому огромному количеству, удивился и сам Федор Егорыч, но покупка колбасы была понята, как шутка, и много по этому поводу смеялись. И хотя брат Лидии, глухонемой Порфирий, оказал этой колбасе большую честь, однако пришлось остатки ее отнести на деревню и раздать мужикам.

За Лидией полагалось две тысячи приданого. Тысячу рублей решили дать деньгами, а на другую нашить белья и верхнего платья. Лизавета Андреевна, мать невесты, закупила у крестьян все полотно и попросила мужа написать в город к Анне Маремьяновне, чтобы она захватила с собою швейную машину и приезжала шить. Федор Егорыч написал, вложил письмо в конверт и надписал адрес.

— Что это ты, отец мой, тут нацарапал? — спросила Лизавета Андреевна, стараясь разглядеть в очки писанье.

— А что? — спросил Федор Егорыч.

Он взял у нее из рук письмо и удивился сам. На адресе все слова были написаны только до половины. Он распечатал конверт: оказалось, что и во всем письме было то же. Сердце у него забилось.

«Что такое?» — подумал он и стал протирать глаза.

Вскоре приехала Анна Маремьяновна, и начались кройка и шитье. Повсюду стали валяться обрезки, лоскутки, с утра и до вечера трещала машина, и Лидию все это глубоко обижало. По целым дням она проводила в поле или на беговых дрожках объезжала лес, не столько для того, чтобы наблюдать за работами или

присмотреть за лесом, сколько для того, чтобы уйти от этих мелочей. Она любила Климова, это была ее первая любовь, и для нее теперь было странно, как это серьезные люди могут снисходить до таких пошлых мелочей, как разговоры по целым часам о том, метить ли белье в крестик или гладью, и ставить ли на метке инициал девичьей фамилии Лидии или фамилии ее будущего мужа. И когда она возвращалась домой к обеду или к ужину и садилась за стол, ей невыносимо было жаль отца, выходившего из своей комнаты со стаканом в руках, в котором мокли какие-то почки и листья, ей жалка была Лизавета Андреевна с ее вечно озабоченным лицом. Она жалела брата Порфирия, для которого недоступны были звуки природы и для которого дар речи заменялся мимикой и игрой на пальцах.

— И в кого это он у вас такой уродился? — спросила Лизавету Андреевну Анна Маремьяновна.

— Да...— вздохнула Лизавета Андреевна.— Во всем роду у нас никогда такого не было...

— Это от пожара...— сказал Федор Егорыч.— Когда она была беременна Порфирием, у нас горел амбар. Она вышла и испугалась.

Климов был сосед по имению. Он только недавно окончил курс университета и приехал хозяйничать в деревню. Отец его был учителем гимназии, составил какое-то руководство и на скопленные деньги купил для сына восемьдесят три десятины земли. В имении этом, как говорится, негде было повернуться, но Климов приехал с широкими планами относительно севооборотов, фосфоритов и вообще рациональной постановки дела. Все улыбались; заранее можно было предугадать, что из его затей не выйдет ничего, но на всех как-то освежающе подействовали его задор, уверенность, правдивость и нежелание служить по администрации. Ходил он в поддевке и больших сапогах, но это не казалось оригинальничаньем; был он рыжий, некрасивый, картавил, но его можно было заслушаться. Он обратил на себя внимание Лидии тем, что купил у них старую, никуда не годную молотилку за пятьдесят рублей, куда-то съездил, приобрел за шестнадцать рублей два зубчатых колеса, и молотилка пошла у него на славу, лучше новой. Он жил совершенно одиноко, и за его безупречность его прозвали монахом. Иногда к нему

приезжал его отец, который кричал на прислугу и на мужиков и, стуча кулаком по столу, говорил:

«Каждый человек должен знать свои обязанности!»

Приездов отца Климов не любил еще и потому, что всякий раз старик набрасывался на него и говорил, что если Александр не поедет на этой же неделе к губернатору и не попросит у него себе места в земские начальники, то он, отец, отберет от него Донки и передаст их младшему сыну, Павлу.

Во время одного из таких разговоров случайно заехала к Климову на беговых дрожках Лидия поговорить насчет сенокоса. Косой взгляд на нее старика и разговор этот ее обидели до глубины души, и к чувству уважения, которое она ранее питала к Александру, прибавилось еще и чувство жалости. На этой почве, кажется, и зародилась в ней к нему любовь.

— Хороши здесь нравы, нечего сказать...— проворчал отец по ее уходе.— Молодая девушка одна ездит к холостому мужчине! Хороши родители!

Климов часто приходил к Лидии. Они вместе, сидя рядком, ковырялись в парниках, с педантичностью производя кисточкой опыление огурцов, хотя достаточно было одного какого-нибудь порыва ветра, чтобы это опыление было произведено гораздо надежнее и лучше, или же проверяли на практике обиходную рецептуру Эльпе. Это были большие дети, кроткие и незлобивые, и, глядя на них, можно было подумать, что это не соседи, а брат и сестра.

В уездном городе была конская ярмарка. Климов и Федор Егорыч сговорились ехать вместе не с тем, чтобы торговать лошадей, а просто, как они говорили, потолкаться. Втайне у Климова цель поездки была иная: он хотел сняться и преподнести свой портрет Лидии. Заехав за Федором Егорычем, он увидел его в больших роговых очках.

— Что это вы надели очки? — спросил он его.

— Да вот, знаете ли, что-то глаза плохо видеть стали,— отвечал Федор Егорыч.— Концы слов стал не дописывать.

Возвратившись домой, Климов застал у себя отца. Он был мрачен и сидел, подперши лицо кулаками. Видно было, что он был чем-то недоволен, и Климов сразу догадался, чем именно.

— Ты хочешь жениться? — строго спросил его отец, не ответив на приветствие.

— Да, папа...— ответил Александр и, по привычке еще с детства бояться отца, виновато опустил глаза.

— А спросил ли ты себя, на какие средства ты будешь жить с семьей?

Александр Семеныч молчал.

— Дармоед! Мало того, что ты сам живешь на счет отца, который на старости лет работает не покладая рук, ты еще хочешь взвалить на его плечи свою семью? Ты думаешь, что я купил это имение для того, чтобы ты занимался в нем пустяками и бил баклуши? Я купил его для того, чтобы вывести тебя в земские начальники. Для чего я тебя учил? Для того, чтобы ты ходил в этой дурацкой свитке и носил мужицкие сапоги? С тех пор как я получил Владимира, ты стал дворянином, и ты должен помнить это и с честью держать свое знамя, а снисходить до безделья и до этого идиотского подражания мужикам — это глупо и непрактично! Каждый человек должен иметь свои обязанности! И прежде чем жениться, тебе бы следовало подумать лучше о том, как бы облегчить труд своего отца!

Старик Климов встал и прошелся по комнате.

— На ком же ты женишься? — спросил он.

— На Лидии Крутицыной.

— Что это, порядочная семья?

— Кажется, что да...

— А в роду все благополучно? Нет ни идиотов, ни глухонемых?

Александр Семеныч вздрогнул и ничего не ответил.

— То-то! — сказал отец.— Весь род твоей будущей жены должен быть абсолютно здоровым. Довольно с тебя и того, что твоя мать умерла от чахотки. Ты должен это помнить.

Всю ночь Александр Семеныч не мог заснуть. Отец задал ему неразрешимую задачу. Он искренне любил Лидию, но раньше как-то не обращал никакого внимания на наследственность, и глухонемой Порфирий возбуждал в нем только чувство жалости. А между тем Климов не мог не согласиться, что отец его был до некоторой степени прав. И Александр Семеныч сразу вспомнил разговоры о том, что отец Федора Егорыча был запойным пьяницей, а у матери Лидии было бы теперь

восемь человек детей, если бы не произошло пяти выкидышей и если бы один не родился покрытым сплошь какими-то язвами. Он ворочался в своей постели, не мог заснуть, и в его глазах вырастали такие уроды, как те калеки, которых он видел у ворот монастыря недалеко от его усадьбы. Это ужасно! Жениться по любви — и сознавать над собою это вечное тяготение дамоклова меча в виде наследственности! Да полно, правы ли люди, зайдя так далеко! Чем виноват он, чем виновата бедняжка Лидия, что его мать умерла от чахотки, а ее брат глухонемой? Отец говорит, что необходимо выбирать здоровый род... Но ведь выбирать — значит отрицать любовь как нечто самостоятельное, святое. И если любовь понимать так, как, вероятно, понимает ее его отец, то есть как произведение себе подобных, то можно ли сравнить эту любовь с тою, которую питает он к Лидии и она к нему и благодаря которой для них обоих стало понятным теперь каждое движение листка, каждый звук леса и поля? И если придавать значение одному только роду, наследственности, то пришлось бы совершенно отрицать любовь, отрицать в ней то созидающее начало, которым пропитан каждый атом современной цивилизации и культуры. Нет, прошло время умыканья невест и выбора, сватовство отошло теперь в область преданий, и настало, наконец, время святой, чистой, бескорыстной, независимой любви! И что бы ни говорили такие сухие люди, как его отец, о наследственности и чахотке, что бы ни писали о вырождении и декадансе, любовь есть любовь, и не любить в браке может только тот, кто имеет черствую, одеревеневшую душу...

Целых две недели не ходил Климов к Крутицыным, но под конец не выдержал и пошел. Лидию он застал среди двора; она стояла около возов ржи, отправляемой на мельницу, и была печальна. Климов подумал, что, вероятно, это оттого, что он не приходил так долго и не писал ей, и не стал ее расспрашивать. В это время вышла ее мать с палкой и корзиночкой, повязанная белым коленкоровым платочком, собравшаяся по грибы. Лицо ее тоже было печально. Климов подошел к ней и поздоровался.

— А у нас горе какое, Александр Семеныч...— сказала Лизавета Андреевна и утерла глаза кончиком платка.

— Что такое? — спросил ее Климов.

— Старик наш захворал...

— Что вы? Чем же именно?

— Да господь его знает!.. Доктор сказал, что надо в Петербург его везти... Ни с того ни с сего стал просто неузнаваем...

Молча, печальные, все трое вышли со двора и вдоль канавы тихонько направились в лес. Была навозица, и вдоль поля тянулись ряды пирамидок навоза, наставленных в шахматном порядке. Вдалеке стоял воз, и девушка влезла на него с вилами, чтобы начать его сваливать. Лидия свернула в ее сторону. Климов последовал за нею, а Лизавета Андреевна пошла одна, и еще долго был виден ее белый платок, мелькавший сквозь кусты начавшегося перелеска. Из каждого воза выходило по две пирамидки. Стали считать пирамидки, чтобы подвести итог возам и сообразить, хватит ли навозу,— сбились и пошли к девушке. Она стояла на возу, и навозная жижа просачивалась у нее сквозь пальцы на ногах.

— Здравствуй, Дуня,— сказала Лидия.— Ну что, как отец?

— Да все так же,— отвечала Дуня.

— Не буянит?

— Нет, все еще дерется... Нынче ночью у меня деньги украл и пропил.

— Ах, беда, беда! — вздохнула Лидия.— А когда свадьба?

— Да когда свадьба? — спросила, в свою очередь, Дуня.— Пущай сперва проспится, а то и жених-то не возьмет...

Дуня была уже сосватана за мужика из соседней деревни, уже был пропой, но свадьба затормозилась тем, что запил ее отец и сжег избу. Получили страховку, построились наскоро, но он запил снова, и вот теперь ожидали, когда он проспится.

Лидия и Климов простились с девушкой и пошли за матерью в лес. Всю дорогу они молчали. Хлеб уже был кое-где сжат, и этот начавшийся перелом лета на осень возбуждал в них чувство какой-то неопределенной тоски, которую принято называть настроением.

— Беда! Беда! — воскликнула вдруг Лидия.— Мы ходим, не зная, куда себя приложить, шьем ненужное

приданое, отправляемся за грибами, а другие в это время роются для нас в навозе и в грязи, несут совсем не девичий, изнурительный труд... И над всем этим тяготеет какой-то неумолимый рок вроде этого запоя, преступности, глухонемоты... Беда, беда, беда!.. Неблагополучно в нашем роду, Александр Семеныч!..

Климов помолчал немного. Эти слова Лидии не раз уже приходили ему на ум за последние две недели, после его разговора с отцом, и он сказал:

— Да чем ваш род неблагополучнее моего? Разве можно назвать благополучием то, что мой отец, будучи совершенно здоровым и произведя на свет меня и моего брата, Павла, тоже совершенно здоровых, вот уже тридцать шесть лет учит гимназистов, ест их поедом, придирается к ним, унижает в них чувство собственного достоинства и пустил уже не одно поколение нравственно и физически изломанных людей, и все только во имя того, чтобы была выполнена программа! Разве благополучно то, что отец драл меня в молодости и что для меня погибло, не существует мое детство только потому, что в этом состояла система воспитания? Вырождение не в том, что существует ваш глухонемой Порфирий, а в тех формах, в тех условиях жизни, которые создают этих порфириев или таких пропойц, как отец вот этой бедной Дуни! Взгляните на колос... Сколько бы в нем было таких уродов, как спорынья, и какие бы это были все тощие зерна, если бы вы не давали земле навоза!

Лидия не отвечала. Молча вошли они в лес и молча потерялись в его глубине.

— Ау! — раздался издалека голос Лизаветы Андреевны.

— Ау! — ответила ему Лидия.

И к их молчанию присоединилось молчание леса.

Часам к шести из города приехал старик Климов и, не застав сына дома, отправился прямо к Крутицыным. Кстати, он познакомится там и со своими будущими родственниками. У Крутицыных его никто не встретил. Полагая, что они на террасе пьют чай, он вошел в дом с заднего крыльца. И здесь он никого не встретил. Проходя по коридору, он услышал в одной из комнат громкий разговор и отворил в нее дверь. В углу комнаты стоял, прижавшись к стене, Федор Егорович, весь заго-

родившийся стульями, волосы его стояли дыбом, и он в ужасе кричал:

— Спасите! Помогите! Меня ловят! Меня хотят сжечь на костре!

— Что такое? — воскликнул Климов и тоже испугался.

Федор Егорыч, увидав гостя, просиял от радости и, раздвинув стулья, бросился к нему.

— Спасибо, спасибо...— залепетал он, и слезы потекли по его щекам.— Вы спасли мне жизнь...

Потом он вдруг сделал серьезное лицо, выпрямился во весь рост и, указав на себя пальцем, торжественно воскликнул:

— Я Иоанн Гус!

Климов опрометью бросился вон из комнаты, но второпях попал не к выходу, а в противоположный конец дома. В одной из комнат, как только он вошел в нее, поднялся в углу молодой человек и вопросительно посмотрел на него.

— Здравствуйте...— задыхаясь, сказал Климов.— Я отец Александра Семеныча... Могу я его повидать?

— Му! — ответил молодой человек.— Му-му!

— Что-с? — переспросил Климов.

— Му! — повторил Порфирий.

Ничего не понимая и только испытывая животное чувство страха, Климов повернул назад и со всех ног бросился к выходу. Порфирий пустился за ним, из желания ли его успокоить или заподозрив в нем вора — это трудно было понять.

Было уже темно, когда Климов возвратился к себе в деревню. Он застал сына стоявшим у окна и задумчиво смотревшим в темные стекла. Климов подскочил к нему, круто повернул его к себе за плечи и, протянув кулаки прямо к его лицу и стиснув зубы, воскликнул:

— Прокляну! Понимаешь? Прокляну! Лишу тебя своего благословения! Тебя бог накажет, если только ты женишься на этой... этой... на этом отродье из сумасшедшего дома!

Александр посмотрел на него грустными, задумчивыми, заплаканными глазами, и ему стало стыдно за отца.

— Не говори, папа, таких унизительных для человека слов... Я был о тебе гораздо лучшего мнения.

— Негодяй! — закричал на него отец. — Дармоед!

Его рука взвилась в воздухе, и он ударил сына по лицу.

С чувством обиды и стыда Александр посмотрел на старика и, не сказав ни слова, направился к выходу. В дверях он остановился на минуту и, глотая слезы и чувствуя, как бьется его сердце и стучит в висках, тихо сказал:

— Успокойся, папа, она сама мне сегодня отказала...

И он вышел из дому. Он не знал, куда он идет, что он будет делать, ему хотелось только поскорее уйти на воздух, на волю, где ему никто уже не нанесет тяжкой обиды и где этот тяготеющий над близкими ему кошмар ответственности за грехи отцов уже не будет с очевидностью бить ему прямо в глаза. Он вышел в поле и сел на валу пограничной канавы. Было темно. Александр Семеныч смотрел вдаль, на полоску заката, точно для него там, по ту сторону горизонта, находилось решение волновавшего его вопроса. Пахло свежим навозом.

«Отец и Лидия боятся наследственности, вырождения, преступности... — думал он. — А разве не преступление учить детей только ради выполнения программы, ради лишнего ордена и чина, разве не преступление владеть землей только для того, чтобы через нее стараться попасть на службу, не имея к ней призвания, разве не преступление ударить взрослого сына по щеке? И как они не поймут, что главное не в этом, что главное на свете любовь к природе и к человеку, что любовь не разрушает, а созидает и что там, где любовь, невозможен никакой упадок. Я полюбил землю, и отец считает меня дармоедом; я полюбил Лидию и хотел жениться на ней, и она боится, что наше потомство будет или больное, или ничтожное.... Как они не понимают, что вырождение есть продукт не столько наследственности, сколько тяжкой борьбы за существование, в которой теперь так мало любви к ближнему, именно этого созидающего начала! И если бы человек верил в одни только семена, то он не стал бы вывозить навоз, пахать, разделывать землю. И чем больше этой любви к зерну, тем рост роскошнее и плод здоровее и богаче... А люди?.. Так ли они относятся друг к другу?»

— Беда! Беда! Беда! — сказал он вслух и, махнув рукою, пошел домой.

ГЕНЕРАЛЬША

Генеральша была довольна. Она заехала в ренсковый погреб Сивунова и приказала послать к ней на квартиру ящик шампанского. Когда приказчик спросил с нее деньги, она сказала ему, что она устраивает раут с благотворительной целью — неужели он этого не знает? — и что шампанское, конечно, нужно считать пожертвованным. Приказчик почтительно осклабился и не возразил ничего. Теперь генеральша осуществит свою заветную мечту: она прикажет внести в зал целую льдину, велит вырубить в ней углубление и нальет туда шампанское. Это будет и ново и выгодно.

«Воображаю, как местные медведи будут поражены»,— думала она дорогой.

В маленькой гостиной она прикажет расставить мебель так, чтобы, когда Юленька Зиновьева встретится здесь с Игнатьевым, их не было видно посторонним. Быть может, они до чего-нибудь договорятся. Мадемуазель, конечно, будет у стола, только вот вопрос об учителе: выпускать его в публику или не выпускать? Впрочем, об этом она еще подумает! Перед танцами будет дивертисмент. Штабс-капитан Янчич прочтет толстовскую «Грешницу», антрепренер городского театра представит сцены в лицах. Других актеров генеральша не пригласит, так как они невежи, а актрисы развратны. Вольф прислал из Петербурга последние французские романы; она прочла их, следовательно, говорить есть о чем. Только вот беда с генералом. Правда, она написала на бумажке полное содержание каждого романа, с тем чтобы он выучил их наизусть, но, когда учитель Иван Федорович стал читать ему эту выписку вслух, он на половине чтения заснул.

«Что-то мадемуазель стала в последнее время какая-то серая и скучная,— подумала генеральша.— Дол-

жно быть, тоскует по своей Швейцарии... Ее бы выдать замуж, да никто, пожалуй, не возьмет...»

Швейцар распахнул перед ней двери, и она вошла к себе в дом. Сбросив ротонду, она стала подниматься по лестнице. Но потом, вспомнив про раут, опять спустилась вниз и направилась к гувернантке. Надо же переговорить обо всем!

Дверь оказалась незапертой. Генеральша вошла да так и остолбенела: у стола, склонившись над работой, сидела мадемуазель и шила детскую распашонку. Тут же стопкой лежали детские простынки. Генеральша как коршун налетела на нее и вырвала из ее рук работу.

— Это для кого? — спросила она строго.

Бедная мадемуазель, застигнутая врасплох, опустила глаза и густо покраснела.

— Для кого эта распашонка? — строго повторила генеральша.— Я жду...

У мадемуазель потекли по щекам слезы. Она наклонилась еще ниже и отвечала:

— Для моего маленького...

— На котором месяце?

— Кончается третий...

— От кого?

Француженка молчала.

— Я вас спрашиваю: от кого?

— О, не заставляйте меня называть его!

— Вы хотите, чтобы я обо всем рассказала генералу?

Мадемуазель молчала.

— Что же, мне еще долго ждать? — спросила генеральша.

Гувернантка залилась слезами и выбежала из комнаты.

Генеральша опустилась на стул. Этого уж она никак не ожидала! Мадемуазель не говорит от кого, но, конечно, это от учителя Ивана Федорыча, который вот уж сколько времени на глазах у всех ухаживает за ней! Да, да! Это очевидно. Но каков молодец! Хороша тоже и m-lle Жюдик! Ах какая неприятность! В доме генеральши заводит разврат, да еще с кем, с учителем ее сына-гимназиста, с этим семинаристом, который вечно смотрит исподлобья! Хорошо еще, что только в нынешнем августе ее дочь отвезли в Петербург в институт, а то прекрасный был бы для нее пример! Ее оставили в

доме как компаньонку, чтобы только не лишить ее заработка, а вот на тебе! Каков сюрприз! Нет, генеральша так не оставит этого дела. Она не позволит позорить ее дом, и если уж случился грех, если дело уж зашло так далеко, то она употребит все свои усилия, а заставит этого хваленого Ивана Федорыча жениться на m-lle Жюдик!

И ведь как это все выходит наперекор! Случись это с Юленькой и с Игнатьевым, генеральша только обрадовалась бы этому. Тогда бы она имела в своих руках козырной туз и заставила бы этого гордеца, этого самонадеянного херувима Игнатьева жениться на бедняжке Юленьке, которая так безнадежно в него влюблена!

«Ах какая неприятность!» — подумала генеральша.

— Ну и что же вы намерены делать? — спросила она вошедшую m-lle Жюдик.

— Уеду в Швейцарию, к моей бедной матери...

— А ребенок?

Гувернантка глубоко вздохнула и не ответила.

Боже мой, как люди безнравственны! Молодая, красивая девушка, которой поручалось воспитание такого нежного существа, как генеральская дочь, и вдруг отдается такому совсем неинтересному человеку, как этот учитель Иван Федорыч. Точно она не могла найти себе никого поинтереснее! Уж если на то пошло, то генеральша всегда предпочла бы поручика Незнанского этой семинарской кутье. Но какие мещанские вкусы! Тоже и Иван Федорыч!.. Не нашел для своих шашней другого места! Наконец, если m-lle Жюдик нужны были les petits tours, то она могла бы обратиться к генеральше, которая настолько либеральна, что могла бы устроить это дело гораздо изящнее и в пределах умеренности и аккуратности. Ах, уж эти мещане!

Сейчас же она поговорит с Иваном Федорычем и потребует от него категорического ответа: женится он на m-lle Жюдик или нет? И если он откажется, то она примет свои меры и откроет директору местной гимназии глаза, какого сорта господина он представил на должность преподавателя во вверенной ему гимназии.

Она пошла к себе наверх и приказала позвать к себе Ивана Федорыча. Он вошел к ней, робкий, в длинном семинарском сюртуке, и, откашлявшись в кулак, поцеловал ей руку.

— Это что же такое? — спросила она его строго.

— Виноват, я не расслышал, Анна Сергеевна...— отвечал он.

— В моем доме вы заводите шашни?

— Шашни? — встревожился учитель.— Какие?

— Вы должны непременно жениться на m-lle Жюдик! Слышите? Непременно!

— Я вас не понимаю...

— Отлично понимаете! Вы знаете, о чем я говорю! Если вы честный человек, если вы увлекли несчастную девушку, то вы же должны браком прикрыть ее позор... Слышите? Браком!

— Увлек m-lle Жюдик? — растерялся учитель.— Я?

— Да, да, вы! Больше некому! Вы должны жениться на ней!

— Простите, ваше превосходительство, но вам никто не давал права так разговаривать со мной... Это неделикатно.

— Вы не смеете читать мне нравоучений! Я сама знаю, что деликатно и что неделикатно.

— А вы не смеете говорить мне подобные пошлости и оскорблять мою порядочность! Если я вам больше не нужен, то скажите это прямо, и я уйду, но не навязывайте мне разных m-lle Жюдик! Прошу вас помнить, что у каждого человека есть чувство собственного достоинства!

Учитель повернулся к ней спиной и вышел из будуара.

— Хам! — услышал он позади себя.— Мужик!

Приехала Юленька Зиновьева и, как была, в шапочке и с муфтой, упала к ногам Анны Сергеевны и зарыдала.

— Что такое? — спросила ее генеральша и испугалась.

— Боже мой, я так страдаю! — отвечала Юленька, заливаясь слезами.— Я так страдаю!

— Успокойтесь, душечка... Что такое?

— Я так его люблю!.. Вчера у Дружининых был бал, Игнатьев все время разговаривал с какими-то рожами, танцевал со всеми, а со мной хоть бы один разок! Точно он хотел этим оказать мне явное пренебрежение! Боже мой, за что я так несчастна, зачем я так его люблю!

Она снова зарыдала и упала головой на колени генеральше. Слезы падали у нее из глаз прямо на шелковое платье. Анна Сергеевна подняла ее, отерла ей слезы, поцеловала в обе щеки и дала понюхать спирта.

— Успокойтесь, дитя мое...— сказала она.— Он женится на вас, я вам устрою это дело... Вы будете его женою! Только бы нам узнать, нет ли у него какого-нибудь другого романа?

Но как это узнать? У податного инспектора, говорят, есть нянька, которая гадает просто изумительно. Читает как по писаному. Вот что! Они поедут сейчас к ней обе вместе и попросят ее погадать им. Конечно, ее можно было бы пригласить и сюда, но это может получить огласку. Если обе они спустят вуали и поедут на Киселюху на простом извозчике, то их никто не узнает. Нянька их не знает вовсе, податной инспектор тоже: он у них не бывает, и генеральша никогда даже с ним и не встречалась. Право, лучше будет поехать туда самим. Теперь уже десятый час, но ведь это еще лучше: нянька уложила уже, вероятно, своих ребят и теперь свободна.

Они надели ротонды и вышли на улицу. Пройдя два-три квартала, они наняли извозчика и поехали на Киселюху. Крадучись, подошли к окошку податного инспектора и заглянули в него. Среди комнаты стоял стол, и гимназист что-то ел на нем, очевидно ужинал. Вот пробежала девочка со спустившимися чулками, а вот вышла кошка, села на стул и стала лапкой умываться. Со свечой в руке какой-то старик в белом халате прошел через комнату. Это, должно быть, сам инспектор. Вот он вошел опять в нее и вдруг неожиданно направился к окошку, в которое они глядели, и осветил градусник, прибитый снаружи. Свет от свечи упал и на их лица. Это было так неожиданно для них, что они не успели даже отскочить от окошка. Инспектор увидал их, стал всматриваться в окно, а затем они услышали, как загремел крюк и как стала отворяться парадная дверь. Опрометью они бросились назад за ворота, вскочили на извозчика и поскакали домой. Какая жалость, что им помешал этот старый хрыч! И нужно же ему было подходить к окну! Но какая у него в доме мещанская обстановка и как серо живут эти чиновники! И этот белый, парусиновый халат... Какое мещанство!

Извозчика они рассчитали, не доезжая до дому.

— Еще пятачок, барыня...— умолял ее извозчик.— Двадцать копеек туда да двадцать оттуда, а вы только тридцать пять копеек дали. Ведь надо по таксе!

— Довольно, довольно! — отвечала генеральша.— Будет с тебя! Оптом все дешевле!

У крыльца они простились. Генеральша поцеловала Юленьку в губы и сказала:

— Не беспокойтесь, душечка... Все-таки я разузнаю о нем и женю его на вас... Быть может, зайдете?

— Нет, Анна Сергеевна, уже поздно,— отвечала Юленька.— Мама будет беспокоиться...

— Ну, до свидания!

Анна Сергеевна поднялась наверх и пошла прямо в кабинет к мужу. Она застала его в самом веселом настроении: он насвистывал сам себе и делал антраша вокруг письменного стола, заложив одну руку за спину, а другую вытянув так, точно вел рядом с собою даму. Это он разучивал к завтрашнему рауту шакон. Увидав неожиданно вошедшую к нему жену, он сконфузился, закашлялся и, отойдя к окошку, стал поправлять себе галстук и пушистые седые бакенбарды.

— Я пришла, Пьер,— сказала генеральша,— поговорить с тобой об одном очень серьезном деле...

— О каком, машер? — спросил генерал.

— Насчет Жюдик...

Генерал встрепенулся и затеребил свой галстук.

— Ах, да, да, да!..— отвечал он.— Это очень серьезное дело!

— Ты знаешь? Она беременна...

— Ах, да, да, да... Такая неприятность, знаешь ли... Впрочем... Что ты?! Неужели?

— Да, представь себе!

Генерал засвистал и, заложив руки в карманы пиджака, заходил по кабинету.

— И знаешь, кого я подозреваю? — спросила генеральша.

Генерал встревожился.

— Кого именно? — спросил он.

— Вашего хваленого Ивана Федорыча...

У генерала отлегло от сердца.

— Ты должен заставить его жениться на ней,— продолжала генеральша.— Этого так оставлять нельзя!

— Заставить жениться? — просиял генерал.— Это,

знаешь, машер, идея!.. Но как? Ведь он не крепостной!

— Ты вызови его к себе, побрани его хорошенько за этот поступок и заставь его жениться.

— Бранить-то, положим, его не за что... Ну а если он не согласится?

— Пообещай ему место, протекцию, ну еще что-нибудь.

— Место... протекцию... А знаешь, машер, это идея! Благодарю тебя...

И он поцеловал ее в лоб.

— Ну а как у нас музыка? — спросил он ее, чтобы переменить разговор.

— Я была у полковника...— отвечала она.— Этот солдафон обещал прислать музыкантов, бесплатно конечно, но просил дать каждому из них по бутылке пива и по французской булке... Знаешь, я согласилась! Все-таки это дешевле, чем нанимать тапера. Но какой это невежа! Я попросила его принять эти пиво и французские булки за счет полка, а он мне дерзко отвечал: «Ваше превосходительство, я не вор!» Каков? А?

— Ну что же ты от него хочешь, машер? — ответил генерал.— Ведь армеец! Пехота!

На следующий день был раут с благотворительной целью. Генеральша была в платье декольте, с длинным треном и с напудренными и нарумяненными плечами. В декольте была еще одна барышня — девица Веденяпина, все же остальные дамы были в закрытых платьях. Они конфузились и жались по стенам. Были раскинуты столы, на которых блистало фамильное серебро и расставлены были фрукты и печенье. Лакеи разносили чай. Среди зала, распространяя вокруг себя холодок, стояла большая льдина с шампанским. Долли Слобожанинова стояла около нее и разливала шампанское. Буфета не было, так как это не принято, и мужчины ходили как сонные мухи, не знали, что делать, и втихомолку острили. Слышалось щелканье портмоне и звон выкладываемой монеты. Было скучно.

Генеральша ходила взад и вперед, стараясь соединить общество, и то и дело поглядывала на входную дверь, не идет ли Игнатьев. Теперь уж он не отвертится! Для него и Юленьки устроен отличный уголок, и она постарается сделать так, чтобы Игнатьев сделал Юленьке предложение.

В толпе пронесся шум, и началось двиганье стульями. Вышел штабс-капитан Янчич и, нахмурив брови и проведя рукой по копне черных курчавых волос, прочел «Грешницу». Ему захлопали, и на бис он промелодекламировал под звуки рояля «Чуть брезжило зимнее утро». Он так задыхался, что все думали, что с ним сделается дурно.

— Неправда ли, как он талантлив? — обращалась генеральша к гостям.

После Янчича, с развязностью бывалого человека, на эстраду взошел антрепренер городского театра, в белых перчатках и с сизой физиономией, и, широко расставив локти, рассказал несколько анекдотов, которыми очень насмешил.

— Премилый толстяк! — восхищалась генеральша.

Лакеи раздвинули стулья по стенам, и музыка заиграла польский. Генерал взял Долли Слобожанинову, поручик Незнанский — генеральшу, и городской голова, только что получивший коммерции-советника и впервые в жизни надевший фрак, пригласил девицу Веденяпину. Но от польского пришлось отказаться, так как, кроме этих трех пар, никого желающих не нашлось.

— Мещане, провинциалы! — шептала, стиснув зубы, генеральша. — Уж не могут и этого! Неужели заводить для вас кадриль и лансье? О, как тяжело жить в такой берлоге!

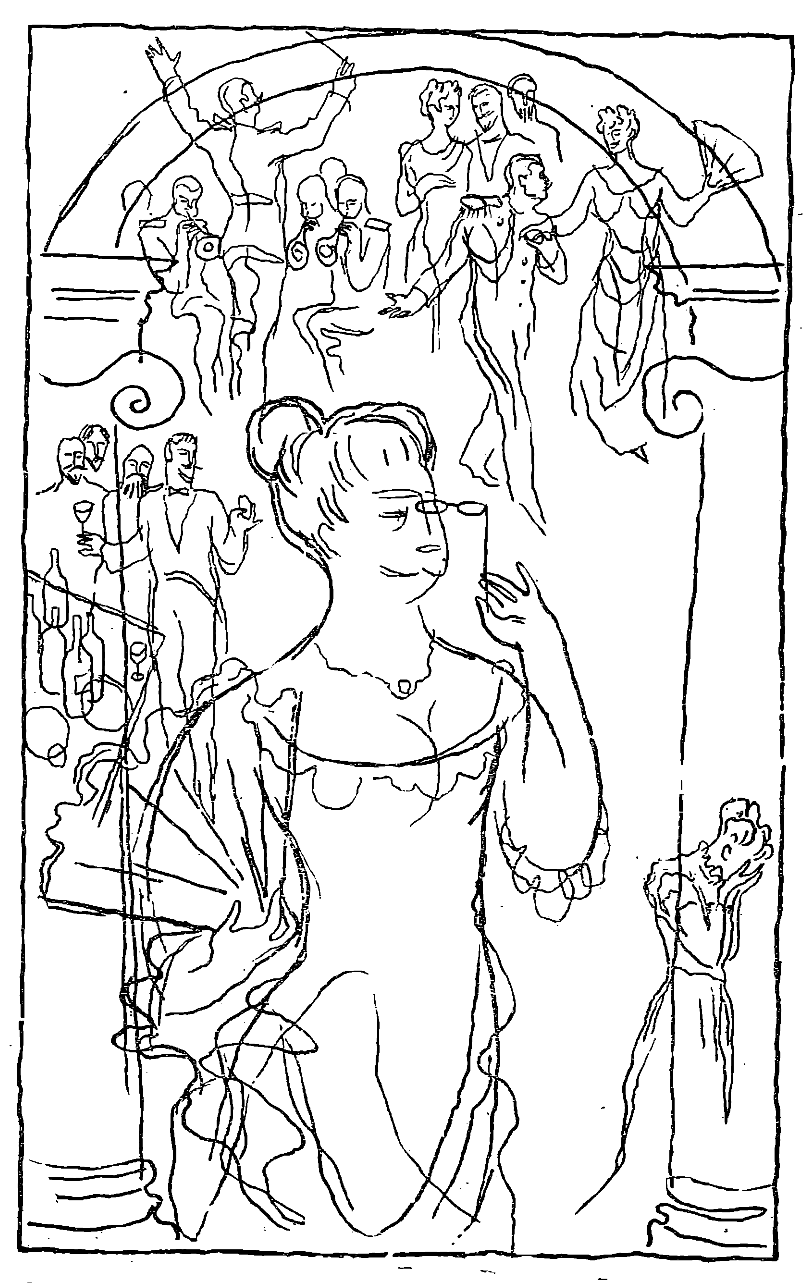
Сделав обязательные туры, генерал подошел к Ивану Федорычу, угрюмо сидевшему в уголку, взял его под руку и стал ходить с ним по комнате.

— Я прошу вас сделать для меня одолжение...— умолял его генерал.— Бедная девочка так страдает! Если вы женитесь на ней, то я похлопочу за вас в Петербурге... Вы можете сделать карьеру. Моншер, женитесь на ней! А что касается ребенка, то... то, конечно, я его обеспечу! Вы не сомневайтесь в этом.

— Ваше превосходительство, я никогда себя не продавал! — возмутился Иван Федорыч.— Прошу вас избавить меня от дальнейших разговоров на эту тему. Это оскорбляет меня. Я не желаю вашей протекции!

Генерал брезгливо отдернул из-под его руки свою руку и, строго посмотрев на него, отошел к гостям.

«Кутейник»,— подумал генерал и стал ухаживать за Долли Слобожаниновой.



— Вы сегодня прелестнее, чем когда-либо...— обратился он к ней, обмахивая ее веером из страусовых перьев.— У вас серые глаза, но ведь вы знаете — les yeux gris vont au Paradis...

А в это время генеральша волновалась. Она то и дело посматривала на дверь, не войдет ли Игнатьев, и злилась, что его так долго нет.

«Что он хочет этим доказать? Если он не хочет прийти для генеральши, то сделал бы это хоть для бедной Юленьки!»

Под конец она не выдержала и послала за ним курьера. Курьер возвратился и сообщил, что они приказали сказать, что их дома нет.

— Так он и сказал? — спросила генеральша.

— Так точно, ваше превосходительство. Сначала спросили, тут ли барышня Зиновьева, а когда я им сказал, что тут, то они сказали, что передай, мол, что я уехал на охоту.

— Хорошо, ступай!

Чаша терпения генеральши переполнилась. Тут не удался этот раут, на который она возлагала столько надежд, а тут вот этакие сюрпризы! Столько затрачено было для этого раута денег и хлопот, а собраны какие-то гроши. Шампанского почему-то не пили, и оно так уже разбавилось водой, что теперь все равно не годится. И все эти мещане-провинциалы настолько не привыкли к культурной жизни, что не умеют себя держать на балу и лепятся по стенам, как сонные мухи... О, она знает, почему у нее так скучно! Они, эти мужики, привыкли коснеть в пьянстве и картах, и если бы она сейчас приказала развернуть ломберные столы и подать водку и ржавую селедку на закуску, то разве было бы так скучно? Ах, как темна еще наша провинция, как трудно в ней работать, создавать жизнь, бороться с безнравственными поступками! Недостает теперь еще, чтобы этот Иван Федорыч отказался от женитьбы на m-lle Жюдик или этот вновь испеченный коммерции-советник перестал давать генералу взаймы — и тогда эффект будет полный!

Она подошла к мужу, и позвала его на пару слов.

— Ах, уж эти жены! — обратился генерал к Долли Слобожаниновой, сияя от восторга.— Toujours fidéles, toujours jalouses!..

Долли ласково засмеялась и, закрывшись веером, улыбалась ему глазами.

— Ну что? — обратилась к нему генеральша.— Ты говорил с Иваном Федорычем о Жюдик?

— Говорил.

— Ну и что же он?

— Конечно, отказался! Что он, дурак?

— Наотрез?

— Совершенно... Я предлагал ему протекцию, место, я все делал для него, но он отказался!

Хорошо же! Теперь она знает, что ей делать! Она не потерпит разврата в своем доме и не допустит, чтобы этому человеку вверялись судьбы непорочного юношества. Довольно! Если есть еще гражданский долг у людей, то она покажет, что она способна на него, и сумеет избавить народное просвещение от такого человека, как этот негодяй.

И она подошла к директору гимназии и долго шепотом говорила ему о чем-то, то и дело показывая глазами на учителя. Директор кивал ей головой, осклабив свое лицо, и каждую минуту целовал ей руку. С сознанием исполненного долга она отошла от директора и с торжествующим видом посмотрела на Ивана Федорыча, попрежнему угрюмо сидевшего в уголку.

— Боже мой, за что я так несчастна! — обратилась к ней Юленька Зиновьева, и слезы градом потекли у нее по щекам.

— Ничего, душечка,— утешала ее генеральша,— мы вас выдадим за другого! Найдем получше и поумнее!

— Но кого же? — спросила Юленька.

Поздно вечером, недовольная собою и людьми, генеральша лежала у себя на кушетке, возмущалась и нервно теребила платок.

— Медведи! Мещане! — восклицала она со злобой, вспоминая о своих гостях.— Чего им, невежам, еще надо?

Боже, как темна еще наша провинция, как тяжело жить с такими людьми! Здесь положительно можно отупеть, сойти с ума с такими господами. Нет, она напряжет все свои усилия, она употребит в дело все свои связи и знакомства и вытащит своего мужа из этой дыры, из этой мещанской, самодовольной берлоги.

«В Петербург! В Петербург!»

ИНТРИГА

У городского головы Михаила Емельяныча, или, как попросту его называли, Михайлы Вареникова, вышла неприятность. Губернатору захотелось построить в память одного события детский приют, и он написал Михаилу Емельянычу письмо, в котором просил его объехать местных купцов с подписным листом и о сумме пожертвований, какая соберется, его уведомить. Городской голова, считавший себя самым богатым и самым именитым гражданином своего города, оскорбился этим поручением и не исполнил его. Через несколько времени губернатор прислал ему телеграмму с вопросом, сколько именно собрано. Михаил Емельяныч ответил лаконически: «Ничего». Тогда губернатор вызвал к себе по телеграфу и его самого, и многих из его сослуживцев — гласных и обратился к ним с речью, в которой, указав на бездеятельность городского головы, просил гласных помочь столь важному делу.

— Я, господа, сам живу на жалованье,— сказал он,— и жертвую от сил моих вот эти сто рублей. Прошу вас, помогите...

Купцы засуетились, больше всех скороспелый, недавно вышедший из приказчиков, купец Ермилов, и вытащили деньги. Посыпались сотни, серии, ренты. Ермилов дал три тысячи, за что губернатор пожал ему руку и с приятною улыбкою тут же вручил ему экземпляр городового положения, а Михайла Вареников достал из бокового кармана пузатый бумажник, долго в нем рылся и, вытянув за уголок пятирублевую бумажку, положил ее на стол. Все переглянулись. Этого уж никто никак не ожидал.

Вечером Михайла Вареников возвращался на пароходе обратно и говорил ехавшим с ним купцам:

— Трудженник я, трудженник я ваш, милостивые государи... А что ежели я пятерку дал, так на то своя причина... Нешто можно меня, Михайлу Вареникова, с подписным листом на подаяние посылать? Я ведь не Ермилов какой-нибудь, я — Вареников! А для чего, позвольте вас спросить, я стал кирпич свозить и барку тесу пригнал? Я хотел приют сам на свои деньги построить и губернатору преподнести в подарок, ан вот вышло иначе... Ермилов три тысячи положил... Городовое положение получил... Что же, честь имею вас проздравить с новым будущим градским головою! Ермилов... Не знаю такого. Знаю Поросятниковых, Крохопяткиных знаю, Вареников — я сам, а Ермиловых не знаю. Таких купцов у нас не бывало. Приказчики, точно, бывали, а купцов Ермиловых не упомню.

Но все сознавали, что дни Михаила Емельяныча уже сочтены, что больше ему уже не быть головою. Но не столько им жаль было самого Вареникова, сколько не хотелось пропускать в головы Ермилова, который имел уже свою партию для предстоящих выборов и подкупал общественное мнение в свою пользу тем, что в торжественных случаях появлялся в черном фраке и со своими приказчиками разговаривал на «вы».

Был конец июня, но завернули такие холода, что с неба стали срываться снежинки. В такую-то погоду неожиданно пришло вдруг известие, что в город Михайлы Емельяныча едет с ревизией губернатор. Соседний исправник накануне дал телеграмму, что губернатор уже проследовал мимо его «епархии» на пароходе и завтра утром должен был высадиться на берег.

Конечно, всё в городе закопошилось. Вышли бабы подметать улицы, мальчишкам и старухам приказано было для порядка повыдергать под заборами траву, которая никому не мешала, городовые преобразились, раза два по улицам прокатился пожарный обоз. Отец протоиерей надел новую камилавку, а все чиновники нарядились в форменные фуражки и почему-то сбрили усы. Акцизный чиновник, служивший ранее в военных и мечтавший сделаться полицеймейстером, произвел смотр извозчикам и научил их подавать «парадцем». А сам исправник поскакал на пожарных лошадях на-

встречу пароходу, надеясь встретить его на границе уезда.

Все было бы хорошо, если бы не был такой собачий холод.

Пароход должен был прибыть в девять часов утра. Городской голова и члены управы в шитых золотом мундирах и с хлебом-солью, весь состав городской думы в установленных кафтанах и все уездные власти, случившиеся в городе, уже стояли на пристани и, без пальто, коченея от холода, ожидали прибытия парохода.

Тотчас же по приезде губернатора предполагалось провезти его в соборную церковь, где городской голова Михайла Емельянович уже много лет старостой и ктитором, потом в земский дом, а затем уже в помещение городской управы, где имел быть предложен от города завтрак с музыкой. Оркестр сыновей, братьев, племянников и внучат капельмейстера Гиршблюма должен был играть во время завтрака в прихожей.

Город вдавался мысом в реку, так что с пристани не было видно ни начала, ни конца ее, а подходящий пароход можно было увидеть только тогда, когда он был уже вблизи.

— Михайла Емельяныч,— сказал член управы городскому голове,— ты бы послал к Золотоношью махального. Как увидит малый, что пароход, мол, идет, так и пусть бежит сюда и махает. А то не ровен час...

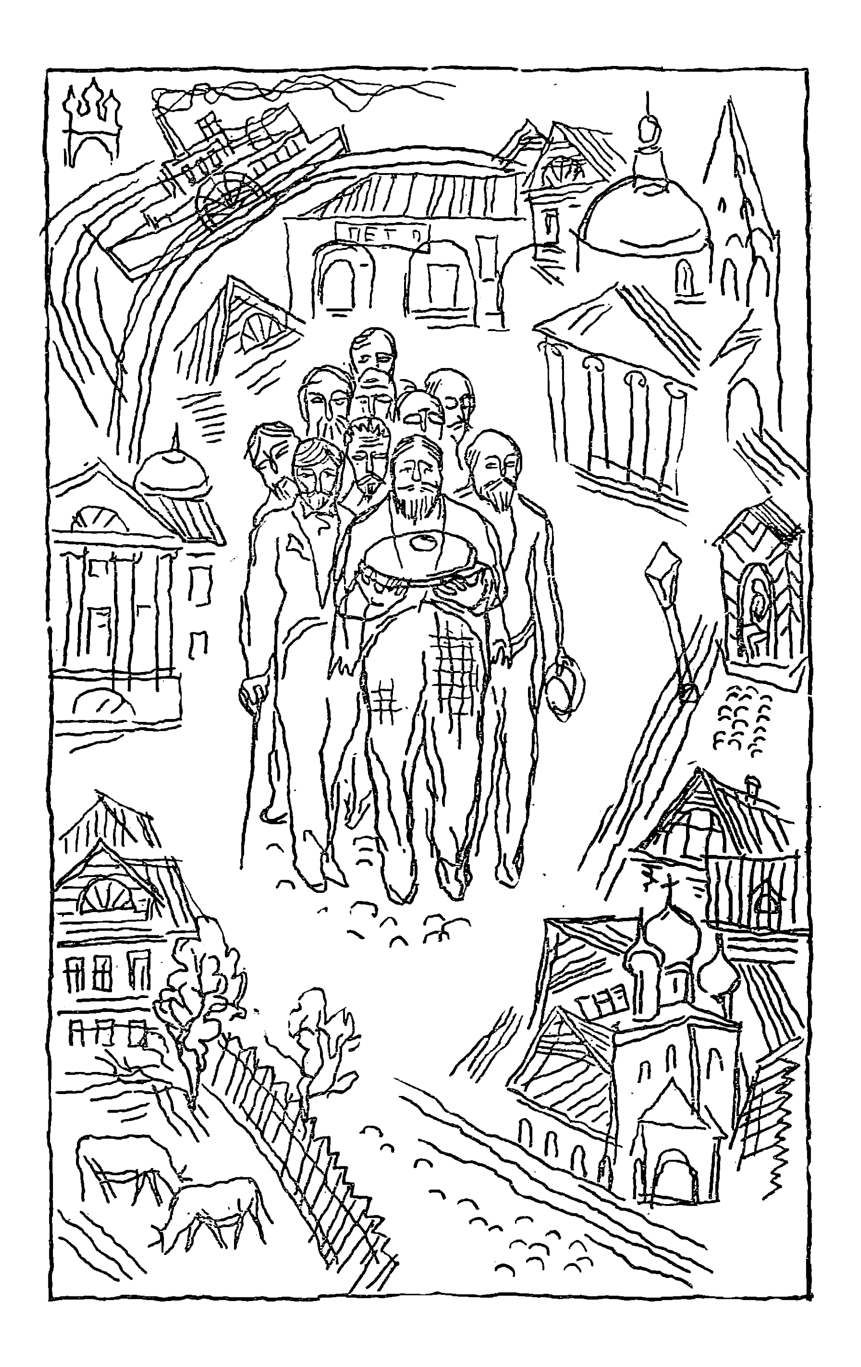
— У меня в городе все в порядке...— ответил голова.— Нечего хорониться... Все на виду. Пущай примечает. Не я ли собор под малафтит отделал и колонны в нем под сельдерик подвел? Не я ли каланчу покрасил и к благолепию города радел? Чего же мне бояться? Пущай... Труженник я, труженник я ваш, милостивые государи... А что ежели у меня с господином губернатором контры насчет приюта вышли, так уж это не по моей вине.

— Упрямец ты, Михайла Емельяныч.

— Не упрямец, а Вареников. Почетный гражданин и купец первой гильдии. Вот кто я.

Член управы махнул рукой и отошел к своим.

— Ну и холод! Этак, господа, нетрудно и простудиться.


ПЕТ П

— Просто хоть шубу надевай, а мы в одних мундиришках.

— Закостенели пальцы хлеб-соль держать.

Настали вожделенные девять часов, но пароход не появлялся. Взоры всех были жадно устремлены в сторону села Золотоношья, из-за церкви которого должен был показаться желанный гость, но надежды оказались напрасными. Пароход как в воду канул.

— Говорю тебе, поставь махального! — снова обратился к голове член городской управы.— Ведь этак ты всех переморозишь...

Было несомненно, что пароход где-то стоял на мели или же, быть может, губернатор остановился против графской усадьбы и заехал к графу в гости. Городские представители делали предположения и все еще ждали и ждали.

А тем временем у Ермилова шли длительные приготовления. Посланный им вверх по берегу верховой во весь дух проскакал восемнадцать верст туда и обратно и привез радостную для Ермилова весть, что губернаторский пароход действительно засел на мели и будет снят с помощью встречного парохода только еще разве через два или три часа. Ермилов торжествовал. Не снимая ни на минуту черного фрака, он делал приготовления, суетился, приказывал. Были раздвинуты длинные столы, поставлены столовые приборы, вина, закуски... Из кухни запахло чем-то вкусным. Лакей расставил на каждом приборе салфетки ушками кверху, а сам Ермилов обходил столы и раскладывал на салфетки еще заранее отпечатанные карточки с фамилиями каждого гласного и самого городского головы. Затем была приготовлена коляска, запряженная парой белых как снег лошадей, и до поры до времени оставлена в каретнике. Сама г-жа Ермилова оделась в роскошное бархатное платье с кружевами и с непривычки чувствовала себя в нем, как в хомуте.

Окончив приготовления, Ермилов скромненько, пешечком, отправился на пристань, где уже второй час зябли представители города, и вошел в толпу гласных. Увидав его, городской голова Михайла Емельяныч взял за пуговицу помощника исправника и, повернувшись к нему тем ухом, которое лучше слышало, так говорил ему:

— Ты, Павел Митрич, хороший господин. Я тебя уважаю. Потому я тебе это и говорю. Ермилов, говорю, себе на уме. На мое место желает. А кто он такой? Всех здешних купцов знаю. Есть Крохопяткины, есть Поросятниковы, Вареников — я сам, а Ермиловых не знаю... Таких купцов у нас не бывало. Приказчики — это, точно, были...

К холоду присоединился аппетит. Все иззябли, озяб и сам Михаил Емельяныч, и рюмочка водки с зернистой икоркой под зеленым лучком так и рисовалась у всех в глазах. А тут еще, как нарочно, сбоку протянулась гостиница купца Дудина, в которой играл оркестрион и подавались такие аппетитные грузди.

— Да-с,— воскликнул кто-то,— не мешало бы и червячка заморить!..

Это послужило сигналом ко всеобщему брожению умов. Все точно сговорились, бросились к городскому голове и стали просить его послать к Золотоношью махального. Конечно, честь честью, но ведь и есть хочется. А если пароход будет подходить к городу, то ведь махальный всегда успеет добежать до гостиницы Дудина и предупредить. А от Дудина далеко ли до пристани?

— Да пошли ты махального, Михайла Емельяныч! — обратился к голове и помощник исправника.— Разве ты не видишь, что купцы жрать хотят?

— Давайте, как знаете!..— махнул рукой Михаил Емельяныч.— Бог с вами! У меня все в порядке, а ежели что, так на вас будет лежать священнейшая ответственность. Посылайте махального!

Приказчик купца Елпатьева сел на беговые дрожки и помчался к Золотоношью. Представители города густою толпою отправились в гостиницу Дудина, и сам городской голова пошел вместе с ними. Что же касается чиновников, то они разошлись еще раньше, так как у всякого могла найтись отговорка: уездный врач мог быть позван на практику, податного позвали в канцелярию и т. п. Помощник исправника пошарил в карманах, спохватился, что позабыл дома очки, а в трактире он всегда просматривал газеты, и послал единственного у пристани городового к себе на квартиру за очками. Таким образом, вся пристань опустела.

А тем временем Ермилов не дремал. Выждав, когда

все ушли в гостиницу, он побежал к себе домой, приказал своему приказчику скакать верхом к Золотоношью, что-то долго наказывал ему, а сам сел у себя в кабинете и стал поджидать.

Доскакав до Золотоношья, ермиловский приказчик увидал махального, мирно дремавшего на берегу, а его лошадь с рассупоненной хомутиной щипала траву.

— Эй, малый! — крикнул ему ермиловский приказчик.— Приказали тебе домой ехать, а меня на твое место прислали.

Махальный поднялся, протер глаза и, сказав: «Ну что ж? По мне плевать!», поехал обратно. Он и не подозревал, что видел перед собою Эфиальта. Приехав домой, махальный распряг свою лошадь, поставил ее в конюшню и побрел в мучной лабаз своего хозяина таскать кули.

А купцы сидели в гостинице Дудина, вкушали икру, выпивали и, рассолодевши от тепла и от алкоголя, ожидали той минуты, когда их махальный прискачет к ним с извещением, что губернаторский пароход показался. И пока они пили и ели, губернаторский пароход действительно показался, но увидел его только один ермиловский приказчик. Сломя голову поскакал он к своему хозяину и, вытаращив глаза, еле мог проговорить одно только слово:

— Едет!

Ермилов, недавно еще мелкий приказчик, чудом для всех выскочивший в люди, вскочил в коляску и приказал кучеру гнать на пристань. На пристани, кроме одного только матроса-пристанщика, не было ни души, а около пристани — ни одного извозчика. Подойдя к городу, пароход описал дугу, засвистел осипшим голосом, так что о свистке можно было судить только по вырывавшемуся пару, и привалил к пристани.

— На месте! — крикнул матрос-пристанщик и выдвинул сходни.

На сходнях показалась величественная фигура седовласого губернатора, а сзади него семенил маленький, кругленький непременный член. По лицам обоих было видно, что они ожидали рапорт и встречи и сильно озадачены и разочарованы, увидев перед собою одного только Ермилова во фраке, с хлебом-солью на серебряном подносе.

— Ваше превосходительство, осмелюсь предложить от полноты чувств и признательности...— залепетал Ермилов.— Сочту за счастье...

— А! Господин Ермилов! — узнал его губернатор.— Благодарю, благодарю... А где же все остальные? Где исправник?

— Их нет-с, ваше превосходительство, были, но ушли... Господин исправник поехал к вам навстречу, а остальные... в трактире-с.

— Довольно странно... Куда же я теперь поеду? Где же мне остановиться?

— Ваше превосходительство! Заставьте вечно бога молить! Осчастливьте мою убогую хижину вашим посещением.

— Покорнейше благодарю... Но как это странно... На чем же я поеду?

— Ваше превосходительство! Осчастливьте вот этих белых лошадок... Григорий, подавай!

Не дав губернатору сообразить, Ермилов повлек его к своему экипажу и повез к себе домой. Прекрасные лошади, резиновые шины, воспоминание о пожертвовании Ермилова на приют произвели на губернатора приятное впечатление, а когда он подъехал к крыльцу ермиловского дома и два лакея во фраках распахнули перед ним двери и, раскинув коврик прямо по земле, повели губернатора под руки, старик почувствовал себя немножко дома и после холода и томительного переезда не без удовольствия взглянул на накрытые столы.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, не обессудьте...— суетился Ермилов.— Вот сюда-с. Аннушка, Настенька!.. Ваше превосходительство, позвольте мне представить вам мою жену и дочь... Младшая из них дочь-с... Григорий, поезжай в гостиницу Дудина и позови сюда городского голову и гласных! Скажи, что, мол, его превосходительство изволили осчастливить меня и остановиться здесь. Скорее!

Пока губернатор умывался и переодевался с дороги, пришли из гостиницы Михаил Емельяныч, гласные и помощник исправника и виновато, сконфуженно столпились в прихожей, точно певчие. Всем было неловко входить в дом того, которого они еще так недавно называли Федюшкой, Федором и который у всех на памяти, женившись так удачно, открыл свою торговлю, вы-

строил дом со шпицем и записался в первогильдейские купцы. Михаил Емельяныч чуть не плакал. Надо же было случиться такому горю!

— Пожалуйте, господа, входите... Не стесняйтесь,— говорил им Ермилов.— Его превосходительство сейчас вас примут... Милости просим откушать.

Купцы вошли, вышел к ним и губернатор. Ожидали громов и молний, но старик со всеми был очень любезен, и каждый был в душе доволен, что так случилось. Затем сели за стол. Обед был великолепен, но купцам не елось и не пилось. Не так им было обидно то, что они прозевали губернатора, как то, что на каждом приборе лежала печатная карточка с именем каждого. Большей обиды нельзя было и придумать. А когда после обеда лакеи разнесли не виданные дотоле в городе стаканы с теплой водой для полоскания рта, то некоторые из них выпили эту воду, приняв ее за последнее блюдо, а для других это показалось верхом профанации дедовских обычаев и купеческих традиций.

А наутро произведена была ревизия местных учреждений. У Михаила Емельяныча все оказалось в порядке, за исключением разве того, что непременный член в рубрике городских расходов отыскал «апельсины для губернатора». Оказалось, что в прошлом году, ожидая приезда губернатора, затеяли для него завтрак, а апельсины к завтраку выписали из губернии. Губернатор не приехал, завтрак принял на себя городской голова, а про апельсины забыли.

— Подлец ты! — сказал Михаил Емельяныч секретарю городской управы.— Нешто тебе трудно было вычеркнуть эти пильцыны из городских расходов? Только подводить умеете, лешманы окаянные!

— А что ж, я сам их съел, что ли? — огрызнулся на него секретарь.— Чего ругаетесь!

Через две недели были новые выборы. Чувствуя недоброе, Михаил Емельяныч отказался было баллотироваться в городские головы по расстроенному здоровью, но гласные бросились к нему с просьбами не губить их родного города. Всем было ясно, что его место займет ненавистный для всех Федюша, и это-то именно и удвоило просьбы и даже вызвало слезы. Гласные плакали, разрыдался и сам Михаил Вареников, и в конце концов дума восторжествовала. Михаил Емельяныч вы-

тер слезы, высморкался красным платком и дрожащим голосом выразил согласие баллотироваться.

— Что ж... Пущай будет по-вашему...— сказал он.— Пущай на вашу совесть ляжет священная ответственность за мое вожделенное здоровье... Я согласен.

И его вновь выбрали головою. А когда журнал заседания думы пошел на утверждение в губернию, Михаила Емельяныча забраковали. Обиженные гласные отказались наотрез от вторичных выборов, заявив, что у них нет больше кандидатов, и городской голова был назначен. Это был Ермилов. А Михаил Емельяныч сидел на ящике около своей лавки и по-прежнему говорил:

— Трудженника, трудженника город во мне лишился... Есть у нас купцы Крохопяткины, есть Поросятниковы, Вареников — я сам, а Ермиловых не знаю... Приказчики Ермиловы были, это точно, а купцов что-то не упомню...

ПО СОВЕСТИ

Всем нам было отлично известно, что муж обращался с нею чрезвычайно скверно. В нашем городе, где жизнь каждого обывателя проходит у всех на виду, буквально все знали, что Чукашов человек неважный и что жена его мученица. Детей у них не было, они жили в своем доме, по-видимому, не нуждались, и всякий раз, когда приходилось видеть ее в слезах или слышать, как он на всю улицу ругал ее, становилось за него стыдно и хотелось его спросить: «Ну чего вам недостает?» Один раз я сам был свидетелем, как Чукашов шел откуда-то с женой. Мальчишка-лавочник поливал из ведра тротуар перед лавкой. На Елене Ивановне было, как теперь помню, зеленое платье. Мальчишка плеснул из ведра водой, и несколько капель упало ей на подол. Чукашов грозно посмотрел на нее и за то, что она не подобралась, тут же на улице молча ударил ее по щеке. Это вышло так отвратительно, так грубо, что я даже не нашелся в ту минуту, что и сказать. Елена Ивановна вытащила из кармана платок, приложила его к щеке и молча, точно ничего и не случилось, пошла далее. Чукашов пел на клиросе, принимал священников, и тем страннее казались его отношения к жене. И когда вдруг разнеслась весть, что Елена Ивановна от него убежала, все мы легко вздохнули за нее и только пожалели, что она не сделала этого ранее. Пропадала она больше полугода, и все это время Чукашов ходил угрюмый и, сколько знаю, жаловался на неверность и неблагодарность жены,

— Но ведь вы же сами строго поступали с ней,— говорили ему соседи.

— Кого господь любит, того и наказует...— отвечал он с таким наивным цинизмом, против которого не хотелось даже и возражать.— Муж — глава жены, а что я ее наказывал, так это для ее же пользы! Ведь я же за ее поведение на том свете отвечать буду!

Но видно было, что и он по ней тосковал, так как очень осунулся за эти полгода, да и стыдно было глядеть людям в глаза.

Возвращение ее в наш город произошло при совершенно необычных условиях. Прямо с вокзала ее в арестантском халате и под штыками погнали в острог, а месяца через два после того — в выездную сессию окружного суда — ее судили с участием присяжных заседателей. В числе судивших ее присяжных был и я, и к тому же мои товарищи почтили меня избранием в старшины. В качестве свидетеля был вызван, между прочим, молодой человек в арестантском халате и тоже под штыками, который давал свои показания очень дельно и очень красиво. Это был уже осужденный за соучастие на поселение и уже находившийся в пути в Сибирь ссыльнопоселенец. Всей его вины было только то, что, зная, что его родственник совершил убийство, он, по доброте душевной, дал ему денег на билет и тем помог ему поскорее скрыться. Человек он был, по-видимому, образованный и принадлежал к хорошей семье.

Обвинялась Елена Ивановна в двумужии, и именно с этим арестантом.

Случилось это вот как.

Убежав от мужа, Елена Ивановна скоро была задержана за бесписьменность, и на вопрос, кто она такая, наотрез отказалась назвать себя, боясь, чтобы ее насильно не возвратили к ненавистному мужу. Ее посадили в острог за бродяжничество, как не помнящую родства. В остроге за свое примерное поведение она пользовалась сравнительной свободой и, в ожидании водворения в Сибири, ухаживала в лазарете за больными и, кажется, прислуживала на кухне у тюремного смотрителя и шила на его семью белье. Женщина она была тихая, незлобивая, с лицом монашенки и обладала той трогательной миловидностью, которая приобретается долгими годами горя и решимостью переносить

его до конца. В ней было что-то такое, что сразу располагало к себе. Есть, на мой взгляд, известная поэзия в человеческом горе, которую невозможно изобразить никакими словами, но которую ухитряется воспроизводить одна только музыка; так и в ней все было красиво, именно под впечатлением этого безнадежного, горького горя. Серый арестантский халат и беленький бумажный платочек на голове совершенно скрывали от нас ее фигуру, мы видели одно только ее лицо и слышали ее голос, и в нас сложилось не только убеждение в том, что это была не преступница, а, наоборот, мы с первого же взгляда стали на ее сторону и мысленно сказали: и хорошо поступила, надо же хоть когда-нибудь быть человеку счастливым! В остроге она познакомилась с ссыльнопоселенцем Казариновым, ожидавшим той же партии, что и она. Как человек хороший, ни в чем лично не замешанный, он тоже пользовался там сравнительной свободой, по крайней мере настолько, что они часто встречались, полюбились друг другу и женились. Венчание происходило в тюремной церкви. Для ссыльных и не помнящих родства особых документов, кажется, не требуется, поэтому для их брака препятствий не встречалось. Как выяснилось из судоговорения, сама свадьба была чрезвычайно трогательная. Посаженным отцом был сам тюремный смотритель, шаферами были конвойные солдаты, арестанты просили позволения присутствовать на венчании, и, говорят, бабы от умиления хныкали. Помилуйте, такое ведь необычное явление!

Вскоре в этот город пригнали партию арестантов, на Казаринова надели кандалы и вместе с другими, через весь город, ночью, погнали на станцию железной дороги. Ночь, звон цепей, мелодраматическое горение факелов, строгие лица солдат, крики «право» и темные фигуры, волочащие ноги по осенней грязи и озирающиеся по сторонам,— чрезвычайно печальная картина! И часто, глядя на партию арестантов, я подумывал: и зачем это люди создают спектакль из человеческого несчастья, зачем эти кандалы, когда есть штыки, зачем бедненький, молоденький офицерик шествует тут же сбоку, непременно с шашкой наголо, зачем эти опереточные факелы? Елена Ивановна ехала позади в обозе, так как была в первом месяце беременности и ее тош-

нило. Когда мы ее судили, она была уже свободна, так как вскоре же после этого и выкинула.

Партия следовала в Москву и как раз через наш город. И нужно же было случиться так, что в то время, как поезд стоял у нашей станции, тут же находился и первый муж Елены Ивановны, Чукашов. Увидев ее в окне вагона, он узнал ее, кликнул жандарма, поднял целый переполох, и бедная Елена Ивановна, привыкшая всегда бояться своего первого мужа, испугалась и на этот раз и не сумела уже больше притвориться не помнящей родства. Дали знать товарищу прокурора, наехали власти и препроводили Елену Ивановну уже в наш острог, а Казаринова повезли дальше. Только впоследствии, не знаю, по чьей уже просьбе, его вернули, так как он оказался необходимым, как свидетель, хотя показания его существенной роли не играли; вероятно, сжалились над Еленой Ивановной и возвратили ей ее настоящего для нее мужа.

И вот для Елены Ивановны начались дни испытания. Однажды мы видели, как в глубокий снег, посередине улицы, ее гнали под двумя штыками к судебному следователю на допрос. Снег был такой глубокий, что с трудом тащились сами конвойные, а она так еле волочила ноги. И когда мы после сказали нашему следователю, что невеликодушно гонять женщину через весь город, где ее почти все знают, тем более, что допрашивать преступников в полицейском управлении, кажется, не полагается и по закону, то наш милый полячок, угощавший нас такими вкусными тартинками, отвечал:

— Ну да... Я же не виноват, что за ночь выпал глубокий снег... А самому ехать в тюремный замок, знаете ли, по пустякам не стоит... Впрочем, в остроге так подло, что обвиняемые бывают довольны, когда дашь им возможность подышать чистым воздухом.

В остроге посещал Елену Ивановну ее первый муж. При свидании с ним она горько плакала, не отвечала на его вопросы и машинально брала от него то апельсин, то восьмушку чаю, то фунт сахару.

— Вот видите, Елена Ивановна,— говорил он ей всякий раз.— Вот вас господь и покарал за непослушание! Теперь вам надо бога молить да из-под ног моих юшку пить за то, что я признал вас на вокзале, а то бы вы

теперь в Сибири-то сколько нагрешили! Я за вас каждый день на проскомидию подаю.

Но вот настал день суда. Первым судили какого-то мещанина, обвинявшегося в подлоге, но оправдали. Он тут же демонстративно снял с себя арестантский халат и вышел. И для всех нас показалось странным, что человека наряжали в позорный костюм из одного только предположения, что он преступник, и только потому, что он мещанин.

Затем ввели Елену Ивановну. Войдя, она заплакала и утирала слезы кончиками своего коленкорового платка, завязанного под шеей. Потом успокоилась и на все вопросы отвечала тихо, но ясно и толково. Допрашивали, конечно, и ее обоих мужей. И нужно было только видеть этих двух конкурентов, чтобы понять, какая между ними была громадная разница! Молодой, образованный человек, нежный к людям, оттого и пострадавший сам, и вязовая дубина, опиравшая свою власть над женой на известное изречение о том, что жена да убоится мужа своего, и строившая всю систему своего домашнего обихода на власти и страхе.

— Елена Ивановна постоянно меня ослушивались,— говорил Чукашов,— и ежели я когда их и учил немного, то за дело. Потому, как муж, я за них должен перед господом отвечать...

А Казаринов говорил так:

— Я лежал в тюремной больнице и увидал там впервые Лену. Она ухаживала за мной. Кто она, что она и за что была посажена в острог, я не знал, но я видел в ней хорошего человека, прекрасную душу, искренне полюбил ее и как милости просил у нее быть моей женой.

Повторяю, для всех и каждого на суде было ясно, что житье обвиняемой с Чукашовым было несладкое и что если сам Чукашов не сидел теперь на скамье подсудимых за истязание, то только благодаря какому-то стихийному стечению обстоятельств в его пользу, тому самому стечению, которое послужило во вред его конкуренту Казаринову. И мы, присяжные, решили, что именно в этом деле мы поступим так, как того требует наша совесть, что бы ни предлагали нам представители обвинения и защиты. Уверяю вас, несколько раз я порывался встать с места, чтобы просить у председателя

позволения сообщить суду о той пощечине, которою в моем присутствии наградил Елену Ивановну Чукашов. Но я был не свидетель, а присяжный, и мое заявление могло бы нарушить форму и, пожалуй, дать повод прокурору отвести меня.

После допроса свидетелей начались прения сторон. Товарищ прокурора сказал речь мрачную, хотя и не скрывал от присяжных возможности насилия со стороны первого мужа, говорил долго о святости союза семейственного, доказал наличность преступления и в заключение почему-то два раза повторил одну и ту же фразу:

— Надеюсь, господа присяжные заседатели, что вы обвините ее без всякого снисхождения!

Затем говорил защитник. Это был еще совсем молодой человек, вероятно, только что из университета, назначенный от суда и еще не умевший свободно держаться. Но говорил он искренне, с увлечением и, помоему, вовсе не хуже товарища прокурора. В заоблачные сферы он не залезал, а всю свою защиту строил на наличности истязания и на неизбежности того выхода из положения, который повлек за собою двумужие. Вот как он закончил свою речь:

— В браке обвиняемой с Чукашовым не было брака. В нем была одна только форма, без святости, без любви. Непомерная жестокость обращения выкинула подсудимую из ее семьи, осудив ее на все несчастья бродяги. В браке с Казариновым, освященном тоже церковью, оказалось гораздо больше и смысла, и святости, и любви. Виновен ли человек в том, что, лишив себя добровольно всех прав состояния, он получил взамен этого право любить и с этой любовью в сердце хотел идти на край света со своим новым супругом? Здесь не было места плотской любви, здесь был брак, освященный церковью, и с точки зрения обвиняемой он был законным потому, что она добровольно лишила себя всех прав состояния, и это лишение было признано даже начальством. Вот почему я прошу вас, господа присяжные заседатели, о полном оправдании подсудимой!

Возражений на речи ни со стороны защитника, ни со стороны прокурора не последовало, и председатель приступил к резюме. Как водится, он ничего нового не выяснил, но заключил свою речь так:

— Или вы, господа присяжные заседатели, ее обвините, или вы ее оправдаете: среднего пути для вас быть не может!

«Почему же не может? — подумали мы.— Наша совесть в нашем распоряжении: как она прикажет, так и поступим. Там видно будет!»

И мы отправились в свою комнату.

Совещались мы довольно долго, гораздо дольше, чем предполагали. Одни мои товарищи стояли за полное оправдание, другие — посерее — за полное обвинение... И те и другие были по-своему правы. Но для всех нас факт двумужия был налицо. Если бы мы судили ее за бродяжничество, то мы прямо сказали бы: «Нет, не виновна», но мы судили ее за двумужие, а это двумужие не стояло ни в какой причинной связи с жестокостью мужа и с ее бродяжничеством. Следовательно, в двумужии она была виновна. Это говорила нам и наша совесть. Но та же совесть заставила нас принять во внимание все обстоятельства этого дела и дать ей снисхождение.

И мы ответили:

— Да, виновна, но заслуживает снисхождения.

Не могу вам описать того негодования, которое безмолвно пронеслось в ту минуту по зале суда по нашему адресу. Защитник засуетился на месте, товарищ прокурора безнадежно махнул рукой, а председатель укоризненно покачал головою. Точно всем им хотелось крикнуть на нас:

«Какое вы дурачье!»

Затем суд удалился на совещание о мере наказания. Елену Ивановну присудили к какому-то отсиживанию, церковному покаянию и к возвращению к первому мужу. Брак ее с Казариновым был признан низким.

Когда ее забрали, ко мне подошел товарищ прокурора и спросил меня:

— Отчего вы ее не обвинили без снисхождения? Ведь я же просил вас об этом! Тогда она пошла бы в ссылку вместе со своим вторым мужем!

— Мы судили по совести,— отвечал я.

Потом подошел ко мне защитник.

— Что вы наделали! — воскликнул он.— Ведь я же просил вас об оправдании! Тогда бы ее первый брак

считался низким, и она пошла бы за своим вторым мужем в Сибирь добровольно!

И на это я ответил:

— Мы судили по совести.

Наконец подошел и председатель.

— Ай-ай-ай! — сказал он.— Так все было очевидно, а вы постарались... Ведь я же говорил вам: «Или вы ее оправдайте, или вы ее обвините, среднего пути для вас быть не может», а вы дали ей снисхождение и испортили этим все дело! Ну можно ли так?

Я ничего не ответил. Мне не хотелось огрызаться.

А придя домой, я горько заплакал, что загубил чужую жизнь.

ОТ СКУКИ

— Выпить водки, что ли? — сказал судебный следователь и налил по рюмке.

Стояла глубокая осень, и жизнь текла, в общем, так тоскливо и безнадежно, что хотелось плакать. Было все переделано, все перечитано, в уезд нельзя было ехать из-за распутицы, и наступило то время провинциального безделья, когда начинает мучительно тянуть в Петербург, в Москву, к звукам оркестра, к свистку локомотива... Клуба в городе не было, почта приходила только два раза в неделю, вся интеллигенция состояла из судебного следователя, акцизного и податного инспектора, и поневоле им приходилось коротать время всем вместе у того из них, кто первый к себе зазывал. Выпивали зря и помногу.

— Да,— говорил акцизный.— Вы только рассудите, какой бы леший заставил нас лезть в эту трущобу, если бы не было двадцатого числа? Благодаря голоду мы лезем в эту глушь и губим свою молодость, свою жизнь из-за одного только жалованья... Подумайте-ка хорошенько!

— Что ж делать? — вздохнул податной.— Такова уж наша судьба!

— А чем же дети-то наши виноваты? — воскликнул акцизный.— Ну хорошо, мы сами себя толкаем в эту добровольную ссылку, потому что нам жрать хочется и прочее, а за что мы губим наших детей? Где нам учить их? Где здесь гимназия? Черта с два! Гимназий здесь нет на двести верст вокруг, а везти мальчишку в губернский город — значит расстаться с ним на восемь

лет, да и нет средств содержать его там. Тысячу лет обходятся здесь без просвещения и довольствуются одним только дореформенным уездным училищем... Просто беда, да и только!

Порыв ветра ударил дождем по стеклам. По улице кто-то прошел с фонарем, и слышно было, как шлепали по грязи чьи-то ноги. На кладбищенской церкви стали ударять часы. Пролетел тихий ангел, и сделалось грустно.

— А хорошо теперь, должно быть, где-нибудь на Кавказе или в Крыму! — сказал податной.— Тепло, плещется море...

— И у нас в Петербурге теперь хорошо,— вздохнул следователь.— Невский... Электричество... Красивые женщины...

В доме на противоположной стороне появился в окне сосед в светлом халате. Потом он отошел, потом зажглись две лампадки, одна зелененькая, другая красненькая,— и весь дом улегся спать.

— Да войдите же в мое положение, господа! — воскликнул акцизный.— Ведь не могу же я, университетский человек, ограничиться для сынишки уездным училищем!

— Да, положение безвыходное...— согласился следователь.— Остается только порадоваться, что у нас нет детей...

Со звонками проехала запоздавшая почта. Ее ожидали еще в седьмом часу вечера, но по случаю грязи она запоздала до двенадцати ночи. Вспомнили, что, дожидаясь ее, почтмейстер каждые десять минут выпивал по рюмке водки, выпили и сами по последней и стали прощаться. Ужасно не хотелось уходить, но было уже поздно, и сознание, что, сколько ни сиди, все так же будет, тянуло домой. Следователь зажег свечку и без шапки и без калош пошел запереть за гостями калитку, и целые потоки дождя полились ему прямо на голову. Дойдя до ворот, гости остановились и, все еще не решаясь расходиться, стали переминаться с ноги на ногу.

— А знаете что, господа? — сказал вдруг следователь.— Пойдемте к Розе Марковне!

— Да нет... что уж... Впрочем, пожалуй...— ответил податной.

— Далеко больно, а то бы и я вас проводил,— сказал акцизный.— Да, пожалуй, пойдемте!

Следователь сходил в комнаты, надел пальто, и, раскрывши зонтики, приятели побрели. Деревянные тротуары сменились тротуарами из простого булыжника, нежданно-негаданно обрывались и вдруг начинались снова, так что в темноте можно было только пожалеть, что они были.

— Беда, беда! — начал акцизный, громко шлепая по грязи.— Вот мы идем с вами, недовольные жизнью, а городишко спит, доволен, и в своем самодовольстве только удивляется на нас... Чего, дескать, мы еще хотим? И все от этого самодовольства здесь серое — и заборы, и дома, даже само небо. И это убогое уездное училище не в силах пробудить в здешних обывателях сознание того, что жизнь сера, что из тех же досок и бревен можно строить гораздо лучшие дома, из той же капусты можно сварить не такие вонючие щи. И от серого, монотонного фона жизни является скука, а от скуки — пошлость, сплетни и... разврат.

— Перестаньте... — сказал податной. — Надоели! И без вашего нытья скучно!

— Ну черт с вами! — огрызнулся акцизный и замолчал.

Свернули влево. Здесь уже не было никакого освещения, потянулись заборы, пустыри, опять заборы, и наконец в темноте обрисовался дом с подвальным этажом и парадным крыльцом.

— Кажется, здесь...

Постучались в ставень, в середине которого сердечком была вырезана дырка для света. В сердечке не было видно огня, и весь дом, казалось, глубоко спал.

— Кто там? — послышался голос по ту сторону двери.

— Здравствуйте! Можно к вам?

— А вы кто такие?

— Свои...

Тяжелый крюк с шумом поднялся, и, щурясь, с закопченной лампочкой в руках, с челкой, в которой палками торчали развившиеся волосы, заспанная девушка отворила им дверь.

— Погодите, я засвечу в зале огня,— сказала она.— Андрей, вставай, гости пришли.



Мокрые, грязные, они вошли в переднюю. При их появлении с полу поднялся лохматый, неопрятный Андрей и стал раздевать их. Отрезвевшие от дождя и от долгой ходьбы по слякоти, они сразу почувствовали душный, спертый воздух, и в душе у них появилось сожаление о том, что они сюда пришли, но девушка зажгла лампу, и им казалось неловким уйти назад.

— Сейчас...— сказала она и вышла.

За дверьми послышался шепот, и минут через пять в залу вошла толстая Роза Марковна, потом три барышни...

— Роза Марковна, матушка...— обратился к ней податной, чтобы как-нибудь смягчить настроение и приподнять тон.— Нам бы пивка!

Андрей подал пиво. Барышни, точно давно уже сгорая от жажды, набросились на него и мигом его выпили. Потребовалось еще пива. А оно противное — такое же, как и Роза Марковна, и барышни, и Андрей... Его надо было выпивать сразу, чтобы не слишком чувствовать, как оно неприятно.

Акцизному стало гадко и захотелось вдруг домой.

— Ну, братцы,— сказал он,— пора и домой... Спать хочется...

— Беспокойный человек! — крикнул на него следователь.— Дайте хоть отдохнуть-то немножко!

Роза Марковна ушла распорядиться по хозяйству, две барышни пошли показывать приятелям свои наряды, а акцизный остался один с полной, сплошь покрытой веснушками, блондинкой. Она села около него и стала раскладывать на коленях карты. Чувство гадливости обуяло все его существо, но, чтобы подавить его в себе, он выпил сразу целый стакан пива и, заложив в карманы руки, прошелся из угла в угол по покатому полу.

— Отчего это у вас пол кривой? — спросил он, чтобы только о чем-нибудь заговорить.

— По нас и этот хорош...— ответила блондинка.— Угостите наливкой!

«Говорят, что у них, у этих девиц, вполне отсутствует серьезное мышление,— подумал акцизный.— О чем бы ее еще спросить? А вероятно, в судьбе каждой из них есть своя трагедия, которая довела их до

такого положения, когда оставался только один выход...»

Он прошелся еще раз, прислонился спиной к печке и стал соскребывать зубами с языка противный налет от пива. Фу, гадость какая!

«А впрочем, черт их знает! — продолжал он думать.— По-видимому, они себя недурно чувствуют... Но как это пошло, противно, гадко!.. И неужели это обязательно необходимо? Неужели борьба за существование, которая мешает, говорят, молодым людям рано жениться, может оправдывать необходимость в Розе Марковне и ей подобных? Лишая молодежь женитьбы, неужели она, эта борьба за существование, дает ей в этих барышнях то, что мы требуем от жены, от матери нашего ребенка?.. Как это глупо, ненормально, нездорово!.. И полно, играет ли тут роль борьба за существование? Неужели же и здесь, в этом глупом, захолустном городишке, где, кажется, даже безусого парня стараются оженить как можно скорее, она так же сильна, как и в больших центрах? И если она так сильна, что оправдывает собою существование в городишке Розы Марковны, то неужели же еще большею она должна быть для того, чтобы в нем появились учебные заведения, газета, ежедневная почта, порядочные врачи?..»

И вспомнилось ему, как в городе появилась Роза Марковна.

Два года тому назад, часов в двенадцать дня за ним пришел городовой и сказал ему, что исправник просит его к себе в полицейское управление, по делу. Когда он пришел в полицейское управление, он встретил там всех своих товарищей по службе. На столе стояло закутанное в грязный коленкор зерцало, сбоку сидел рябой секретарь и ковырял пером по бумаге. Исправник восседал во главе стола... Когда акцизный вошел, все хохотали и по рукам у них ходила какая-то бумага. Оказалось, что это прошение Розы Марковны, ходатайствовавшей о разрешении содержать нахлебниц.

«Ну что ж, господа, будете поддерживать коммерцию? — спросил исправник.— Разрешать или не разрешать?»

«А какие формальности?» — спросил акцизный.

«Да никаких!»

Похохотали, побалагурили, пошутили... Отчего же и

не разрешить? Все-таки лишняя забава в городе! А то ведь такая скука!

И вот появилась в городе Роза Марковна... Как это просто! Где же здесь борьба за существование, тяжкая необходимость?

Гадко, гадко! Так гадко, как еще ни разу в жизни не было гадко. Акцизного потянуло вон, скорее на чистый воздух, где он не будет больше задыхаться от той вони, от этой грязи, которая так откровенно била в глаза.

— Скажи им, что я не дождался и... и ушел! — пробормотал он и направился к выходу.

Гнусная, преступная, заспанная рожа Андрея высунулась из-за двери и подала ему пальто и галоши.

Ах как ему захотелось вдруг размахнуться и ударить по этой роже изо всех сил, да так, чтобы во все стороны полетели брызги!..

СИНИЙ ЧУЛОК
повесть

1. В УСАДЬБЕ

Софье Михайловне было ужасно стыдно. Она дала понять доктору Заречному, что увлечена им. Он строго посмотрел на нее и, не ответив ни слова, как будто обиженный, уехал домой. Она ходила в волнении по дорожкам сада, то и дело хватаясь за виски и за пылавшие щеки и не зная, куда деваться от охватившего ее стыда.

— Боже мой, что я наделала! Что я наделала! — говорила она, боясь поднять глаза и посмотреть вокруг себя.

К чувству стыда примешивалось чувство обиды на то, что так неудачно должен был закончиться ее роман с этим человеком, за которым она готова была пойти хоть на край света. Она полюбила его с первого же его визита к ним, когда он только что занял место земского врача недалеко от их усадьбы и приехал к ним познакомиться. Ей было двадцать два года, но он был ее первой любовью. Она мечтала о нем среди ночей, готова была симулировать болезни, чтобы только повидаться с ним лишний раз. Она посылала за ним из-за малейшего пустяка, видела, что это обижало его, но не могла победить себя. Заречный приезжал к ним иногда в свободные часы, и Софье Михайловне казалось, что он приезжал только для нее одной, но всякий раз он держал себя с нею как-то замкнуто, точно боясь ее, и ей хотелось ободрить его, закричать ему, что бояться нечего, что он желанный гость, что здесь, быть может, их общее сказочное счастье. Но он уходил в себя, и она никак не могла проникнуть в тайники его души. Он

уезжал домой, она провожала его, а затем бегом бросалась через весь сад на горку, чтобы только увидеть, как он проедет на тарантасе или верхом по озимому полю и скроется за березовым леском. Глядя на этот лесок, она долго просиживала на скамейке на горке, мечтая о нем, о себе, о своей будущей жизни, и ее наполняли счастье молодости и сладкое чувство первой любви. Спускались вечерние сумерки, ароматы и звуки вечера становились сильнее; а она все сидела и вдруг, закрыв лицо обеими руками, начинала плакать. Ей было стыдно своих слез, но она не старалась сдерживать себя и, наплакавшись, уходила домой. В столовой в это время уже кипел самовар, и ее мать, Марья Андреевна, сидела у стола и, быстро семеня пальцами и глядя по-старушечьи поверх очков, вязала чулок в ожидании детей к чаю. В зале каждый вечер составлялся дуэт. Брат Серж играл на рояле, а его товарищ Чубинский, приехавший из консерватории еще в прошлом году погостить, да так и оставшийся в усадьбе, играл на виолончели. Софья Михайловна выпивала свой чай и, уйдя в гостиную, в которой редко когда зажигали огонь, усаживалась с ногами на диван, обхватывала руками колени и под звуки музыки уносилась в мечтах далеко.

Семья Игнатьевых состояла всего только из трех человек: матери — Марьи Андреевны и ее детей — Сержа и Софьи Михайловны. Отца не было. Он умер уже давно и был погребен вместе со сродниками в фамильном склепе под церковью села. Имение было сдано в долгосрочную аренду мужикам, вдова с детьми владели одной только усадьбой, жили на арендные деньги и, в общем, не нуждались. Софья Михайловна окончила курс гимназии в городе и уже четвертый год жила безвыездно при матери, а Серж тотчас же по окончании реального училища поехал в Петербург в консерваторию, но ему там почему-то не понравилось, он вышел из нее, возвратился к себе в усадьбу и вот уже пятый год ничего не делал.

Приехав в усадьбу, Чубинский на второй же месяц увлекся Софьей Михайловной и объяснился ей в любви. Это был высокий, тонкий, лохматый поляк из Вильны, где у него была мамаша, присылавшая ему по двадцать пять рублей в месяц. Судьба не сулила ему блестящего будущего. Он знал это, не требовал от жизни больше

того, что она могла дать ему, и нежно привязался к семье Игнатьевых. Перед тем как объясниться Софье Михайловне в любви, он долго придумывал выражения покрасивее и, когда встретил ее в саду одну, стал перед нею на колени прямо на песок и сказал ей о своем чувстве. Это поразило ее, она не нашлась, что ему ответить, и убежала из сада, а он возвратился в дом, и с тех пор она уже ни разу не услышала от него ни малейшего намека на то, что он ею заинтересован.

Чубинский помещался в маленьком флигельке, состоявшем всего из двух комнат, выходивших окнами в сад. Когда приезжал Заречный, он уходил к себе во флигелек и, не зажигая огня, начинал играть на виолончели. Виолончель была довольно посредственная, но в такие вечера, когда запах от цветов смешивался в воздухе с трескотней насекомых и когда из флигелька вдруг начинала доноситься музыка, выходило очень недурно и трогало за душу. Софья Михайловна чувствовала, что Чубинский страдает, и это ее мучило.

— Бедный Чубинский! — говорила она, заслышав виолончель.— Он мне почему-то напоминает тургеневского Лемма.

Каждую минуту ей казалось, что вот-вот Заречный объяснится ей в любви, но он упорно обходил молчанием всякие намеки на нежное чувство и только не то строго, не то пристально смотрел ей в глаза.

Как-то раз Заречный провел у Игнатьевых три вечера сряду. Марья Андреевна не выходила из дому и раскладывала пасьянсы, на Сержа напало музыкальное настроение, и он до глубокой ночи разыгрывал с Чубинским дуэты, и все три вечера Заречный провел с одной только Софьей Михайловной. Они гуляли вместе по усадьбе, а когда спускались сумерки, садились на горке и молчали. Софье Михайловне было ясно, что он приезжал в эти вечера именно для нее одной, что-то подсказывало ей, что он ее тоже любит, но какая-то стена вырастала всякий раз между ним и ею, и они сидели и молчали.

По ту сторону реки парни и девки водили по деревне хоровод, в сирени звонко пел соловей. Заходила туча, и по ней без всякого грома вспыхивали в разных концах лиловые молнии, точно играя между собою в прятки. Было так тихо, что деревья не шевелились. Ве-

роятно, в ожидании грозы лягушки притихли, но вместо них где-то сбоку сада заскрипели два коростеля. Снизу, в открытые окна доносились из дому звуки рояля и виолончели, и было похоже на то, как в хороших театрах обставляют на сцене лирические картины. Хотелось жить.

Заречный сидел, опершись локтем о коленку и положив подбородок на кулак; он смотрел куда-то вдаль, не мигая, а Софья Михайловна откинулась на спинку скамейки и тихонько, машинально, ударяла себя веткой по ладони.

— Николай Николаевич, возьмите меня замуж...— вдруг сказала она умоляющим голосом и — испугалась своих слов.

Он вскочил, засуетился, посмотрел на часы и, стараясь сделать вид, будто не расслышал, вдруг засобирался домой.

— А мне, однако, уже пора...— заговорил он.— Как хорошо поют на деревне!.. До свиданья, Софья Михайловна... Кланяйтесь маме!

И он широко зашагал вниз по дорожке, хлопнул калиткой, и вскоре она услышала, как он проскакал на коне по ту сторону сада. Она чувствовала, как ноги ее стали подкашиваться и как сильно забилось ее сердце. Чувство тяжкого стыда овладело вдруг всем ее существом. Вместе с тем, как-то в один миг, все смешалось, сделалось кругом темно и безнадежно и потеряло для нее всякий смысл. Она ходила по дорожкам сада, и ей казалось, что она валится в какую-то яму, откуда ей уже не выбраться никогда, что счастье потеряно для нее безнадежно и навсегда и что этим своим признанием она навеки уронила себя в глазах человека, которого любила.

— Что я наделала! — восклицала она, хватаясь за виски.— Что я наделала!

Слезы отчаяния катились у нее по щекам, ей было жалко и обидно, и в то же время откуда-то из глубины души поднималось чувство злобы на самое себя, и ей хотелось броситься на землю, биться головой о стену, умолять... И то, что прежде казалось ей прекрасным, возбуждало в ней жажду к жизни, теперь стало для нее лишенным всякого интереса, унылым, потерявшим смысл. Пели девки и парни, по-прежнему щелкал соло-

вей и дергали коростели; но девки и парни почему-то вдруг стали петь одно только печальное, а в пении птиц вдруг стали слышаться одни только грустные ноты. Софья Михайловна подошла к ограде сада и долго смотрела на поле, а потом положила голову себе на локти и заплакала, часто вздрагивая плечами.

— Господи! — говорила она.— Да неужели же я могла это сделать?

Туча уже выдвинулась настолько, что закрыла собою половину неба. Вспыхивали яркие молнии. На деревне уже перестали петь, и все кругом смолкло. Издалека донеслось ворчание грома. Вдруг весь сад зашумел, ветер пронесся по дорожкам, перескочил через ограду и побежал по озимой ржи. Внизу, в доме, захлопали окошками, и слышно было, как кто-то приехал и как забегали и засуетились на дворе.

— Соня! — раздался снизу голос Марьи Андреевны.

Софья Михайловна подняла голову и побрела домой. Две-три капли дождя упали ей на руки и на лицо. Дверь на балкон оказалась уже запертой, и она прошла через парадное крыльцо. В прихожей на столе лежали запыленные накидка и старомодная шляпа: приехала из своей усадьбы тетушка Любовь Андреевна. Это была вдова, занимавшаяся спиритизмом, веровавшая в духов и лечившаяся гомеопатией. Когда-то, еще в крепостные времена, отец ее запорол крестьянина насмерть, и духи сказали ей, что за этот грех ее отца с нею должно случиться нечто ужасное. Этого ужасного она ожидала со дня на день, боялась всякого пустяка и грозы, и, где бы ни застала ее туча, она прямо с дороги сворачивала даже в незнакомую усадьбу и ходила по комнатам с таким видом, точно вот-вот на нее сейчас обвалится потолок.

Не входя в столовую, Софья Михайловна поднялась к себе наверх и, как была, не раздеваясь, упала на постель и прижалась лицом к подушке.

Раздались на лестнице тяжелые шаги, и в комнату вошла Марья Андреевна с неизменным чулком в руках и с очками на самом кончике носа. Она увидела Софью Михайловну лежавшей на кровати и подошла к ней.

— Ты здесь? — сказала она.— А я тебя ищу... Тетя Люба приехала!

Софья Михайловна не отвечала.

— Что с тобой? — испугалась Марья Андреевна и приложила ей руку ко лбу.— Нет, жару нет! Тетя Люба приехала!

— Оставь меня, мама, я больна...— сказала Софья Михайловна и засунула голову под подушку.

Марья Андреевна засуетилась, побежала вниз и послала верхового за доктором Заречным. Раздались удары грома, дождь забарабанил по крыше и по стеклам, и молния осветила весь двор. Серж, заложив руки в карманы пиджака, ходил по столовой, Чубинский скромно сидел в уголку и перелистывал ноты, а Любовь Андреевна то и дело принимала какие-то зернышки, приседала от каждого удара грома и говорила:

— Сейчас должно случиться нечто ужасное!

Марья Андреевна сидела наверху у дочери и приставала к ней с расспросами, что у нее болит.

— Мамочка,— умоляла ее дочь,— уйди, пожалуйста! И без тебя тяжело!

Привыкшая слепо повиноваться детям, Марья Андреевна сошла вниз и стала терпеливо дожидаться доктора.

Вернулся верховой и сказал, что доктор приехать не может.

— Что, он занят или собирается куда? — спросил его недолюбливавший Заречного Серж.

— Никак нет...— отвечал верховой.— Они читают.

— Как же он тебе ответил?

— Они сказали: передай, говорят, им, что я читаю.

Серж встрепенулся, тряхнул длинными волосами и удивленно поглядел вокруг.

— Что же это такое, господа? — проговорил он.— Где мы, среди зулусов или готтентотов? К девушке приглашают врача, а он отказывается ехать, и только потому. видите ли, что они изволят читать! Какая подлость! Какое нахальство! И этот человек смеет называться священным именем врача!

И он сел за стол и написал Заречному записку:

«Вас пригласили к больной сестре, и вы отказались приехать. Не нахожу оправдания вашему поступку. Так врачи не поступают. Надеюсь, что вы понимаете меня и оцените то, что я ограничиваюсь только этим письмом».

«Не надо! Не посылайте!» — хотел было сказать ему

Чубинский, но из благоговения перед Сержем не мог на это решиться, а Серж запечатал это письмо и, дрожа от гнева и широко раздувая ноздри, с тем же верховым послал его Заречному. Наверху рыдала Софья, у Марьи Андреевны по обеим щекам струились слезы, а Любовь Андреевна принимала крупинку за крупинкой и то и дело повторяла:

— Сейчас должно случиться нечто ужасное!

— Да уж случилось!..— проговорил Чубинский, давно понимавший, в чем дело, и, поднявшись из своего угла, побрел к себе во флигелек.

Дождь уже перестал, но молнии все еще вспыхивали и освещали лужи.

Чубинский пришел к себе, ему хотелось перед кем-нибудь высказаться, излить свою душу, но не было перед кем; он вынул почтовую бумагу, достал перо и написал: «Милая мамаша!»

А потом он долго придумывал, о чем бы ему написать, но неспособность к творчеству взяла над ним перевес, он скомкал лист бумаги и бросил его под стол.

— Бездарная скотина! — пробормотал он, лег и укрылся с головой.

2. ДНЕВНИК ДОКТОРА

3 января. Приехал сюда совсем. Кроме меня самого, акушерки Анны Кузьминичны и фельдшера Ивана Макарыча, во всей больнице ни единой души. Все кругом грязно и ветхо, в окна дует, печи не греют, и не хватает лекарств. Кругом наметены сугробы, и после Петербурга как-то непривычно-дико. В версте виднеется одинокая станция железной дороги, и по целым дням около нее почему-то простаивают товарные поезда.

5 января. Ах какая скука! Сегодня принял сорок больных, утомился, но все-таки ужасная тоска. Это с непривычки. Иван Макарыч советует съездить к соседним помещикам Игнатьевым. Говорит, что люди хорошие и «моего» круга. Надо будет съездить.

28 января. Ездил в Поповку на эпидемию. Становой дал знать слишком поздно, и когда я приехал туда, в первой же избе натолкнулся на покойника. Иду во

вторую — там тоже. Кругом невылазная бедность, хроническое недоедание, теснота, не во что одеться. На крышах нет соломы, и дворы и риги наполовину разобраны на отопление. В одной избе видел двух тифозных больных, отца и мать, при них малые детишки абсолютно голодные и холодные, и тут же, в избе, лежит и корова, отморозившая себе ноги в полуразобранном хлеву. Возвратился в больницу — и тут сюрприз: скончался семенковский бондарь. Тяжело. Снег валит, в пять часов уже темно, и такая тоска, что хочется плакать. Как я жалею, что я не женат!

4 февраля. Ездил в город ругаться с управой из-за лекарств. Не хватает даже иодоформа. Председателя (он же и предводитель) не застал. Сказали, что приезжает из Москвы только раз в месяц, каждое 23-е число, на уездный съезд. Один из членов уехал в Рожествено на освящение школы, а меня принял другой, Липатов, человек серый и некультурный. Как жаль, что наша интеллигенция так мало интересуется земскими делами и не служит по земству! Дело живое, обильное, а делателей мало.

5 февраля. Приезжала сегодня какая-то странная дама. Маленькая, сморщенная, с острыми испуганными глазами. Она ехала со станции, но испугалась поднявшейся метели и завернула ко мне. На ней не было лица, и вся она дрожала. «Сейчас должно случиться нечто ужасное!» — сказала она, но, не дождавшись этого ужасного, уехала. «Отчего вы не познакомитесь с Игнатьевыми? — спросила она, прощаясь со мной.— Там очень весело, есть барышня, молодежь...» Было похоже на то, что ее подослали. Я не знаю провинциальных нравов, но мне так показалось.

7 февраля. Сегодня я был у Игнатьева и доволен, как школьник. Большая старинная усадьба, с садом, поднимающимся в гору. Перед домом, очевидно, цветник, так как из-под снега видны скамейки и куртины. Кругом все исправно и благообразно. Едва только я въехал, как из людской выскочил в одной кумачовой рубахе и в валенках мужик и стал меня ласково освобождать из саней. От его потной спины шел пар. Когда я вошел в дом, то слышны были звуки рояля и какого-то струнного инструмента. Я вошел в столовую. Тепло, уютно и культурно. Выбежала маленькая собачка и за-

лаяла. Вслед за нею в столовую вошла барышня лет двадцати двух — двадцати трех, высокая, стройная, с несколько неправильными, но славными чертами лица. Одета она была в гладкое черное платье, плотно облегавшее ее фигуру, с белыми манжетами и воротничком. Я представился ей, она сказала, что давно слышала обо мне, повела меня в гостиную. Здесь я увидел ее мать. Тип старой, добродушной помещицы.

— А мы вас поджидали,— сказала она.— Неужто, думаем, он к нам приедет только тогда, когда захвораем?

Я ответил из вежливости, что собирался к ним давно, но что все не пускали дела.

Вышел молодой человек, которого называли Сержем: это сын старушки и брат барышни. У него артистический вид и выразительное лицо. Одет он был в бархатный пиджак. Вместе с ним вошел высокий, долговязый, лохматый господин, которого мне представили как друга Сержа. Звали его прямо по фамилии: Чубинский.

Я приехал только с визитом, но меня не пустили, оставили пить чай, а потом задержали до ужина. Маменька смотрела на меня радостными глазами. Софья Михайловна участливо расспрашивала меня о службе, пациентах, говорила о труде, но мне показалось это рисовкой. Серж и Чубинский очень мило играли. За ужином я разговорился с Сержем о земстве. У него, по-видимому, честное отношение к земскому самоуправлению. Узнав, что он уже пятый год живет в усадьбе и нигде не служит, я спросил его, отчего он уклоняется от службы по земским учреждениям и почему бы ему не быть членом управы.

— Сами не выбирают,— отвечал он,— а кланяться и просить я не намерен.

Обязательно буду пропагандировать его в члены управы.

10 февраля. Я опять сегодня был у Игнатьевых! Мне у них очень нравится! Точно я в родной семье. Мы поем, разговариваем, мечтаем о лете. А еще говорят, что в провинции нет хороших людей!

23 февраля. Ездил в город повидаться с предводителем и поговорить с ним о необходимости ремонта и об увеличении кредита на медикаменты. Разговорились об

Игнатьевых. Я ему намекнул о Серже, что недурно было бы его провести в члены управы.

— А вы знаете, это идея! — радостно воскликнул председатель (он же и предводитель).— Липатов глуп, да и надоел. Это блестящая идея!

Мы простились, и я уехал. Проезжая мимо Игнатьевых, я не утерпел и завернул к ним.

Мне очень нравится Софья.

1 марта. Сегодня ко мне заехали Софья с Чубинским и силком утащили меня к себе. У них были гости: какой-то молодой человек в поддевке, жаловавшийся, что ни в ком не находит сочувствия к травосеянию, и две барышни — учительница и дочь попа. Досидели до поздней ночи и даже танцевали кадриль: я с Софьей, а господин в поддевке с поповной. Играли Серж с Чубинским и имитировали странствующих музыкантов. Софья была очень интересна и, кажется, подлавливала меня. Это нехорошо.

4 марта. Меня подлавливают, это факт. Сегодня, когда я был у Игнатьевых, старушка Марья Андреевна, обратившись к Софье, сказала:

— Соня, покажи Николаю Николаевичу наши фамильные брильянты.

Софья пошла куда-то и возвратилась со шкатулкой. Открыв крышку и приподняв голубое шелковое стеганое одеяльце, она показала мне брошь, серьги и еще что-то. В брильянтах я ничего не понимаю, но из угождения старушке восхищался.

10 марта. Со мною что-то делается. Софья не выходит у меня из головы, и, что бы я ни читал, чем бы ни занимался, я всякий раз ловлю себя на том, что думаю о ней. Она мне нравится ужасно.

У нас необыкновенно ранняя весна. Текут ручьи, с крыш каплет, и лес побурел. Солнечных дней еще не было, но в воздухе чисто, тепло, и уже чувствуется приближение того времени, ради которого существует все на свете. Сегодня пришел ко мне Макарыч и радостно сообщил, что на березе в прошлогоднем гнезде сидит грач. Мы все, точно дети, побежали во двор и разиня рты стали смотреть на березу и действительно увидали грача. Он слетел с гнезда на землю и степенно стал расхаживать по двору. Этот прилет грачей вызвал у меня в сердце какое-то новое, неизвестное доселе чувство.

Хочется жить, любить, куда-то потянуло далеко, куда — не знаю. Я в первый раз в жизни встречаю весну в деревне. Теперь в Петербурге скалывают лед, теперь там, должно быть, туман, грязно, плачет небо...

16 марта. Прилетели скворцы! Ура! Я положительно начинаю чувствовать деревенскую природу.

18 марта. Приезжал предводитель Петр Александрыч. Осмотрел больницу, повозмущался и уехал. Сообщил мне, что относительно Сержа Игнатьева он уже говорил губернатору, что тот ничего против этой кандидатуры не имеет и что в следующем собрании будет построено так, что Сержу будут поднесены на блюде все белое. Дай-то бог! Я уверен, что из Сержа выйдет превосходный земский деятель! На прощанье предводитель сказал:

— Носятся слухи, что вы женитесь на Софи Игнатьевой! Правда это?

Вот уж это совсем не хорошо!

25 марта. Полное равнодушие ко всему! Не могу ни есть, ни пить, ни спать. Со вчерашнего дня как-то вдруг все стало не так, как было, все перевернулось вверх дном. В таких случаях единственное средство — работать, но дело валится у меня из рук. Я полюбил Софью. Неужели это моя судьба? Я ничего не имею против женитьбы, но я еще мало знаю эту девушку. Она мне нравится, но хорошая ли она будет жена, мать? До сих пор я ни разу не видал ее за делом; когда бы я ни приезжал к ним, всегда она или занималась пустяками, или же слонялась вовсе без дела! По ее прелестной, выхоленной руке, за которую я готов был бы отдать многое, совершенно не видно, чтобы она была к чему-нибудь приучена. Жизнь моя и ее — диаметрально противоположны. Она живет за счет тех самых мужиков, которым я служу и которым я боюсь прописать в пищу мясо только потому, что у них не найдется лишней копейки. У Игнатьевых же маслодельный завод, на который они скупают у крестьян молоко по одной копейке за вершок, и я знаю, во что обходится деревенским детям это маслоделие. Они отдали мужикам в аренду землю еще девять лет назад и ставят себе в заслугу то, что не набавляют на аренду цены, подобно соседям, но не хотят понять, что продуктивность земли девять лет назад была в девять раз больше и что в настоящее время

земля истощена и не дает почти ничего. Они преклоняются перед Сержем, которого я считаю бездельником и которого лучше желал бы видеть чиновником или купцом, чем музыкантом, и вот уже более года держат при себе этого несчастного Чубинского с его контрабасом и портят ему судьбу только потому, что их Сержу нужен приживал. И все-таки я всех их люблю, я привязан к ним, и меня туда тянет, и я не имею сил, чтобы удержаться и не пойти туда лишний раз. Любить и не жениться я не могу. Это безнравственно, так же как и жениться без любви. Это нарушение закона бога. Но могу я жениться на Софье? Моя фельдшерица Анна Кузьминична была бы для меня более подходящей женой: она не требовательна, умеет работать. Если бы я женился на ней, она бы была польщена таким великодушием и была бы благодарна мне на всю жизнь. Но она мне жалка, и я не могу полюбить ее.

Нет, я должен сделать над собой усилие, я должен взять себя в руки и перестать бывать у Игнатьевых!

12 апреля. Сегодня пасха. В восемь часов вечера я пригласил иеромонаха из монастыря, и он за два рубля отслужил моим больным пасхальную заутреню. Было немножко странно слушать церковную службу в палате, среди коек, на которых лежали пациенты, но вышло трогательно и мило. Больные сидели в подушках, со свечами в руках, один громко пел хриплым голосом и часто сморкался: должно быть, плакал. Когда заутреня кончилась, я похристосовался со всеми больными, отпустил иеромонаха и долгое время находился под впечатлением службы. Вспоминалось детство, хотелось в Петербург и страстно тянуло к Игнатьевым. Я их не видал уже шестнадцать дней.

В такую ночь не хотелось ложиться рано спать, я взял палку и пошел в поле. Было ароматно, пахло свежевспаханной землей, и, несмотря на поздний час, в воздухе слышалось пение жаворонка. Кругом было привольно и просторно, все располагало к лирике и вдохновению. На горизонте тянулся лес, из-за которого выглядывала колокольня села Малинки. Теперь, в сумраке, виднелся один только лес, а о колокольне можно было узнать только по зажженным на ней плошкам. Когда в одиннадцать часов раздался вдруг ее теноровый колокол, то я не мог противостоять искушению и заша-

гал в Малинки. Я застал уже обхождение вокруг церкви и вместе с толпой вошел внутрь, пробрался на клирос и пел с мужиками. Я был среди них, чувствовал, что они мои, а я их, и на душе было хорошо.

Раздался вдруг шум, народ расступился, и в церковь вошли Игнатьевы. Старушка была в белой наколке на голове, Софья в белом платье, а Серж во фраке. Это походило на парад, было несерьезно, но какая-то необъяснимая привлекательность окружала их, от них веяло изяществом, и казалось, что от их присутствия праздник становится лучше и святее.

После заутрени все стали христосоваться, было неловко не повидаться с Игнатьевыми, я сошел с клироса и поздравил их с праздником. Все они поцеловались со мной, и даже Софья, и спрашивали, почему я так долго к ним не приходил. Я отговорился работой, но, кажется, это вышло у меня довольно плохо. Всю обедню потом я простоял рядом с Софьей. Чувство радости и любви наполняло меня, но я боялся, что это счастье скоро должно окончиться для меня. А она то и дело лукаво взглядывала на меня и кокетливо улыбалась. Несомненно, она догадывается, что я ею увлечен.

— Поедемте к нам разговляться! — сказала она, когда мы выходили из церкви. А когда я отказался, она весело посмотрела на меня и, лукаво улыбнувшись, прибавила: — Я знала, что сегодня вы приедете в Малинки.

Светает, звонят колокола, попадаются навстречу и обгоняют меня мужики, которые кричат мне: «Христос воскрес!», а я иду через озимые поля, и южный, теплый ветер дует мне прямо в лицо. Поют высоко над головою жаворонки, и далеко, около больницы, кричат проснувшиеся грачи. Я иду и чувствую, что хочется жить и что эта девушка для меня дороже всего на свете.

Но что-то говорит мне против нее, какой-то внутренний голос предостерегает меня от нее, и я готов придавать значение ее кокетству и ее, быть может, совершенно невинной фразе: «Я знала, что сегодня вы приедете в Малинки».

1 мая. Я не узнаю себя, я потерял над собою всякую власть. Едва только я кончаю прием больных, как меня тянет к Игнатьевым; я тороплюсь, спешу, негодуя на лишнего пациента, и лечу туда, чтобы лишний раз убе-

диться, что меня там любят, что на меня там смотрят как на жениха. Нас стараются оставлять одних, мы просиживаем вдвоем до глубокой ночи.

Сегодня этот святоша, приживальщик Чубинский, поймал меня в саду, схватил за руку и, склонив голову набок, жалостным голосом сказал мне следующее:

— Доктор, я знаю, что в вас влюблена Софья Михайловна. Если вы женитесь на этой девушке, то вы будете счастливейшим из смертных. Но я вижу, что в ожидании вашего предложения она страдает, и умоляю вас: избавьте ее от этих бесполезных страданий и женитесь на ней поскорее!

При этом он томно, по-иезуитски посмотрел мне в глаза и поцеловал меня в губы.

Это уж совсем некрасиво. Неужели он шпионит за нами? Или, быть может, его подослала маман или даже сама Софи? Это было бы ужасно!

14 мая. После разговора с Чубинским я не был у Игнатьевых ровно две недели. В эти две недели Софья вела себя нехорошо. Она притворялась больной, ломалась, за мною часто посылали, и когда я приезжал к ним уже не как знакомый, а как врач, она кокетничала со мною. Это оскорбляет во мне мою любовь к ней. Я чувствую, что еще немного — и я паду еще ниже, чем упал, и перестану чувствовать удары по самолюбию.

2 июня. Сегодня Марья Андреевна позвала меня к себе в комнату, долго рассказывала мне о том, как она была влюблена в своего покойного мужа и как он делал ей предложение. А потом она схватила меня за руку, поцеловала меня в лоб и сказала:

— Николай Николаевич, дорогой мой, я люблю вас, как родного сына, и была бы рада, если бы вы женились на Соне. Она хорошая девушка!

После этого она заплакала и попросила меня ничего не говорить об этом разговоре Соне.

Чувство негодования закипело во мне на это околпачиванье, на эту откровенную ловлю женихов, я ничего ей не ответил и вышел на балкон. Здесь я встретил Сержа. Он сидел на ступеньке и порошком и какой-то штучкой полировал себе ногти. Мне показалось это глупым и смешным, и я в сердцах спросил его, как ему не надоест целые дни околачиваться без дела и заниматься ерундой. Он надулся и ответил:

— А музыку вы во что-нибудь считаете? Или она для вас — апельсины?

Кажется, у нас произошла размолвка, потому что целый вечер он не сказал со мною ни одного слова и перед тем, как мне уезжать, нарочно вышел, чтобы не подать мне руки.

10 июня. Сегодня Софья сама бросилась мне на шею. Она сказала: «Возьмите меня замуж». Женщина может любить, может даже сама, первая, объясниться мужчине в любви — я допускаю это, но целый ряд предшествовавших событий доказал мне, что в данном случае я ошибся. Был превосходный вечер, вся природа, казалось, была создана для любви, и это объяснение звучало диссонансом с общим настроением и казалось профанацией настоящей, чистой, девственной любви.

Присылали верхового. Заболела Софья. Опять комедия. Это обидело во мне мою правду, мою профессию — и я не поехал. Получил от Сержа дерзкое письмо. Что ж, он прав! Если бы он умел отделять человека от врача, он не написал бы так.

Идет дождь, сверкают молнии, и гремит гром. Вся природа, кажется, оплакивает мою любовь, и мне хочется вместе с нею плакать, возмущаться, кричать, взывать к правде и негодовать. Я все еще люблю Софью и хотел бы вырвать из себя это слабое, бабье сердце, которое унизило во мне человека, мужчину и низвело меня на степень животного, повинующегося инстинкту!

Прочь эту проклятую любовь!

Но я кипячусь, возмущаюсь и все-таки сознаю, что я слаб, чтобы бороться с этим чувством, и что так можно любить только однажды в жизни.

Помоги мне, господь!

3. НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ

Доктор Заречный поехал в губернский город, долго хлопотал в губернской земской управе и получил командировку по России для осмотра психиатрических заведений и изучения постановки этого дела на месте.

Перед отъездом он завернул к Игнатьевым проститься, но Софья Михайловна в это время была у тетушки Любови Андреевны. Провожая его, Марья Андреевна расплакалась, Чубинский склонил голову набок и смот-

рел на него печальными глазами, но Серж так и не вышел. Заречный нарочно медлил, обошел весь сад, но, не дождавшись Софьи, сел в тарантас и уехал.

Вместо него в больнице поселился другой врач, неинтересный, грубый, из семинаристов: он пил водку и вел компанию с начальником станции и с трактирщиком, у которых играл в карты и просиживал до утра.

С отъездом Заречного для Софьи окончательно опустела жизнь. Возвратившись от тетки и узнав, что приезжал доктор, она долго плакала, хотела ехать на станцию, чтобы проводить его, но потом примирилась и притихла. Она слышала, что брат ее послал Заречному дерзкое письмо, старалась объяснить этим охлаждение доктора к их семье, горько сетовала на Сержа, но в то же время в глубине души сознавала, что Заречный перестал бывать у них именно потому, что она слишком ясно показала ему, что рассчитывала быть его женою.

Бледная как тень, безнадежно опустив руки как плети и печально глядя вдаль, она ходила по аллеям сада и, казалось, таяла не по дням, а по часам. Она не высказывала никаких желаний, и все, что происходило вокруг нее, по-видимому, нисколько ее не интересовало. Ей говорили «иди», и она шла, ей говорили «сядь» или «ешь», и она садилась или ела. Какая-то внутренняя работа, недоступная постороннему наблюдению, происходила в ней, и каждую минуту можно было ожидать, что вот-вот все дело разрешится чем-нибудь неожиданным или же закончится болезнью.

Настал сентябрь, дождливый и холодный. По целым дням моросил дождь, на дворе стояла слякоть, и когда перед заходом грустного солнца на несколько минут прояснивало и галки полчищами начинали носиться над полями и усадьбой, то становилось так безнадежно, что хотелось плакать. На гумне с утра и до вечера гудела молотилка, и худые крестьянские лошади с завязанными глазами с трудом тащили конный привод. В саду сильно поредели деревья, и все дорожки уже сплошь были посыпаны опавшими листьями. Софья вышла в поле, где крестьяне копали картошку, роясь в грязных бороздах прямо руками, да две девушки работали на яровом клину: одна привозила навоз и раскидывала его, а другая запахивала его под озимь. Вечерело, и у обеих были уставшие лица. Софья посмотрела

на них, и то, чего она раньше не замечала за собственным счастьем, то, что казалось ей самым обыкновенным и естественным делом, вдруг бросилось ей в глаза. Этих Машу и Феню она видела работавшими и вчера, и третьего дня, работали они и в прошлом году и, вероятно, будут так работать до конца своих дней,— и она относилась к этому так же, как и к тому, что деревья зелены, снег бел... Несмотря на усталость, обе работницы пели и перекидывались шутками, а она, Софья, по целым дням все ходит и ходит, не в силах ни читать, ни заняться какой-нибудь домашней работой, и только наводит на всех тоску.

— Здравствуйте, барышня! — окликнула ее Маша.

— Здравствуй, милая...— ответила Софья.— Все работаешь?

— Как же, барышня? Хлеб-то ведь надо есть! Как же без работы-то?

— А вот я и не работаю — и хлеб ем.

Маша ничего не ответила, а Феня весело посмотрела на Софью, засмеялась и сказала:

— Ваше дело господское!

Софья постояла немного, посмотрела, как они снова принялись за дело, и побрела домой.

Подходя к усадьбе, она увидала, как на сытой вороной лошади, выхоленной так, точно она была туго обтянута атласом, откуда-то возвратился Серж. Он сидел в шарабане, сам правил, и едва только въехал во двор, как выбежал из кухни кучер Андрей, принял от него лошадь, распряг и долго потом прогуливал ее по усадьбе.

Пригнали крестьянское стадо прямо на игнатьевский скотный двор, заблеяли овцы, замычали коровы. Уставшие от дневной работы бабы принялись их доить, запахло навозом и парным молоком, и послышалось частое жужжание молочных струек в железных ведрах. Но вот коровы выдоены, в маслодельной избе настежь открылись двери, заработал сепаратор, и начался расчет за проданные бабами сливки. Со снятым молоком погнали они коров назад, и, встречаясь с ними, Софья в первый раз в жизни почувствовала неловкость за свой маслодельный завод, и ей захотелось вдруг всем им крикнуть, чтобы они вернулись назад, взяли сливки обратно и накормили ими своих детей.

И ей пришло на ум, как еще весною она сидела с Заречным в саду на горке и как, так же вот, как и теперь, на ферму пригнали крестьянский скот и до них доносилось блеянье овец и мычанье коров. Они молчали и прислушивались к звукам начавшегося вечера, а потом Заречный поднял на нее глаза и сказал:

— Зачем вы держите маслодельный завод?

— А что? — спросила она.

— Так, ничего...— ответил он и замолчал, но по тону его голоса она догадывалась, что он хотел ей что-то сказать, но раздумал.

Молотьба прекратилась, мимо Софьи прошли гурьбой девушки, сплошь покрытые пылью, и четыре лошадки с выступившими наружу костями, вертевшие молотилку, потянулись к водопою. У одной из них от частого дерганья за повод была разодрана с правой стороны губа, а у другой от трения постромкой на боку зияла рана. Они одни, без хозяина, подошли к корыту, напились воды и тихонько, одни, друг за дружкой гуськом потянулись на деревню. Мимо них в это время Андрей проводил атласного коня, и он весело им заржал. Они не ответили ему и молча удалились.

Софья вошла в дом, разделась и поднялась к себе наверх. Она села за стол, оперлась подбородком о ладони и, не мигая, долго-долго смотрела на темное окно. Глаза ее ничего не видели, и зрение, казалось, было обращено в глубь ее самой и старалось найти в душе что-нибудь такое, что давало бы хоть какой-нибудь смысл жизни, что могло бы послужить для нее хоть малейшим оправданием существования на земле. Она рылась в своей душе, но вся ее предыдущая жизнь казалась ей пошлой и ничтожной, и сама она представлялась себе красивой, душистой орхидеей, выросшей на дереве за счет его жизни. Маша, Феня, бабы, грязными руками отыскивавшие картофель в бороздах, запыленные девушки, проходившие мимо нее с молотьбы, и четыре лошади проносились у нее перед глазами, и ей вдруг страстно захотелось сбросить с себя эту апатию, этот эгоизм собственного горя и помочь им, обласкать их, сделать их жизнь сноснее. И она вдруг встрепенулась и поняла, что тот дар божий, который называется просвещением и культурой, дается человеку для счастья других и что положение помещицы, в котором она

находится сейчас, обязывает ее и перед землей, и перед крестьянами, и перед самой собою. Нет, она не может дольше продолжать такую жизнь! Она молода, здорова телом, у нее еще, быть может, долгая жизнь впереди, и обрекать эту жизнь на бездеятельность, на заботы только о самой себе она не может и не должна. Прочь это нытье, эту слабость воли, вялость мысли и скудость души! Она еще может бороться, жить, трудиться для других...

Она поднялась со стула и в волнении заходила по комнате. Щеки у нее запылали, руки дрожали, и ей хотелось в одно и то же время и плакать и смеяться и вдруг страстно захотелось, чтобы он, ее избранник, которого она любила и которому верила так, как никому на свете, был сейчас тут, около нее, чтобы научил ее, растолковал ей, куда идти, что делать, с чего начать и как ей построить свою новую жизнь.

Заскрипели ступени, раздались тяжелые шаги, и в комнату вошла Марья Андреевна.

— Ты здесь? — спросила она.— А я думала, что ты все еще где-то бродишь. Иди, тебя Серж зовет!

В гостиной, сверх обыкновения, были зажжены огни, и на диване с торжественным лицом восседал Серж. Когда вошли Марья Андреевна с Софьей, он жестом указал им места около себя и пригласил их сесть. Судя по обстановке, то, о чем он хотел сообщить, было очень важно и заранее приводило Марью Андреевну в трепет. Тут же, тоже с торжественным выражением лица, стоял и Чубинский.

— Садитесь, садитесь! — сказал Серж, и, когда все уселись, он продолжал: — Я пригласил тебя, мама, и тебя, сестра, чтобы сообщить вам важную новость, которая должна несколько изменить нашу жизнь.

— Ее уже давно пора изменить,— сказала Софья.

— Не перебивай, сестра,— обиделся Серж,— и выслушай до конца. Наш почтеннейший предводитель дворянства, он же и председатель нашей земской управы Петр Александрович был настолько любезен, что предложил мне сам, без всякого с моей стороны намека, быть членом нашей управы. Сейчас только я был у него, и он сообщил мне, что в случае моего согласия он гарантирует мне одни только белые. Признаюсь, я не ожидал такой высокой чести и рад послужить обществу.

Но предварительно я должен еще выяснить свои земельные права. Как тебе, мама, и тебе, сестра, небезызвестно, в нашей местности для службы по земским учреждениям необходимо иметь не менее двухсот десятин земли... Между тем у нас по планам и документам числится в общем владении с сестрою всего только двести тринадцать десятин, из которых, согласно постановлению окружного суда, в одной четвертой части утверждена в правах наследства после покойного отца ты, Софи...

— Мы с покойничком хотели все имение оставить за Соней,— всхлипнула Марья Андреевна,— да он не успел, голубчик, написать завещание...

— Мамочка! — крикнул на нее Серж.

— Ты мужчина, ты мог бы заработать сам... Впрочем, не сердись, Сереженька, это я так... так... Я не хотела тебя обидеть.

— Что же дальше? — спросила Софья, которая не любила таких разговоров.

— Я просил бы тебя, сестра,— продолжал Серж,— отказаться в мою пользу от всей земли и взять себе только одну усадьбу.

Софья выпрямилась во весь свой рост.

— Я не могу этого сделать,— твердо сказала она.

— Но почему же? Почему? — встревожился Серж.— Ведь усадьба стоит дороже, чем причитающиеся тебе пятьдесят три десятины земли!

— Потому что усадьба — затея,— так же твердо отвечала Софья.— В сельском хозяйстве она не имеет ровно никакой цены. Мне не нужны эти четырнадцать комнат, эти резные решетки вокруг нашего цветника, а жечь по десяти саженей дров, чтобы вырастить каких-нибудь три персика, я не считаю разумным. Если уж речь зашла о земле, то я желаю получить свою часть земли, и только ее одну!

— Но для чего тебе земля?

— Для того, чтобы отдать ее мужикам. Вот для чего.

— Соня! — воскликнула Марья Андреевна.

Серж вскочил с дивана и, заложив руки в карманы пиджака, забегал по гостиной.

— Поздравляю тебя, мама, с новой толстовкой! — сказал он, часто дыша.— Это тебя, Соня, Заречный просветил?

— Оставь, Серж, Заречного в покое,— отвечала Софья.— Это пошло и неумно! Могу я уйти?

— Нет, подожди, сестра, подожди! — заговорил Серж, еле сдерживая себя.— Ты желаешь земли, бери свою часть землею! Хорошо!.. Отлично!.. Пусть будет по-твоему! В таком случае я оставляю усадьбу за собой, тотчас же продаю ее и на вырученные деньги покупаю себе земли еще!

— А куда же ты денешь нашу мать? — возмутилась Софья.— Нашу старуху няньку, слепого повара Максима?

— Мать я пристрою где-нибудь в городе на квартире, а остальные пусть убираются куда хотят! К черту!

Марья Андреевна, все время испуганно смотревшая то на сына, то на дочь, под конец не выдержала и закрыла платком глаза. Софья измерила брата удивленным взглядом и, не сказав ни слова, вышла из комнаты.

Дул ветер, шумели деревья, пошел дождь, и капли его одна за другой поползли по стеклам. Когда Софья проходила к себе через темный коридор, кто-то подскочил к ней, схватил ее руку и жадно прижал ее к своим губам. Это был Чубинский. Софья узнала его, но была слишком взволнована, чтобы придать хотя какое-нибудь значение его поступку.

Поздно ночью вся усадьба была на ногах. Скотница Пелагея, ожидавшая разрешения от бремени еще в конце октября, лезла в погреб, оступилась и свалилась с четырех ступеней. Когда ее хватились, она лежала на дне погреба, на осклизлом, сыром полу и корчилась от страданий. Ее перенесли в людскую, послали тележку за Анной Кузьминичной в больницу, но она оказалась на практике где-то в другом месте; кинулись за доктором, но в больнице сказали, что, вероятно, он или у начальника станции, или у трактирщика играет в карты; но его не оказалось ни здесь, ни там, и поневоле пришлось обойтись вовсе без медицинской помощи. Всю ночь, несмотря на протесты со стороны Марьи Андреевны, Софья продежурила у постели больной, негодуя на себя за то, что не умеет приняться за дело, и когда к утру приехал лохматый, невыспавшийся доктор, то было уже поздно: ребенок родился мертвым.

Софья первый раз в жизни видела такие ужасные

страдания. Она плакала, молилась, бралась то за одно, то за другое, и, когда роженица кричала так, точно ее рвали на куски, она краснела за себя, за то, что была бесполезна, и в бессилии опускала руки.

С точки зрения конечных целей проходит все, все тлен и суета, но в жизни каждого отдельного человека каждое малейшее событие никогда не проходит бесследно и определяет собою всю дальнейшую его судьбу. Так случилось в эту ночь и с Софьей. Перелом в мировоззрении, затем разговоры о земле и нечаянно случившиеся роды, в которых она, казалось, могла бы быть наиболее полезной, эти беспомощность и недостаток в акушерском персонале окончательно подвели итог ее прошлому и ярко обрисовали перед ней картину ее будущей, новой жизни. И то, что раньше представлялось ей туманным и неясным, теперь, после этой ночи, получило строгую определенность, и она уже не нуждалась больше в том, чтобы кто-нибудь дал ей совет, указание, как поступить, куда себя пристроить.

Настало утро. Серое небо нависло, и по-прежнему шел мелкий, частый дождь. Софья встала с постели, обмакнула перо в чернила и твердым почерком написала: «Отказываюсь от наследства после отца. Софья Игнатьева».

А потом она вышла к чаю и, когда собрались все, объявила во всеуслышание, что уезжает в Москву, где поступает на акушерские курсы. Марья Андреевна испугалась и стала плакать. Серж возмутился, швырнул сестре ее отказ от наследства чуть не в лицо и сказал, что он не нуждается в подачках и что если она поедет в Москву одна и на какие-то там курсы, то она скомпрометирует этим всю их семью и себя и навсегда потеряет его уважение.

— Это все штуки г-на Заречного! — крикнул Серж и громко стукнул кулаком по столу.— Пока эта гадина не была вхожа к нам в дом, ничего подобного не бывало! Развиватели тоже!

Но Софья была глуха ко всему, оставалась непреклонна и стала исподволь приготовляться к отъезду.

Последние свои дни она ходила по усадьбе и прощалась с нею. Листья уже опали, в воздухе было свежо и прозрачно, и кругом стоял запах глубокой осени. Лирика умиравшей природы сообщалась душевному на-

строению Софьи, полному тихой грусти, и ей хотелось в одно и то же время и плакать и умиляться, ей было тяжело и горько, но в этом горе она чувствовала поэзию, какую способна передать одна только музыка да, пожалуй, еще северная, умирающая природа. Здесь вот она как-то упала, здесь, вся млея от неизвестного ей чувства, она прочла первый любовный роман, а вот здесь впервые почувствовала, что любит сама. Вот и та роковая скамейка, на которой она объяснилась Заречному в любви... Как все кругом изменилось для нее в этот год!

Отъезд был назначен на 12 октября. Накануне вечером к ней поднялся Серж, чтобы проститься с ней, так как было земское собрание и он должен был завтра с утра уехать в город на выборы.

— До свиданья, Софи! — сказал он и поцеловал ее в лоб.— Желаю тебе счастливого пути! Пиши нам...

— До свиданья, Серж!..— ответила Софья и почувствовала, как слезы подступают ей к горлу.— Береги мать...

— Об этом не беспокойся, мой друг! Надеюсь, что между нами никакой черной кошки не перебежало и что мы с тобою будем оставаться друзьями... Если тебе понадобятся деньги, то пиши, и я тебе вышлю.

— Нет, Серж, спасибо. У меня есть две тысячи своих... Надеюсь, что с меня их хватит.

— Ну, как знаешь! До свиданья еще раз!

Они поцеловались и пожали друг другу руки. Он направился к двери, взялся уже за ручку, но потом спохватился и, точно забыл о чем-то, вернулся обратно.

— Ах да! — воскликнул он.— Маленькая услуга, сестра! Ты отказалась от части имения, следующей тебе по закону после отца. Я не хочу пользоваться твоей добротой, Софи, и лишать тебя того, что пригодится тебе впоследствии, но если бы ты дала мне полную доверенность на принадлежащую тебе часть, то я получил бы право баллотироваться в члены управы.

Он вытащил из кармана уже заготовленную доверенность и развернул ее перед сестрой.

— Надеюсь, что ты против этого возражать не будешь? — сказал он.

Софья обмакнула перо в чернила и, не читая, подписала бумагу.

— Как все это скучно! — проговорила она.

Серж поднес бумагу к глазам и посмотрел на подпись.

— Надо бы «потомственная дворянка»...— сказал он.— Впрочем, это пустяки!

Он свернул доверенность и быстро сунул ее в карман.

— Прощай, Софи! — сказал он.— Желаю тебе счастливого пути.

— Прощай, Серж...— ответила она.

— Пиши нам! — крикнул он уже за дверью и быстро застучал ногами по ступеням.

На другой день, в дорожном костюме, с сумочкой через плечо, Софья уже была на вокзале и в ожидании прихода поезда взад и вперед ходила по платформе. Марья Андреевна, уже привыкшая к своему горю, шла около нее и ласково заглядывала ей в глаза, предостерегала ее от воров, от мужчин, просила быть осторожной и до самой Москвы не выходить из вагона. Кучер Андрей сдал корзину и чемодан в багаж, а затем вышел сторож и зазвонил в колокол. Раздались впереди гудок рожка и свисток, и скоро мимо Софьи промчался локомотив и замелькали окна вагонов.

— Выбран! Выбран! — вдруг раздался из поезда крик, и кто-то замахал руками.

Марья Андреевна и Софья побежали вслед за вагоном и вдруг увидали Сержа. Он возвращался с выборов из города и так и сиял от счастья.

— Выбран! Поздравляйте! — задыхался он.— Все белые поднесли на блюде!

Его счастье передалось матери и сестре, и они весело заулыбались.

— Я очень рад, что застал тебя еще здесь, Софи,— обратился он к сестре.— Окажи мне услугу! Как только приедешь в Москву, так немедленно же вышли мне наложенным платежом треуголку, шпагу, темляк и шитье для мундира восьмого класса... Не забудешь? Для восьмого!

В это время, весь заляпанный грязью, на платформу вбежал Чубинский и, обнимая обеими руками футляр от виолончели, растерянными глазами обвел всех пассажиров.

— Ба-ба-ба! Это куда? — воскликнул Серж и, без

церемонии сняв с него фуражку, сунул ее к себе в карман.

— В Москву... В консерваторию...— ответил Чубинский и жалостно посмотрел на Сержа.— Отпустите, Сергей Михайлыч! На что я вам?

— Нечего, нечего! — крикнул на него Серж.— Посидите и с нами! Нынче и в земстве люди нужны. Я проведу вас в секретари управы. Надо заниматься делом!

Тронулся поезд, и Софья еще долго махала им платком, стоя на площадке вагона.

— Прощай, Соня! — крикнула ей мать и залилась слезами.

4. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Софья раньше в Москве никогда не бывала. Она знала ее только по Царь-колоколу, Царь-пушке и по Триумфальным воротам, которые видела на картинках, и когда ехала с вокзала в номер, то в удивлении оглядывалась по сторонам и мысленно восклицала: «Неужели это Москва?» Мимо нее проезжали конки, ломовые провозили железные полосы, которые невыносимо стучали, и все кругом производило на нее неприятное впечатление. Она чувствовала, что она здесь чужая и что, вероятно, никогда не полюбит этого города так, как любят его москвичи. После деревенского простора ей было тесно в этих узеньких улицах и переулках, и казалось, что она уже никогда больше не выберется из их паутины.

Она поселилась в меблированных комнатах недалеко от Солянки, взяла номер в одно окно, выходившее на двор, сплошь заваленный ящиками и рогожами, и с этого дня для нее началась ее новая жизнь.

Лекции, репетиции, хождения в воспитательный дом и дежурства в нем брали у нее все ее время: ей некогда было иной раз поесть и поспать. Дни мелькали за днями, и она и не заметила, как выпал снег и как установилась прочная зима. Она едва успевала написать о себе в усадьбу к матери, причем делала это обыкновенно ночью, во время дежурства в смотровой, когда на время прекращался почему-нибудь приток пациенток. В эти минуты она брала у швейцара бумагу и под

храп заснувшей бабки изливала перед матерью свою душу. Часто писала ей и Марья Андреевна. В одном из писем она описывала, как Серж увлекся земскими делами и как принялся чистить личный персонал в управе. Правда, он сам не мог этого делать на свой страх, но представляемые им председателю веские данные всегда служили достаточным основанием для увольнения нежелательных людей. Софье не нравилось это, она писала матери, что задачи земской службы гораздо шире, чем понял их Серж, но мать благоговела перед сыном и боялась читать ему то, что писала о нем сестра. Как-то ночью, когда Софья дежурила в воспитательном доме, к ней прибежал коридорный из меблированных комнат и принес пришедшую без нее телеграмму. Дрожавшими руками, чувствуя, как у нее похолодело сердце и как подгибались колени, она распечатала телеграмму и потом с чувством негодования скомкала ее и бросила под стол.

«Получил коллежского регистратора. Серж»,— прочитала она.

Вскоре после этой телеграммы он прислал Софье письмо:

«Ты не поверишь, дорогая сестра, какое счастье сознавать себя полезным! Не прошло и полугода, как я состою членом управы, но сколько в это время сделано того, что не могло быть сделано в течение целого ряда лет! Наш почтеннейший председатель Петр Александрыч, сотрудником которого я имею честь состоять, во всех случаях солидарен со мною, и только его неусыпной, самоотверженной деятельности мы обязаны тем, что наше земство получило новую физиономию. Управу ты не узнаешь. Весь состав ее совершенно новый, все молодежь. Между прочим, Чубинский определен мною к окладному столу и теперь учится подводить итоги. Доктору Заречному, который только недавно возвратился из командировки и который настолько плохо понимает врачебную этику, что отказался тогда приехать к тебе, Петр Александрыч, по моему совету, дал понять, что он может искать себе должность где-нибудь в другом земстве...»

Софья не могла дальше читать это письмо и, откинувшись на спинку стула, долго смотрела перед собою. Затем она легла на кровать и горько зарыдала.

Она и раньше себя чувствовала нехорошо, еще во вчерашнее дежурство у нее сильно кружилась голова, и все эти дни ей не хотелось ни пить, ни есть, а после этого письма она почувствовала, что уже больше не в силах бодриться и держать себя в руках. Усталость и какое-то недомогание сковали ее члены; ей показалось, что ей хочется спать. Она разделась и легла, но едва только она закрывала глаза, как какие-то неопределенные пятна и какие-то лица не лица, звери не звери вставали перед ней и лапа с когтями протягивалась ей прямо к зрачкам. Она вздрагивала и снова открывала глаза.

«Что это со мною?» — думала она, слыша, как билось у нее в висках и как дыхание обжигало ей нос и верхнюю губу.

Около нее стояла печальная свеча с застывшим в воздухе пламенем. Ей хотелось пить, но не хватало сил подняться и налить себе воды. Затем свеча догорела, и в номере сделалось совсем темно. Под утро Софье стало холодно, она укрылась, съежившись калачиком, и слышала, как от дрожи стучали ее зубы, а затем ей вдруг сделалось жарко и не хватало воздуха.

— Темляк и шитье восьмого класса! — проговорила она вслух и испугалась того, что сказала. Почему она это сказала?

Настало утро. Внизу во дворе застучали ящиками и загремели ломовые дроги. Софья знала, что ей нужно было идти на репетицию, но какая-то сила приковала ее к постели и не давала ей встать. Целый день она то забывалась в полусне, то, сильно вздрогнув, открывала глаза и не узнавала, где она находится, и ей казалось, что где-то около ее двери, сейчас же за стеной, жарят лук и что вся ее комната полна запаха кухни. К вечеру ей сделалось еще хуже, пятна в глазах стали еще страшнее, и лапа с когтями каждую минуту готова была выцарапать ей зрачки. Она вскакивала с постели, в ужасе бегала по номеру, а потом опять падала на кровать и на несколько минут забывалась. Желая отмахнуться от лапы с когтями, она ударила рукою по подсвечнику, и он с громом повалился на пол.

— Шитье восьмого класса! — закричала она. — Темляк! Темляк!

И ей представилось, что ее брат Серж подошел к ней

в мундире с золотым шитьем и темляком и стал наносить ей частые удары по голове.

«Вот тебе! Вот тебе!» — говорил он.

А ее мать подошла к ней с другой стороны и, вынув спицу из чулка, стала тыкать ей этой спицей прямо в глаза. Софья кричала, сопротивлялась, отстранялась от ударов и старалась увернуться от спицы.

Послышался звук разбитого стакана и пронзительный крик, и вошедший коридорный увидал Софью сидевшей на краю кровати, бледную, с распущенными волосами, дико озиравшуюся по сторонам, и, догадавшись в чем дело, побежал в контору. В это же время к Софье пришла знакомая курсистка, захлопотали, забегали, побежали за врачом, приехала карета, и Софью перевезли в больницу.

У нее оказался брюшной тиф.

Настала весна, потекли ручьи, и в воздухе запахло радостью жизни. По улицам стали скалывать лед, и в открытую форточку доносился уже стук колес о мостовую.

В больницу, где помещалась Софья, стало настойчиво заглядывать солнце, так что приходилось спускать на окнах занавески, и больную страстно потянуло в деревню, к себе в Игнатьевку, где так много было воспоминаний и где теперь, вероятно, так светло, так все полно жизни. Она сидела на кровати, вся в белом, обложенная кругом подушками, на нее падал луч солнца, которое она так любила, и ей казалось, что она уже сидит в вагоне, что мимо нее мелькают поля и леса и что вот-вот сейчас поезд остановится около их станции и она увидит мать.

Потерявшая за болезнь всякий счет дням и неделям, она и не знала, что была уже страстная неделя, и когда в пасхальную заутреню в открытую форточку донесся пасхальный звон и когда то тут, то там стали вспыхивать бенгальскими огнями частые московские церкви, видные из окон больницы, ей так вдруг захотелось быть дома, поехать с братом и матерью в Малинки и увидеть на клиросе Заречного.

Всю пасхальную неделю Марья Андреевна провела одна. Чубинский служил в городе в земской управе, а Серж еще в среду уехал в город говеть и остался там на всю неделю, чтобы сделать официальные визиты, кото-

рые он считал необходимыми ввиду своего служебного положения. Не получая вот уже сколько времени писем от Софьи и не зная, что она больна, старушка предполагала сначала, что, вероятно, Соня не пишет потому, что желает сюрпризом, как снег на голову, приехать на святую в усадьбу, но потом, отчаявшись в своих надеждах, заволновалась и стала часто плакать. Ей казалось, что Софья уже не та, что она забыла уже свою мать, изменила семье и завертелась в кругу курсисток, которые провинциальному воображению Марьи Андреевны почему-то представлялись неженственными и неряхами, и остригла свои превосходные волосы.

А бедная Софья в это время действительно сидела стриженая, и ее чудные волосы, которыми она так гордилась и так берегла и которые возбуждали такую зависть среди ее товарок, были принесены в жертву ее тяжкой болезни.

Марья Андреевна шла по саду и вдруг вдалеке, у забора, увидела какую-то черную фигуру. Она подошла поближе и рассмотрела мужчину, одетого в мягкую шляпу и высокие сапоги, покрытые грязью. Было очевидно, что он шел откуда-то издалека пешком. Он оперся локтями на решетку и, положив на них подбородок, печально смотрел куда-то в сад. Подойдя еще поближе, она узнала в нем доктора Заречного. Он был так углублен в свои мысли, что и не заметил, как к нему подошла старушка. Что-то родственное почувствовала к нему Марья Андреевна и обрадовалась.

— Николай Николаевич! — воскликнула она.— Голубчик мой! Дорогой мой! Сколько лет, сколько зим!

Он вздрогнул, поднял голову и обрадовался тоже, хотя и почувствовал некоторую неловкость.

— Здравствуйте, Марья Андреевна,— сказал он.— Как живете-можете?

— Что же это вы стоите и не зайдете к нам? — спросила она.— Зашли бы!

— Да вот воспоминаниями занимаюсь, Марья Андреевна,— ответил он.— Должно быть, стареть начинаю.

Марья Андреевна знала, что Заречному было в вежливой форме отказано от места, знала, что к этому причастен ее Серж, и тоже почувствовала некоторую неловкость.

Наступило молчание.

— А Соня в Москве, на акушерских курсах...— сказала опять старушка.

— Да, в Москве, на акушерских курсах...— вздохнул Заречный.— Помогай ей бог!

— А Серж членом управы...

Заречному очень хотелось спросить Марью Андреевну о Софье, как она живет, что пишет, старушке тоже очень хотелось поговорить о ней с Заречным, излить свою душу, пожаловаться, но он ожидал, когда заговорит первая она, а она ожидала, когда он спросит ее первый, и они стояли оба у забора, смотрели друг на друга ласковыми глазами и не решались переступить через заколдованный круг.

— Прощайте, Марья Андреевна! — сказал наконец Заречный и снял шляпу.

Она подошла к нему совсем близко, взяла его обеими руками за виски и крепко прильнула губами ко лбу, а он ее руки принял от своих висков и горячо поцеловал.

Затем он круто повернулся к ней спиной и широко зашагал через поле.

Она смотрела ему вслед, видела перед собой эту удалявшуюся спину, и что-то подсказывало ей, что в этом человеке еще не все пропало для Сони и что достаточно каких-нибудь двух-трех сильных штрихов, чтобы все выяснилось окончательно и чтобы какое-то неизвестное для нее препятствие, ставшее между Софьей и Заречным, было устранено навсегда. Материнским инстинктом она чуяла, что Софья уехала в Москву именно оттого, что безнадежно любила доктора, и в то же время в ней сложилось твердое убеждение, что и Заречный недаром ездил в командировку и недаром стоял здесь у забора и задумчиво смотрел в их сад.

Возвратясь домой, она достала бумагу и старческими каракулями написала дочери в Москву письмо:

«Сегодня у забора нашей усадьбы я увидала Заречного. Он стоял одиноко и смотрел через решетку туда, где открывается вид на горку. Я подошла к нему, мы поздоровались, но поговорить нам не удалось. Я позабыла спросить его, где он теперь живет.

Соня, он любит тебя!»

Это письмо Софья получила в больнице и с жаром прижимала его то к губам, то к сердцу. Она перечитала его несколько раз, и чувство безграничной радости на-

полнило все ее существо. Ей захотелось вдруг соскочить сейчас с кровати, одеться, собрать свои вещи и бежать поскорее на вокзал, чтобы хотя издали увидеть то место, где она родилась и где, казалось, начинало воскресать ее счастье.

Приписка матери, что ее любит Заречный, была для нее малоубедительна, но ее сердцу гораздо больше говорило то, что Заречный стоял у решетки сада один и задумчиво глядел туда, где она так неосторожно открылась ему в любви. В этом его поступке она увидала, что для нее еще не все потеряно, что на свете еще стоит жить, и ей захотелось вдруг быть здоровой, изящной, захотелось вдруг смеяться, плясать, кокетничать, быть красиво одетой и распространять вокруг себя запах духов.

Слабая, едва держась на ногах и хватаясь руками то за спинки коек, то за стену, она вышла в коридор и взглянула на себя в зеркало. Бледная, со впалыми щеками и с заострившимся носом, на нее посмотрела оттуда какая-то неизвестная ей женщина с коротко остриженными волосами и удивленно измерила ее большими темными глазами. Софья испугалась самой себя и едва устояла на ногах.

— Синий чулок! — прошептала она.— Синий чулок!

И, цепляясь за стену, она поплелась обратно к себе в палату.

5. БРАТЕЦ

Серж вернулся домой только на фоминой неделе и сообщил матери, что он сделал предложение дочери предводителя Петра Александровича и что свадьба назначена тотчас же после троицы. Марья Андреевна, всегда думавшая о замужестве дочери, как-то не допускала, чтобы когда-нибудь мог жениться ее сын, и встревожилась, хотя и старалась казаться спокойной.

— Очень рада,— сказала она.— Желаю тебе счастья... Ты уже не мальчик... не дитя...

Но она не выдержала своей роли до конца и разрыдалась.

Серж обиделся и зашагал из угла в угол.

— Что ж,— сказал он,— прикажешь целый век бегать около твоей юбки?

— Нет, нет! — отвечала она.— Как это можно!.. Женись, женись! Я ничего... Это я так, с радости!

Затем начались приготовления к свадьбе. Пришла из города артель мастеров, стали красить окна, полы, оклеивать стены. Только перед пасхой, всего какие-нибудь две недели тому назад, Марья Андреевна делала в доме большую уборку, и теперь ей снова приходилось передвигать все вещи с места на место и перетаскивать их из комнаты в комнату. Приезжал предводитель с дочерью познакомиться со старушкой, и Марья Андреевна с сожалением увидала, что ее будущая невестка намного старше Сержа.

— Вот здесь будет у нас гостиная,— показывал ей Серж,— здесь — мой кабинет...

— А вот эта комната будет моей! — воскликнула невеста, поднявшись наверх.— Какой отсюда прелестный вид!

— Это комната Сони,— сказала Марья Андреевна.— Она скоро вернется сюда из Москвы.

Сержу стало неловко за мать.

— Я уверен, мама,— сказал он,— что сестра охотно уступит свою комнату для Нюси! Не все ли равно: внизу или наверху?

Старушка вздохнула, ничего ему не ответила и продолжала молча следовать за ними.

Гости уехали, вскоре за ними уехал и Серж, и для старушки начались дни испытания. Из губернского города стали привозить по железной дороге мебель, кровати, зеркала. Марья Андреевна не знала, как поступать со множеством накладных и куда все это ставить. В довершение всего, от предводителя прислали роскошную коляску на желтом ходу, пару лошадей и толстого, краснорожего кучера, которого не знали, куда поместить и чем кормить. Лошади бесились в конюшне, ревели, топотали и мешали Марье Андреевне спать. Кучер барином расхаживал по усадьбе и курил цигарки, и Марье Андреевне всякий раз казалось, что вот-вот он подожжет Игнатьевку, и она запылает со всех концов.

Марья Андреевна обо всем писала Софье в Москву, прося ее как можно скорее возвратиться домой. Не скрывала она от нее и того, что ее комнате угрожает опасность, и это жестоко обидело Софью. Она совсем

уже собралась ехать в деревню, как получила от Сержа телеграмму, что он сам едет в Москву и хочет повидаться с сестрой и кстати познакомить ее с ее будущей невесткой, так как выяснилось, что всего приданого в провинции сделать нельзя и приходится поневоле отложить свадьбу до июля.

Софья сидела у себя в номере и, опершись лицом о ладони, читала лекции, когда в коридоре раздался вдруг разговор и затем кто-то постучал к ней в дверь.

Ожидая со дня на день брата с невестой, она вскочила, немного разволновалась и инстинктивно одернула кровать и переставила с места на место книги.

— Войдите! — крикнула она.

Дверь отворилась, и вошел посыльный в красном картузе.

— Барышня Игнатьева? — спросил он.

— Это я,— отвечала она.— Что вам угодно?

Он протянул визитную карточку Сержа, на которой его рукою было написано: «Мы приехали и остановились в Большой Московской. Приходи около двух».

— Скажите, что хорошо! — проговорила она, чтобы отпустить посыльного, и, вертя перед собою карточку, в волнении заходила по тесной комнате.

Боже мой! За что такая обида? Она ожидала Сержа к себе, она соскучилась по нем, как по родном брате, с которым прожила вместе всю свою жизнь, а он не находит минуты, чтобы навестить ее, прийти к ней самому, и посылает за ней этого посыльного с карточкой, которую даже не запечатывает в конверт! Нет, она не пойдет к нему, она не станет унижаться перед своей будущей невесткой и не желает поощрять в брате его снисходительного отношения к сестре!

— Пусть себе ждут! — проговорила она и снова уселась за лекции.— Не пойду!

Но по мере того как стрелка подвигалась к двум, она начинала волноваться и терять самообладание. Родственное чувство говорило в ней сильнее, чем ее гордость, ей хотелось повидать брата, которого она любила, расспросить его о матери, об усадьбе, обо всем, и в то же время женское любопытство подталкивало ее пойти и посмотреть на невесту брата. Она долго боролась с собой, и, когда часы показали два, она стала подыскивать оправдания в том, что, быть может, брат и его невеста с

дороги устали и потому не могли прийти к ней сами, а может быть, и то, что она младшая сестра, и это обязывает ее явиться первой.

Она надела свое лучшее платье, по привычке хотела было причесаться, но вспомнила, что волос у нее уже нет, и отправилась в Большую Московскую гостиницу.

Брата она в номере не застала, он вместе с невестой завтракал в ресторане. В номере стояла большая атласная коробка конфект и лежали на столе дамские перчатки и шелковый зонтик. От них пахло какими-то новыми духами. Софья села на диван и стала поджидать появления Сержа.

Но вот послышались мягкие шаги и шелест шелкового платья, лакей распахнул перед Сержем дверь, и он вошел вместе с невестой в номер. Софья поднялась с места и подошла к нему.

— Здравствуй, Серж! — радостно воскликнула она и протянула руку.

Серж остановился, посмотрел на нее, нахмурил брови и сухо ответил:

— Здравствуй, сестра...

Она потянулась было к нему, чтобы поцеловаться, но это не вышло.

— Позволь представить тебе, Нюся, мою сестру... Софью Михайловну!

— Очень приятно...— отвечала Нюся.— Надеюсь, что мы с вами сойдемся... Я много слышала о вас.

Софья не знала, о чем с ней говорить, и, озадаченная, испытывала неловкое чувство. Ей было стыдно своей несветскости и в то же время стало обидно, что брат встретил ее не так, как того она ожидала... Наступило тягостное молчание.

— Ну мне пора...— сказала Нюся, надевая перчатки.— Мне еще в пассаж и в тысячу мест... Оставляю вас одних и желаю вам наговориться досыта.

Она приподняла вуаль, взяла из коробки конфекту и засунула ее в рот.

— До свиданья! — кивнула она Софье и вышла.

Софья сидела и молчала, а Серж, по обыкновению, когда был недоволен, заложил руки в карманы пиджака и заходил из угла в угол.

— Что мама? — спросила наконец Софья.

— Мама? Ничего! — отвечал Серж и заходил снова.

Софья подождала немного, а потом поднялась и направилась к двери.

— Прощай, Серж...— сказала она.

— Нет, подожди, сестра! — сказал он ей.— Мне еще нужно с тобою поговорить.

Она опустилась на попавшееся кресло и подняла на брата глаза.

— О чем? — спросила она.

— Вот что, сестра...— начал он и стал грызть себе ноготь.— В прошлом году, когда ты уезжала в Москву, ты хотела оставить за собою землю и отказывалась от усадьбы. Ты говорила, что земля тебе нужна для того, чтобы отдать ее мужикам или там кому-то еще, я не помню. Я ничего не вижу в этом хорошего, но теперь, когда я скоро буду женат и поселюсь вместе с Нюсей в нашей усадьбе, я просил бы тебя взять себе причитающуюся землю и оставить усадьбу за мной навсегда.

Бледные щеки Софьи покрылись румянцем, и глаза ее засверкали.

— Как же ты будешь без полного ценза? — спросила она.

— Землю мне дает мой будущий тесть,— отвечал он.

— Почему же тогда нам не оставить усадьбу общей?

— Потому что я там поселюсь с Нюсей, и она там будет полной хозяйкой.

— Другими словами, ты хочешь, чтобы в усадьбе хозяйками были не мать и не я?

— Вот именно... Я и Нюся ничего не имеем против тебя лично, ты можешь приезжать к нам, когда тебе угодно, мы всегда будем тебе рады, но ты готовишь себя в акушерки, в чем я тоже не вижу ничего хорошего, наконец ты можешь выйти замуж, и таким образом в усадьбе все равно ты не жилица.

— Ну а мать?

— Мать уже стара, да и к тому же она может жить то у меня, то у тебя...

В глазах Софьи замелькало. Она встала с кресла и, держась за его спинку, чтобы не упасть, и боясь, чтобы голос не изменил ей и не выдал ее волнения, проговорила:

— Давай... Где у тебя там?.. Я подпишусь... Давай бумагу!

— Ты серьезно, сестра? — спросил он, думая, что она шутит.

— Давай скорее! — крикнула она и опустилась снова в кресло.

Он подошел к столу, что-то долго писал на большом листе бумаги и потом перечитал вполголоса написанное. «Кажется, так?» — подумал он.

— Вот! — сказал он и, подав ей перо, продиктовал: — Потомственная дворянка... девица... Софья Михайловна Игнатьева.

Она подписала бумагу и, не в силах подняться с места, некоторое время сидела и большими, изумленными глазами смотрела на брата.

Серж положил бумагу в портфель, достал оттуда другую бумагу и подал ее сестре.

— Это твоя доверенность, Софи...— сказал он.

Она машинально взяла от него бумагу и, все еще не спуская с него глаз, никак не могла прийти в себя и узнать в этом человеке брата.

— А теперь, Софи,— обратился к ней Серж,— позволь мне, как старшему брату, поговорить с тобою по душам. Ты хочешь меня выслушать?

— Да...— отвечала она безучастно.

— Я вот о чем... Я нисколько не отрицаю женской эмансипации, я всегда был и буду на стороне женщин, я признаю вполне влияние их на успехи знания, но, прости меня, я совершенно отказываюсь понимать это стремление оригинальничать, выделяться хоть чем-нибудь из толпы. В том, что ты захотела идти на какие-то там акушерские курсы — бог с тобой! — не было еще ничего предосудительного, но едва только ты попала в среду этих ученых старых дев, как ты остригла себе волосы, сделала это в угоду им и стала синим чулком!

— Я была больна...— прошептала Софья.

— Да, синим чулком! — продолжал он, не слушая ее.— Вместо того чтобы выходить замуж, быть достойными женами и матерями семейств, вы бьете с носка, вы хватаете выше, чем можете достать, и конфузите этим ваших близких родных и самую науку. Зачем ты остриглась? Что это на тебе за костюм? Куда девался твой цвет лица? Знаю, знаю! Под предлогом совместного чтения лекций — пирушки всю ночь до утра и

дрыхание днем вместо ночи, прямо в платье, не раздеваясь! Я так любил тебя, так восторгался тобой, я так расхваливал тебя Нюсе, что, когда мы приехали сюда, моей первою мечтою было познакомить тебя с нею. И что же? Мне докладывают о тебе, я лечу с Нюсей к тебе навстречу — и вдруг, к ужасу своему, встречаю вместо тебя сухой, остриженный синий чулок! Бедная, бедная наша мать!

Он схватил себя за голову и забегал взад и вперед по ковру.

— Прощай, Серж!..— сказала Софья и вышла из номера.

Она не помнит, как она очутилась на улице, как почему-то попала в Кремль и смотрела на Замоскворечье и как потом оказалась у себя дома. Вокруг нее кипела жизнь, сновали туда и сюда прохожие, где-то звонили к вечерне. Она шла по узеньким тротуарам, безучастная ко всему, и мучительно старалась припомнить, где и когда Серж бил ее темляком по голове. Она помнит, что еще в прошлом году он просил ее купить темляк в Москве, но тогда она не исполнила его поручения и с тех пор до нынешнего дня ни разу не виделась с братом. Где же это было? Когда он ее бил?

Когда она шла по улице, было очень ветрено, и пыль поднималась целыми облаками, попадала ей в глаза и хрустела на зубах. Придя домой, она легла на кровать и долго не вставала. Ей хотелось подняться, умыться, но она не могла и провалялась так до вечера. А когда вечер наступил, она снова вышла на улицу и долго бродила. К ней приставали мужчины, но она молчала и не обращала на них внимания и вдруг, точно на что-то решившись, пошла на телеграф. Было уже поздно, когда она вошла туда, чиновник принял от нее телеграмму, выдал расписку, и она побрела к себе домой.

— Теперь уж кончено все! — вздохнула Софья.— Детство, родные места, первая любовь... прощайте навсегда!

Над городом повисла бледная, задумчивая июньская ночь. На востоке поднималась заря.

Наутро Марья Андреевна получила со станции с нарочным телеграмму: «Я не возвращусь к вам более никогда!»

Телеграмма вывалилась из рук Марьи Андреевны, и она в бессилии опустилась на ступеньку балкона.

— Это все Серж! Серж! — воскликнула она и залилась слезами.

Из комнаты вышла на террасу гостившая в Игнатьевке тетушка Любовь Андреевна и, увидав Марью Андреевну всю в слезах, а на полу валявшуюся телеграмму, сделала полные ужаса глаза и задрожала.

— Сейчас должно случиться нечто ужасное! — сказала она и, вытащив из кармана флакончик, стала глотать крупинку за крупинкой.

6. САХАР И ХЛЫСТ

Марью Андреевну повезли в губернский город, нарядили в шелковое сиреневое платье, надели белый кружевной чепец и в карете, с какими-то неизвестными ей барышнями, отправили в собор на венчание Сержа. В губернском городе она не была уже двадцать восемь лет, все в нем перезабыла, и, хотя ее поместили в предводительском доме, она чувствовала себя, как в гостинице. Возвратившийся из Москвы Серж передал ей, что Соня стала настоящим синим чулком, недостает только того, чтобы она курила и обзавелась ребенком, а с другой стороны, полученная от Софьи телеграмма подсказывала ей, что между братом и сестрой произошел разрыв — и это мучило старушку и не выходило у нее из головы. Ей было обидно и за то, что Софья так сразу переменилась к худшему, и за женитьбу Сержа, и за его грубые отзывы о сестре. Она разговаривала, улыбалась, но мысли о Софье ни на минуту не выходили у нее из головы, и, когда она стояла в соборе на венчании, когда вокруг нее шумели нарядные дамы и кавалеры и на два клироса пели певчие, она слушала и глядела, но не воспринимала того, что происходило, и на нее напало состояние безучастия ко всему. По окончании венчания к ней подходили, поздравляли, целовали, она отвечала на поцелуи и поздравления, но делала это машинально, и ей казалось, что вот-вот из толпы сейчас выйдет ее Софья, которая ласково припадет к ее плечу.

Была середина лета. Софью давно уже ожидали в деревне, но она не приезжала: значит, намерена была сдержать свое слово. И старушку сильно потянуло к дочери. А когда приехали в Игнатьевку молодые и Нюся забренчала ключами и стала заводить новые порядки, Марья Андреевна почувствовала себя в усадьбе лишней и засбиралась к Софье. Часто к ней в комнату приходила старушка нянька, и они вместе плакали втихомолку и обсуждали день отъезда.

Приехал в усадьбу Чубинский. Он взял отпуск и собирался к мамаше в Вильну, но можно было заранее сказать, что назад он уже не вернется. Он робко держал себя, выглядел забитым и за этот год очень похудел и стал сильно кашлять.

По всему было заметно, что жизнь его в уездном городе не сладка и что канцелярский труд был ему не под силу. Его поселили опять в том же флигельке, где он жил и в прошлом году, и снова из его окон полились в сад звуки виолончели.

Марья Андреевна была рада ему: в этих звуках ей вспоминалась прошлогодняя жизнь, когда еще Софья не уезжала из усадьбы, и в нем самом она видела человека, который был предан их семье и перед которым было не стыдно пожаловаться на судьбу.

— Что, Евсевий Викентьич? — сказала она, зайдя однажды вечером к нему во флигелек.— Думали ли мы, гадали ли мы, что так изменится наша жизнь?

Чубинский положил смычок на стол и отставил виолончель в угол.

— Ничего, Марья Андреевна, все войдет в свои берега...— ответил он.— Сергея Михайлыча выберут в председатели, Софья Михайловна окончит курс и заживет самостоятельной жизнью... И все будет хорошо!

Марья Андреевна вытащила платок и приложила его к глазам.

Чубинский взял ее свободную руку и с благоговением ее поцеловал.

— Вот мое положение гораздо хуже...— сказал он.— Доктора нашли у меня чахотку, Марья Андреевна, и посылают меня в Крым. И как это все сразу и незаметно случилось?.. Просто беда!

Марья Андреевна измерила его испуганными глазами.

— Ах, Марья Андреевна, дорогая, милая, бесценная Марья Андреевна! — продолжал Чубинский.— И что оно такое и за что оно весь век преследует человека! Один и не хочет счастья, а ему везет, а другой просит одну только крупицу, и ему отказывается и в ней. С самого моего раннего детства меня преследует судьба. Родился я в бедности, отец драл меня беспощадно за всякую малость, я боюсь вспомнить о своем детстве и до сих пор в ужасе просыпаюсь, когда мне приснится вдруг отец. Меня отдали в аптеку, но я любил играть на виолончели, думал, что из меня выйдет музыкант, и поехал в Москву. Чтобы не околеть с голоду, я поступил в оркестр, но меня там иначе не называли, как болваном и дураком. И не было у меня воли возражать, потому что в детстве из меня нужда и отец выбили всякую волю. Затем ваш Серж привез меня сюда и стал обращаться со мной, как с хамом. Я полюбил вас всех, как своих родных, я готов был умереть за вас, но Сергей Михайлович счел это за хамство, и, когда послал меня служить в эту ужасную канцелярию, я не нашел в себе сил и воли воспротивиться этому и поехал и тем доказал, что я действительно был ваш хам и приживал. Боже мой, что это был для меня за тяжелый год! Грубость, невоспитанность, а я, простите, человек мягкий! Прокуренная комната, стучат ногами и кричат — и все цифры, цифры, цифры!.. Меня называли на «ты» и швыряли мою работу прямо мне в лицо. У меня брали взаймы мои последние деньги и не отдавали назад. И при этом еще... моя несчастная любовь! Ах, дорогая, бесценная, милая Марья Андреевна, как жестоко меня преследует судьба! Для нее было всего этого мало, и она хочет теперь меня доконать. Вы знаете, у меня настоящая чахотка...

Он положил свою лохматую голову Марье Андреевне на плечо.

Марья Андреевна не поверила ему, ей хотелось даже побранить его за эти слова, но было жаль, и она стала гладить его рукой по его волосам. Она видела, что он нуждается в ее ласке, в участии, в теплом слове, в которых ему так жестоко было отказано судьбою, но у нее их почему-то не находилось, она никак не могла их подобрать и только гладила его по волосам, повторяя:

— Бог милостив... Бог милостив!..

На дворе раздался топот лошадей, и послышались веселые голоса Сержа и Нюси. Они катались верхом и только что возвратились домой. Нюся еще сидела на коне, а Серж сбегал в дом, принес оттуда сахару и стал кормить им лошадь Нюси. Они смеялись, а лошадь громко грызла сахар и попадавшие ей вместе с сахаром на зубы удила. В это время проходили через двор с поля две рабочие лошадки. Одна из них потянулась к руке Сержа, но он ударил ее хлыстом по шее, и она поплелась дальше.

Чубинский поднял голову с плеча Марьи Андреевны и грустно покачал головою.

— Так и наша жизнь...— проговорил он.— Кому сахар, а кому и хлыст!

Нюся слезла с лошади и вместе с мужем отправилась в дом. Вскоре затем из столовой открылось окошко, и в нем показалась фигура Сержа.

— Мама! — закричал он.— Где ты? Чай готов!

Марья Андреевна спохватилась, побежала в дом, и тотчас вслед за нею из флигелька потянулись звуки виолончели.

Было пасмурно, но тепло, и так же, как и в прошлом году, кругом стрекотали насекомые и далеко на реке в кустах кричала выпь.

— А сегодня наш делопроизводитель в ударе! — сказал Серж, прислушиваясь к виолончели.— Жаль только, что парень хамоватый, а то его можно было бы вывести и в секретари!

Марье Андреевне хотелось было вступиться за Чубинского, но она смолчала и, низко наклонившись над чашкой чаю, еле слышно проговорила:

— Хлыст и сахар...

— Тебе, мама, сахару?— спросила Нюся и придвинула к ней сахарницу.

Старушка взяла из приличия кусочек, положила его в чашку да так и оставила чашку недопитой.

На другой день к вечеру Чубинский уехал, и вскоре после него уехала в Москву и Марья Андреевна.

Она ожидала, что расставанье с Сержем и с усадьбой будет ей не под силу, что она расплачется и ее будут уговаривать не ездить вовсе, но все обошлось как-то просто, благоприлично и даже немного обидно: ее никто не проводил до вокзала. Только когда она села

в вагон и тронулся поезд, она вдруг ясно осознала, что она уже нигде больше не найдет себе своего дома и нигде больше не будет хозяйкой.

Станции, будки, деревни замелькали перед ней, а она, столько лет не выезжавшая из усадьбы, боялась на них смотреть и, забившись в уголок, в массу багажа, только повторяла:

— Да будет воля твоя!..

Она не писала дочери о дне своего выезда, сама разыскала ее в Москве и, отворив дверь в ее номер, остановилась на пороге. В это время Софья сидела у стола, к ней спиною, и читала. Сердце у старушки забилось. Софья думала, что это пришла горничная убирать ее комнату, и не оборачивалась. Марье Андреевне хотелось броситься к дочери и прижать ее к сердцу, но предупреждения Сержа удерживали ее. Видя, что Софья все еще сидит к ней спиною, она кашлянула. Софья обернулась, увидала мать и, громко взвизгнув от радости, бросилась к ней на шею.

— Мамочка! Мама! — закричала она.— Дорогая мама!

Она сжала старушку в объятиях, поцеловала ее в щеки, в глаза, в губы, в шею. Она чувствовала, что радость подступила ей к горлу, мешает ей говорить, и только повторяла:

— Мама! Мамочка! Мама!

Затем обе они сели на кровать. Старушка то и дело хватала ее за обе щеки ладонями, сжимала их, так что из губ Софьи получался бантик, и целовала.

Коридорный внес вещи и, не дав Марье Андреевне оправиться, потребовал от нее паспорт. Она засуматошилась, позабыла, куда его засунула, и долго искала. А когда коридорный ушел, она снова подошла к дочери, снова стала ее целовать и прижимать к сердцу. Нет, ее дочь все такая же, какая и была! Она нисколько не изменилась к своей матери! Только бы вот не эти короткие волосы...

И она провела рукою по ее голове.

— А я, мамочка, здесь очень хворала...— сказала ей Софья.— Полтора месяца пролежала в больнице, одна, без памяти. Говорят, в бреду скандалила и дурила...

Старушка сделала испуганные глаза.

— Голубушка моя! — воскликнула она.

— У меня был брюшной тиф, мама...

Марья Андреевна несколько раз перекрестилась.

— Господи, спаси и помилуй! — сказала она.— Когда же это было?

— Великим постом и на святой...

— То-то ты у меня из головы ни на минуту на выходила! И тебе не стыдно было не написать мне?

— Что, думала, вас беспокоить! Приеду — сама расскажу.

Старушка погладила ее по голове и долго целовала.

— Ну ничего...— сказала она.— Слава богу, что поправилась... Теперь у тебя волоски будут виться... Ты не тужи! А Сергейка-то мой наплел с три короба! Что у вас с ним тут произошло?

Софья нахмурилась и не отвечала.

Они позавтракали и поехали осматривать Москву, а на другой день, далеко на окраине, наняли себе особнячок в три комнаты с кухней и зажили своим хозяйством. Сначала стряпала сама Марья Андреевна, а потом они выписали из Игнатьевки нянькину внучку Дуняшу и передали ей кухню. После деревенского приволья старушке было на новом месте непривычно, она скоро заскучала, но, чтобы не тревожить Софью, помалкивала и терпеливо несла свой крест.

«Сыты ли там куры? — вздыхала иногда она, вспоминая об усадьбе.— Ах, покойничек, покойничек, как это мы с тобой, голубчик, так плохо распорядились!»

А то она вдруг заливалась слезами и начинала жаловаться на Сержа.

«Ну, Сереженька! — говорила она.— Не ожидала я от тебя такого!»

Наступила осень, задул ветер, полились с неба ручьи, и стало рано смеркаться. На улице с утра и до вечера стояла грязь, и старушка никуда не выходила из дому, вязала чулки или по целым вечерам раскладывала пасьянсы, а нянькина внучка садилась недалеко от нее и почтительно слушала ее воспоминания о прежней жизни. Софья целые дни, а иногда и ночи проводила то на лекциях, то на дежурствах, приходила усталая и уходила снова, и дни мелькали за днями.

Был праздник. Софья в этот вечер была дома и сидела с матерью за столом у самовара. Топилась печка.

Чай давно уж был отпит, самовар потух, на дворе с утра хлестал осенний дождь, и было холодно и неприютно, и как-то не хотелось подниматься из-за стола. Говорили об Игнатьевке, о Серже, о невестке, обеим было тепло от воспоминаний, и казалось, что там, в усадьбе, теперь погода совсем иная, чем в Москве, и как-то не хотелось даже верить, что и там тоже бывают почти такие же и осень и зима. Софья скучала по усадьбе и любила говорить о ней. И теперь, опершись на локоть, она прислушивалась к говору старушки, а сама смотрела задумчиво на отражение лампы в самоваре, и прошлогодние картины проходили у нее перед глазами. В ее воображении проносились игнатьевский дом, ее комнатка, оклеенная голубыми обоями, сад, поднимающийся в гору, и фигура Заречного, похитившего ее сердце и изменившего ее жизнь. Боже мой! Как она соскучилась по нем! Как страстно ей хотелось бы увидать его хотя бы одним только глазком, услышать его голос, почувствовать его около себя! У нее не было его портрета, но его образ запечатлелся в сердце навсегда, и стоило ей только захотеть, и он как живой вырастал перед ее глазами.

Дождь хлестал по стеклам, старушка вела свой разговор, а Софья смотрела на самовар и старалась думать о Заречном, о своей жизни... За что ее так преследует судьба, зачем ей отказано в его любви, зачем понадобилось, чтобы она так тяжко хворала? Тетушка Любовь Андреевна боится возмездия за грехи своего отца. Если, действительно, на земле существует закон отплаты, если родственники до второго и третьего колена, действительно, несут ответственность за грехи своих отцов, то зачем этот выбор пал именно на нее? Чем она виноватее других?

В передней раздался вдруг звонок. Раз и другой. Дернули так, точно хотели его вовсе оборвать. Было несомненно, что это шалили мальчишки или позвонил дворник или городовой. У Марьи Андреевны похолодело под сердцем и задрожали колени.

— Свят, свят, свят! — сказала она и перекрестилась.— Вот так позвонили!

Дуняшка побежала отворять дверь, раздались бренчанье замка и стук железного крюка, и минуты через две в комнату ворвалась струя свежего воздуха и снова

вбежала Дуняшка, держа на руках какой-то узел, из которого доносилось не то мяуканье кошки, не то плач новорожденного ребенка.

— Что такое? — встревожилась Марья Андреевна.

— Гы-и! Ребенок! — осклабилась Дуняшка.— Подкинул кто-то!

— Спаси и помилуй, царица небесная! — перекрестилась Марья Андреевна.— Этого еще недоставало! Куда же мы его денем?

Софья подошла к узлу и стала его разворачивать. Маленький красненький младенец лежал в нем и сосал себе кулачок. Все нагнулись над ним, стали рассматривать его, а он вынул кулачок изо рта, сморщил мордочку и чихнул три раза подряд.

— Будь здоров! — крикнула Дуняшка.— Расти большой!

Софья умело взяла его на руки, осмотрела со всех сторон, передала его Марье Андреевне и стала рыться в его одежке.

— Здесь должна быть записка! — сказала она.— Где же она? — И, поднеся к огню лохмотья, увидела в них комочек бумаги. Она развернула его и прочла: — «Не крещена, восьми дней, простите христа ради».

— Что же ты теперь намерена с ним делать? — спросила Марья Андреевна.— Как нам поступить?

Софья прошлась по комнате и провела рукою по волосам.

— Да как поступить?— отвечала она.— Разумеется, надо оставить!

— Что ты, что ты, безумная? — в ужасе воскликнула Марья Андреевна.— Ты с ума сошла! Надо послать скорее за полицейским, а ты говоришь такие пустяки!

И она стала завертывать младенца в его лохмотья.

Софья взяла ребенка из рук матери и прижала его к себе.

— Ребенка подкинули нам, мама, и мы обязаны если не воспитать его, то по крайней мере хоть пристроить в хорошие руки. Нам оказано доверие, и ты не знаешь, какие мучения испытывает мать незаконного ребенка с формальностями даже в воспитательном доме! Ты видишь, он даже еще не крещен! Когда бросают щенка в канаву и он пищит, мы не можем пройти мимо него без сострадания и подбираем его. Зачем же

отказывать в сострадании ребенку? Разве это хорошо?

— Да ведь тебя, глупую, с ребенком-то никто замуж не возьмет! — крикнула на нее мать.— Ведь это срам!

— Мама! — строго посмотрела на нее дочь.— Ты ли это говоришь?

— Да, я! — снова заговорила мать.— Я не хочу, чтобы ты губила свою жизнь! Достаточно твоих остриженных волос! Не все ведь знают, что ты была больна, и не для всех будет известно, что это подкидыш! Дай его сюда!

И она силою вырвала ребенка из рук Софьи.

— Успокойся, мама,— сказала ей дочь.— Мы покормим его месяца три-четыре, дадим ему немножко подрасти и пристроим его где-нибудь в деревне. Это надежнее, чем относить его в воспитательный дом. Довольно там мрет и своих!

И она накинула на себя платок, пальто и, хлопнув дверью, вышла из дому. Вскоре она вернулась с аппаратом Сокслета и с молоком и засуетилась около ребенка. Его помыли в корыте и, за неимением белья, обернули в полотенце. После купания он скоро заснул, а Марья Андреевна склонилась над ним и долго напевала ему песни, как в былое время над Сержем и Соней.

— Ах, беда, беда! — вздохнула она, отходя наконец от ребенка.— Одни не могут на детей надышаться, а другие подкидывают их, как щенят... Вот уж именно сахар и хлыст!

И ей вспомнилось, как, вернувшись из Москвы, Серж сказал ей, что теперь недостает только того, чтобы Софья обзавелась ребенком.

— Глупо, глупо!..— сказала старушка.— Не девичье это дело... Не девичье совсем!..

7. ИТОГ

Марье Андреевне показалось, что недалеко от своей квартиры она увидала доктора Заречного. Она бросилась за ним вдогонку, но он сел тотчас же на извозчика и укатил. Не сказав об этом ни слова Софье, она отправилась в адресный стол, взяла там справку, и, действительно, оказалось, что Заречный в Москве и остановился в номерах на Бронной. Целых два дня старушка

дежурила около его номеров и наконец его увидала. Ребенок без нее плакал, оба дня Софьи не было дома, Дуняшка не умела с ним управляться, но Марья Андреевна решила довести дело до конца и затащить к себе Заречного во что бы то ни стало.

В высокой барашковой шапке, размахивая толстой палкой, он вышел из крыльца и направился как раз в ее сторону. Он шел задумчиво, опустив вниз глаза, и левой рукой теребил бородку: по-видимому, о чем-то думал. Марья Андреевна сделала невинный вид, точно встречается с ним случайно, и, когда он поравнялся с ней, окликнула его:

— Николай Николаевич!

Он обернулся, узнал ее, и лицо его просияло.

— Марья Андреевна! Голубушка! — воскликнул он.— Как поживаете? Сколько лет, сколько зим! Вот не ожидал-то вас здесь встретить!

— Да...— отвечала Марья Андреевна, чувствуя, что на глазах у нее сейчас засветятся слезы.— Гора с горой... а человек с человеком... Знаете?

Они пошли вместе. Он заговорил с нею о том, что приехал в Москву защищать диссертацию, приглашал ее в университет послушать, а она семенила около него, еле поспевая за ним, кое-как отвечала на его вопросы и не знала, о чем ему рассказать.

На Никитской они расстались, и он дал ей слово зайти к ним непременно.

Весь этот вечер и следующий день Марья Андреевна шутила, смеялась, но ничего не говорила Софье. Она ожидала, что вот-вот раздастся звонок и к ним явится Заречный. Только бы вот Софья никуда не уходила!

— Ты бы, Соня, с недельку отдохнула...— сказала она дочери.— Посидела бы дома!

— А что? — удивилась та.

— Да так... ничего... А то без тебя скучновато как-то! Все одна да одна...

Но Софья оделась и отправилась в воспитательный дом.

Была суббота, зазвонили ко всенощной. Софьи все равно не было дома, и старушка, утомившись целый день дожидаться доктора, отправилась в церковь. Было холодно, ветер пронизывал насквозь, и с неба срывалась крупа.

Когда она возвратилась, Софья еще не приходила, и ребенок кричал ужасно. Марья Андреевна взяла его, перепеленала и стала ходить с ним из угла в угол, чтобы укачать. Он кашлял, чихал, и видно было, что он простудился.

— А здесь без вас барин приходил,— сказала Дуняшка.

— Какой барин? — испугалась Марья Андреевна.

— Да тот самый, что дома к нашей барышне сватался! Гы-и! Как его?.. Он еще доктор!.. Лечит!..

Марья Андреевна так и опустилась на диван. Значит, Заречный был без нее!

— А что ребенок-то, ребенок? — спросила она, чувствуя, как начинают холодеть ее ноги.— Кричал?

— И-и! Страсти господни! — отвечала Дуняшка.— Я с им и отпирать ему выходила. Он посмотрел на него, по щечке потрепал да и спросил меня: «Чей это?»

— Ну а ты ему что?

— А я ему и говорю, что, мол, это наш!

Марья Андреевна поднялась с дивана и, не помня себя, подскочила к ней.

— Дура! Дрянь! — закричала она на нее, и слезы градом покатились у нее по щекам.

Поздно вечером возвратилась Софья и, узнав, что у нее был Заречный, так обрадовалась, что не могла заснуть и всю ночь до самого утра проходила из угла в угол по комнате. А когда стало рассветать, она бросилась к матери на постель, подлезла к ней под одеяло и стала ее целовать. Старушка прижимала ее к себе и, глядя на ее короткие волосы и вспоминая о вчерашнем эпизоде, считала счастье дочери потерянным навсегда и мысленно восклицала: «Ищи теперь ветра в поле! Бедная, бедная Соня! Бедный синий чулок!»

Заречный в другой раз так к ним и не пришел. Это волновало Софью, она плакала, подозревала, готова была сама бежать к нему, и в то же время чувство горькой обиды поднималось у нее из глубины души за то, что он мог иначе объяснить себе появление в ее доме ребенка. Она забросила все свои занятия, целые дни бродила от окна к окну в надежде увидеть, как он подъедет к их крыльцу, и недосыпала. К этому прибавились еще мучения с ребенком. Он кашлял, хрипел, всю грудь ему заложило, он не унимался ни на минуту,

и вот уже целую неделю весь дом был на ногах. Позвали доктора, он сказал, что у него воспаление легких. Было ясно, что его простудила Дуняшка, вышедшая вместе с ним отпирать тогда Заречному. Ребенок был так слаб и мал, что не было надежды на его выздоровление. Звали доктора, покупали лекарства и просиживали у его колыбели целые ночи напролет для того, чтобы после их не упрекнула совесть. На десятый день ребенок умер.

Марья Андреевна купила за целковый гробик, положила в него тельце, снесла его в церковь, там его отпели, она села на извозчика, поставила себе гробик на колени и повезла на кладбище. Шел снег, и было ветрено попрежнему. Извозчик обвязал себе голову платком, и у Марьи Андреевны сильно зябли сквозь перчатки пальцы.

Она ехала на кладбище и никак не могла дать себе отчета, зачем это судьбе понадобилось свести их с доктором Заречным, забросить всех их потом в Москву, так круто изменить их жизнь и навязать им этого несчастного ребенка? Она смотрела на эти длинные заборы, на некрасивые деревянные дома, прикорнувшие у самого кладбища, перед которыми каждый день проносили по сотне покойников, и ей казалось непонятным, как это можно так мало любить деревню, чтобы поселиться в городе в таких именно местах.

И ей страстно захотелось к себе в усадьбу, где она уже не увидит больше этой тесноты, этой сутолоки, где мирно и тихо протекла ее жизнь и где и после смерти ее ожидало уютное деревенское кладбище, с деревьями, на которых поют птицы, с полевыми цветами и с лирикой, присущей только деревне. И она с ужасом посмотрела на иззябшие кресты, массами потянувшиеся у нее перед глазами, на эту тесноту, где, кажется, негде пронести человека и где деревья только занимают место.

Шел снег, и было похоже на то, что должна уже установиться зима.

Марья Андреевна возвратилась домой с кладбища, и ей показалось вдруг в комнатах так тесно, неуютно, чуждо... Точно она в них никогда и не живала!

Софья куда-то собиралась и перебегала от предмета к предмету.

— Ты куда? — спросила ее старушка.

— В университет... Сегодня Заречный там защищает диссертацию...— отвечала она.

— Разве сегодня?

— Ты сама же мне об этом сообщила!

— Ну, иди, иди... Только я бы на твоем месте не пошла.

Софья поглядела на мать, хотела было ей ответить, но раздумала и вышла из квартиры.

В десятом часу вечера она вернулась домой, мрачная и расстроенная, не раздеваясь, бросилась на кровать и горько зарыдала. Потом она поднялась, достала бумагу и конверт и написала Заречному письмо:

«Сейчас я видела вас и разговаривала с вами. Как жестоко вы отнеслись ко мне! Я не могу бить камни, ковать железо и т. п., но не мешайте мне быть человеком, дайте мне право, которое принадлежит не одному мужчине и не одной женщине, а человеку вообще,— право свободно высказывать свое чувство, наследовать одинаково с другими и свободно протянуть руку помощи своему ближнему.

Я полюбила вас! Я первая сказала вам об этом — и вы приняли это за то, что я вешаюсь вам на шею! Я хотела отдать свое имение мужикам, но мне причиталась какая-то четвертая часть неведомого имущества не то в усадьбе, не то в земле, и я была поставлена в зависимость от брата и должна была отказаться от всего. Я болела тифом, и в больнице мне остригли волосы — и вы подумали, что я сделала это сама, чтобы обращать на себя внимание хоть этим. Я взяла на воспитание подкинутого мне ребенка — и вы сейчас же сочли его моим... Как все это не похоже на вас и как это мелко, мелко, мелко!.. Неужели же быть мужчиной — значит не разрешать женщине того, что ей принадлежит по праву? Неужели женщина всегда должна вам лгать, всегда материально от вас зависеть и всегда бояться каждого доброго порыва?

Повторяю, я не могу ковать железа, но любить я имею полное право, данное мне богом, и имею такое же право сказать об этом, как и мужчина. Я люблю вас до сих пор, повторяю вам это откровенно, потому что не желаю и не считаю нужным лгать, и как хотите, так и объясните себе это мое вторичное признание».

Она запечатала это письмо и сама снесла его в почтовый ящик. Было холодно, темно, шел дождь, смешанный со снегом. Она посылала это письмо, и ей казалось, что она окончательно подводит этим итог своим надеждам и что больше уж незачем жить и нечего ждать от жизни. И если бы у нее не было матери, которую она любила и которую это могло бы свести в могилу, то она не задумалась бы расстаться с жизнью и сумела бы покончить с собой. Она шла по улице, чуждая всем и всему, ей не хотелось возвращаться к себе домой, где все ей стало так противно, и, едва преодолевая порывы ветра, с мокрым лицом и иззябшими руками, она шла, куда глядели ее глаза. Потянулись какие-то заборы, потом эти заборы расступились и дали место огородам, на которых торчали из-под редкого снега кочерыжки от капусты, справа, где-то очень далеко, замелькали электрические фонари, и в темноте перед Софьей обрисовалась громадная клетка Крымского моста. Она вошла в эту клетку и перевесилась через перила... Внизу бежала мутная Москва-река, было холодно и неприятно — и так чуждо-чуждо! Одинокий городовой стоял на мосту в клеенчатой накидке; увидав Софью, он подошел к ней, взял за плечо и сказал:

— Иди, иди своей дорогой!

Она послушно сошла с моста и побрела дальше, сама не зная куда. Гудели телеграфные и телефонные столбы, и на улицах было темно и пустынно.

Только под утро она вернулась домой и, мокрая, продрогшая, едва добралась до стула. Марья Андреевна, предполагавшая, что она отправилась на дежурство в воспитательный дом, не беспокоилась о ней, но, увидавши ее в таком виде, испугалась, стала ее раздевать, засуетилась, уложила в постель. Зазвонили к ранней обедне, и в окно заглянул рассвет, а Софья все еще не спала и большими унылыми глазами смотрела перед собою. Она ни на что не жаловалась, ничего не просила, послушно дала себя растереть уксусом с водкой и послушно напилась малины. А когда пробило девять часов, Марья Андреевна, видя, что она все еще не засыпает, послала за врачом.

В двенадцатом часу раздался звонок, и явился врач, но это был совсем не тот врач, которого ожидала Софья. Он торопливо скинул с себя пальто и калоши,

торопливо осмотрел больную, нашел у нее инфлюэнцу, прописал что-то и так же торопливо ушел.

Вечером старушка не утерпела и отправилась на Бронную узнать о Заречном и пригласить его к себе, но там ей сказали, что только сегодня утром он получил какое-то письмо, забрал свои пожитки, уплатил по счету и уехал неизвестно куда.

Возвратясь домой, старушка вошла прямо к Софье и, усталая, присела к ней на кровать. Потом она взяла ее за руки и пристально посмотрела ей в глаза.

— Ты была у него? — спросила ее Софья.

Марья Андреевна утвердительно кивнула ей головой.

— Ну и что же он? — снова спросила Софья.

— Уехал неизвестно куда... Получил какое-то письмо и уехал.

— Это я ему писала...

Старушка поднялась с кровати и сделала серьезное лицо.

— Ты думаешь, что мужчина хоть когда-нибудь простит тебе, если ты будешь вешаться к нему на шею, или забудет вот эти короткие волосы и даже не твоего ребенка? — сказала она и печально покачала головой.— Нет, Соня, нет! Дорогое дитя мое, прости меня, но, пока на свете существует любовь и брак, мужчина всегда будет искать в тебе прежде всего не ум, не образование, а женственность и чистоту. И раз ты дала ему повод усомниться в них, тебе уже нечего ждать от жизни, и ты должна считать свою игру проигранной и свое счастье потерянным навсегда. Больше ничего!

Ночью пришла от кого-то телеграмма. Прислуга спала и долго не выходила к телеграфисту, так что Марье Андреевне пришлось вставать с постели и отпирать ему самой. Щурясь от свечи и ежась от охватившего ее холода, она дрожащими руками передала дочери телеграмму.

«Не от него ли?» — подумала Софья, и сердце у нее забилось.

Она распечатала телеграмму, но тотчас же гадливо отбросила ее от себя.

— Что такое? — спросила ее Марья Андреевна.

— Так, ничего... Читай сама! — ответила Софья и отвернулась к стене.

Марья Андреевна подняла телеграмму, поднесла к глазам и прочитала:

— «Получил земского начальника. Поздравляйте. Серж». Ну дай бог ему! — сказала она и несколько раз перекрестилась.

Она снова улеглась в постель, но еще долго не могла уснуть. На дворе стояла непогода, ветер гнал тучи снега, и ей почему-то приходил на ум не Серж, о котором она старалась заставить себя думать, а Чубинский, которого она понимала больше, чем Сержа, и судьба которого была ближе к ее сердцу, чем карьера сына.

«Где-то он теперь?» — думала она про него.

А в это время Софья ворочалась с боку на бок, не могла уснуть, и чувство обиды за свою жизнь наполняло все ее существо.

«Синий чулок! — повторяла она про себя.— Синий чулок!»

И ей хотелось обратиться в непогоду и вместе с этим ветром и снегом дуть у каждого окна и всем говорить о своем несчастье и в то же время злиться, грозить, умолять...

А Заречный сидел в эту ночь в вагоне, то и дело перечитывал письмо от Софьи, хотел верить ему, но какой-то внутренний голос предостерегал его и шептал: «Доказательств!.. Доказательств!»

Но и какой-то другой голос говорил ему, что все это правда, что если любишь, то все простишь, и ему захотелось вдруг поскорее вернуться назад, к Софье, броситься к ее ногам, просить ее начать с ним новую жизнь. Он знал, что счастье еще возможно для них обоих, что стоит только поверить, отнестись с уважением, простить... Но мужчина заговорил в нем сильнее, чем человек, и он еще долго стоял у окна и всматривался в темноту, где иногда робко мелькал огонек в занесенной снегом деревне или же дерзко прорезала воздух искра от локомотива.

А поезд уносил его все дальше и дальше от Москвы.

СВИРЕЛЬ
повести

«ЕДИНАЯ ЖЕНА»

«Прошу вскрыть после моей смерти».

С такой надписью был доставлен мне, поверенному сестер Анны и Варвары Шунаевых, пакет, оставшийся в числе прочего имущества после умершего протоиерея отца Константина Устрялова. Я вел дело Шунаевых по утверждению их в правах наследства по завещанию покойного протоиерея, и они доставили мне этот пакет, адресованный на их имя, боясь распечатать его сами.

В пакете этом оказалась рукопись, не имевшая ровно никакого отношения к наследству. Я возвратил ее Шунаевым, не придавая ей почему-то серьезного значения. Они поручили мне огласить ее во всеобщее сведение, что я и делаю.

I

26 октября 18... года, тотчас же после рукоположения меня во священники, я ехал в тележке к себе в приход. Около меня сидела моя жена, которую я знал всего только седьмой день. Я женился на ней только четыре дня назад по приказанию архиерея и за это вместе с нею получил приход после ее покойного отца в селе Малые Журавны. Приход этот почему-то очень долго оставался без священника, и когда меня вызвали к архиерею, чтобы объявить мне об этом его решении, то почему-то меня торопили и, как показалось мне, улыбались и хихикали в кулак. И теперь, когда я ехал туда уже на всю свою жизнь, чувство какого-то странного беспокойства стало шевелиться у меня в душе.

Всю дорогу мы молчали. Не о чем было говорить. Был небольшой морозец, тележка прыгала по замерзшим колеям, в природе было уныло, серо и безнадежно, и почему-то так же уныло и безнадежно было и на душе. Пока еще я не был женат и пока еще благодать не сошла на меня через рукоположение, все казалось мне так просто и ясно, так легки казались предстоящие служба и проповедь во Христе и такой заманчивой жизнь в поповском домике с молодой попадьей, у которой своя корова, лошадь и эта тележка! Но когда я стал лицом к лицу с действительностью, когда я понял, сколько придется мне потрудиться над собой и над людьми, а главное, когда я сообразил вдруг, что кроме коровы, лошади и тележки нужна еще любовь, этот главный винт в семейной жизни, то я пал духом, и мне стало казаться, что я совершил преступление, наказанием за которое и должна послужить предстоящая мне жизнь.

Я правил и делал вид, что плохая дорога требует от меня внимания, тогда как это была просто отговорка для меня, чтоб только лишний раз не взглянуть на жену. Она простудилась, кашляла, и у меня не находилось в душе места для жалости хотя бы настолько, чтобы лишний раз укутать ей ноги.

К себе в Малые Журавны мы приехали поздно ночью. Долго стучали в свои ворота, и когда затем я распряг лошадь и поставил ее в хлев, то меня покачивало от усталости. Уже восемь дней как я был на ногах.

Вошли в комнаты. У образа горела лампадка, было тепло, но по комнатам стоял такой спертый воздух, что хотелось опять на улицу. Жена как вошла, так, не раздеваясь, и опустилась на стул, и ее вырвало. Ясно было, что ее укачало за дорогу. Я помог ей раздеться, уложил в ее постель (моей еще не было) и долго ходил по чужому для меня дому. Хотелось есть. Заглянул в кухню, в ней было темно, и слышно было, как шуршали тараканы. Неохота было будить кухарку. Я заглянул в комнату к теще, но то, что я увидел там, заставило меня отшатнуться назад. Теща была пьяна, и перед нею стояли бутылка водки и стакан.

Я слышал, что отец моей жены, иерей Петр, тяжко пил и умер от водки. Это тревожило меня, так как я

боялся, что прихожане мои разучились уже уважать своего духовника. Но я даже и не воображал, что запивала также и ее мать. И к той тревоге, которая не оставляла меня все время в пути, прибавилась еще новая.

Кричал сверчок, рядом стонала жена, а я все ходил взад и вперед и, несмотря на усталость, никак не мог успокоиться и вздремнуть.

Что я сделал? Куда я попал? Кто эти люди, с которыми мне придется делить свою жизнь?

Закричали петухи, потом замычали в хлевах коровы, и когда затем рассвет заглянул ко мне в окна, он увидел меня все так же на ногах. Я по-прежнему все ходил, как зверь, попавшийся в клетку, и теперь уже ясно сознавал, что выхода больше нет и что дверь жизни захлопнулась для меня навсегда.

Наутро я вошел к своей жене. Она лежала желтая, осунувшаяся, и казалось, постарела сразу на десять лет.

— Что с вами? — спросил я ее.

Она не ответила, и слезы показались у нее на глазах.

— Что с вами? — переспросил я ее.

— Страдаю...— ответила она чуть слышно.

Я пощупал ей рукою лоб.

— Чем же вы страдаете? Что у вас болит?

— Душа...

Сердце во мне заныло. Неужели пьянство ее матери и отца отразилось на ее душевном равновесии? Неужели она больна душою?

— Что же, собственно, с вашей душою? — допытывался я и боялся услышать ее ответ.

— Стыдно вас...— ответила она, и слезы градом покатились у нее из глаз.

А потом она соскочила с постели и поклонилась мне до земли. Коснувшись лбом пола, она так и осталась лежать передо мною. Ее рыдания надрывали мне душу.

— В чем же дело? — спросил я ее.— Зачем эти слезы? В чем мне вас прощать?

Она же схватила меня за ноги и, точно боясь, чтобы я не убежал, быстро заговорила:

— Не уходите, не оставляйте меня одну, иначе я наложу на себя руки...

Ужас овладел всем моим существом. Я поднял ее с полу и уложил обратно в постель. Затем я вспрыснул ее водою. Она успокоилась немного и поцеловала мою руку.

— Зачем вы женились на мне? — сказала она.— Зачем вы вошли в этот проклятый дом?

— Чем же он проклятый? — спросил я ее и почувствовал, как задрожали у меня колени.

— Отец был пьяница,— ответила она,— мать пьяница, а я...

— А вы? — продолжал я допытывать ее.

— Беременна...— ответила она и упала головою на подушку.

Судя по тому, как вздрагивали ее плечи, можно было заключить, что она рыдала. Я же стоял ошеломленный, уничтоженный, и мне показалось, что земля сразу выскочила у меня из-под ног и что потолок всей тяжестью своей свалился и ударил меня прямо по голове.

— Давно? — едва я имел сил спросить.

— Два месяца...

— А преосвященный это знал?

— Я рассказала ему все. Я не виновата перед вами.

В это время кто-то постучался в дверь. Я овладел собою и пошел отпереть. Это пришел ко мне дьячок, чтобы справиться, не прикажу ли я сегодня ударять. Вместо ответа тут же, в сенях, я бросился к нему на шею и зарыдал, как дитя. Он понял это, как наплыв счастья по поводу сознания на себе благодати, и тоже вынул красный платок и прослезился.

А затем мы вышли вместе в церковь, и скоро благовест сообщил моим прихожанам, что приехал к ним их новый поп. Я служил по книжке, не помню как, и хотел что-нибудь сказать прихожанам в приветствие, да так и не сказал. И когда я вышел затем с крестом, чтобы осенить им свое стадо, и сквозь дымку ладана и печальный сумрак утра разглядел эти бедные одежды, эти изможденные голодом лица и эту вопиющую бедность храма, то мне понадобилось все свое умение, чтобы сдержать себя и не лишиться чувств.

Такова была моя первая брачная ночь.

II

«Никто не должен знать о моем позоре»,— решил я, выходя из церкви.

Ко мне подходили под благословение, кто-то что-то мне говорил, дьячок спрашивал меня о чем-то, но я слышал их, как в полусне, не зная сам, что делаю и что говорю. Вероятно, я с первого же раза показался строптивым, но — бог мне судья — не хватало сил вести себя иначе.

Дьячок запер церковь и пошел восвояси, прихожане разошлись, и я остался один.

Камо иду?

Было морозно, с неба срывался снег, передо мною тянулся ряд убогих изб с зиявшими крышами, а позади меня, из-за церкви, виднелся ненавистный для меня дом, ставший теперь моим.

Чтобы не возвращаться домой, пошел вдоль села. Из убогих окон на меня выглядывали старики; мальчики в больших отцовских валенках и картузах ласково приветствовали меня; две-три старухи попались мне на пути. Все кругом было бедно, полуразвалено и говорило о тяжкой борьбе за существование и о душевной темноте.

В конце села — голубенький опрятный домик с палисадником и с занавесками на окнах. Сквозь двойные рамы, между которыми положена вата со стриженою цветною шерстью, виднеются спинки желтых венских стульев. Около домика — другой дом побольше, с коновязями и колодами для лошадей по бокам крыльца. У колоды — две-три подводы, побрякивающие бубенцами. На доме этом вывеска: «Трактирное заведение Семена Ивановича Деева». Сквозь открытую форточку вырывается наружу пар и вместе с ним сквернословие. Несмотря на раннюю пору, у Деева уже пьют крепкие напитки.

На крылечке голубого домика появляется человек лет тридцати, блондин, довольно прилично одетый.

— Здравствуйте, батюшка,— говорит он приветливо.

— Здравствуйте и вам,— отвечаю я.

— Чайку не угодно ли?

Я вспомнил, что не ел со вчерашнего полудня, а

главное — хотелось очень пить, и это участие ко мне чужого человека показалось мне ценным.

— Хорошо,— ответил я, и мы вошли.

Это был сам Деев. Все у него в доме было мило и опрятно, блестели гладко выкрашенные полы. У стены стоял стол под белой чистой скатертью, и на столе кипел самовар. В соседней комнате возвышалась постель с периной и с массой подушек, опрятно убранная.

Мы сели за чай.

— А ваша супруга? — спросил я у Деева.

— Я холост, батюшка...— ответил он.— Все думал жениться, да нынче невеста пошла уж не та... К тому же при нонешних временах содержать семью чрезвычайно накладно.

Он что-то еще говорил мне на этот счет, но я пил чай стакан за стаканом и поглощал белый хлеб, как голодный шакал, и ничего не помню из нашего разговора.

По ту сторону реки, на горке, на темном фоне елового леса виднелась красная крыша с двумя белыми трубами. Это была небольшая усадьба двух сестер Шунаевых, которые обе жили здесь безвыездно. Несмотря на то что они были уже не первой молодости, все мужики звали их барышнями. Была у них племянница Наденька, лет двадцати, над которой они дрожали и которую берегли как зеницу ока. Мне еще в городе говорили, что в семье этой любили, когда батюшка совершал всенощную на дому. Имением и всеми работами в нем управлял их дальний родственник, бывший студентом в Петербурге и высланный оттуда за принадлежность к какому-то тайному обществу. Фамилия его была Ракитский.

И теперь, когда я сидел у Деева и пил чай, мимо окон прошел какой-то человек в черной широкополой шляпе, в очках и с длинными, до плеч спускавшимися, волосами. Шел он в пледе и в больших болотных сапогах, и в руках у него была толстая сучковатая палка. Я не знал, кто это такой, но при одном только взгляде на этого человека мог бы с положительностью утверждать, что это был студент.

— Кто это? — спросил я у Деева.

— Это Ракитский, шунаевский управитель,— ответил он мне.— Ходят тут, девушек только смущают...

Последняя фраза ножом кольнула меня по сердцу и возвратила к действительности. Тысяча предположений закопошилась у меня в голове. Я не мог более оставаться у Деева и засбирался уходить. Но в это время отворилась с улицы дверь, и в ней показался Ракитский.

— Семен Иванович! — крикнул он.— Будет тебе спаивать людей! Утро чуть свет, а у тебя в кабаке уже пьяные дерут свои глотки! Ведь это грех!

А потом, увидев меня, он снял шляпу и шутовски раскланялся передо мной.

— Ах, батюшка! Простите...— сказал он.— Слона-то я и не приметил. Но какое трогательное единение: кулак-мироед, местный кабатчик и удав — и достопочтеннейший святой отец! Впрочем, это у нас в России всегда так! Попы всегда на стороне капитализма.

И, обратившись опять к Дееву, он продолжал:

— Если ты, Семен Иванович, не прекратишь спаиванье мужиков, то я тебе все стекла перебью!

Погрозив затем ему своей сучковатой палкой, Ракитский вышел.

Чем-то неприятным повеяло на меня от этого человека, и чувство неприязни к нему сразу сложилось у меня в душе.

«Не он ли? — думал я, идя к себе домой.— Не этот ли человек разбил жизнь моей жене?»

И чем дольше я об этом думал, тем более в этом убеждался. В самом деле, кто из местных жителей мог бы так увлечь девушку, чтобы она забыла себя и пошла на все? Конечно, он! Смешной для нас, мужчин, его внешний вид мог показаться ей оригинальным, его смелые, дерзкие речи могли казаться ей красноречием, его свободные поступки — изысканностью манер. Высланный из Петербурга, в ее глазах он был мучеником за идею, а его рассказы о столице вскружили ей голову. Да, это он!

Когда я возвратился к себе домой, теща еще спала, а моя жена, еле волоча ноги, бледная, с пятнами на лице, убирала комнаты — по-видимому, бесцельно переставляя предметы с места на место. После вчерашнего объяснения она боялась взглянуть мне в глаза, да и мне было как-то совестно начинать первому с ней разговор.

— Чай пили? — спросил я ее наконец.

— Нет еще,— чуть слышно ответила она.— Ожидали вас.

— Я уже пил.

Она по-прежнему переставляла вещи с места на место.

— Пейте же,— сказал я.— Я не буду!

Она не ответила и, как я после узнал, так и осталась вовсе без чаю.

Обедали все втроем — я, теща и жена — щами из мяса и жареной картошкой с солеными огурцами. Весь обед промолчали. Теща и жена, видимо, страдали. Казалось, что и я попал к кому-то чужому на хлеб, что меня боялись, стеснялись и терпели только потому, что так было надо.

Стеснялся и я сам и терпел их только потому, что тоже так было надо.

Господи, за что такое испытание? Чем я прогневал тебя, что ты не дал мне того, что имеют даже звери и птицы, — своего гнезда?

После обеда я вздремнул, и когда проснулся, то были уже сумерки. Сон не облегчил моей души, и, по мере того как становилось все темнее и темнее, тоска моя усиливалась. Хотелось кричать, рвать на себе одежды, жаловаться и стенать. Но к кому обращусь? Кому повем печаль мою? Кто исцелит мои душевные раны?

Заложив руки за пояс подрясника, я стал ходить и все думать и думать. Стемнело. Закричал сверчок за печью, и стало так жутко-одиноко.

За стеною раздался тяжелый вздох. Я заглянул туда.

На постели, во всю длину, лежала моя жена, бледная, как мертвец, и, не мигая, во все глаза глядела в пространство. Видно было, что и она так же мучилась, как и я.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я ее, стараясь придать своему голосу возможно более мягкости.

Вместо ответа она схватила мою руку и прижала ее к своим губам.

— Зачем вы мне сказали? — продолжал я.— Быть может, так бы все обошлось!

— Я думала, что вам уже известно все,— отвечала она сквозь слезы,— что вам уже сказали... Я хотела попросить у вас прощения...

Было тяжко, так тяжко, как еще никогда в жизни.

Мне стало жаль ее. Я хотел сказать ей что-нибудь в утешение, что-нибудь ласковое, но это у меня не вышло. Помявшись затем еще немного в ее спальной, я махнул рукой и вышел вон.

В тот же вечер за мной прислали от Шунаевых. Я обрадовался, надел свою новую рясу и побрел к ним пешком. Дул ветер прямо в лицо, и снег залеплял глаза. Было похоже на то, что хотела уже установиться зима.

Проходя мимо деевского кабака, я услышал брань и крик. Кто-то кого-то бил, кто-то кого-то ругал, а сам Деев стоял, подбоченясь, на крыльце и поощрял:

— Ты его под сердце! Под сердце! — кричал он.— Так его! Так! Ха-ха-ха-ха!

Мне было неприятно это слышать, но, вместо того чтобы унять эту драку, я постарался пройти так, чтобы меня не заметили, и спешил, спешил, точно убегал от чьей-то погони.

III

Вот и усадьба. Две собаки с безобидным лаем бросились на меня, и так почему-то было приятно подходить к домику с четырьмя деревянными колоннами, из-под которых ласково светились окна! На крылечке показалась старушка, крикнувшая на собак, а затем, увидев меня, она сказала:

— Ничего, батюшка, не бойтесь, они не кусаются!

Я вошел в дом. Было чистенько, тепло и уютно, и пахло чем-то приятным. На столах под зеркалами были вязаные салфетки, и всюду виднелись женские рукоделия: букеты цветов из шерсти и бумаги, абажур на лампе, бумажная танцовщица вместо экрана и т. д. У стены стояло пианино рыжего цвета. Мягкая мебель была покрыта белыми чехлами, и по чистому полу лежали свежие холщовые дорожки, так что не хотелось по ним ступать.

Почти тотчас же ко мне вышли две моложавые дамы с седыми волосами, одетые в одинаковые платья. Они обрадовались мне как родному и не знали, где меня посадить.

— Как это хорошо,— сказала одна из них,— что теперь у нас молодой батюшка! Не правда ли, Аннушка? А то прежний, царство ему небесное, такой был старый да неинтересный.

— Теперь весь наш приход легко вздохнет,— ответила Анненька,— а то, верите ли, батюшка, не у кого было исповедоваться. Забыли, когда и говели. Садитесь, пожалуйста!

И обе они стали говорить мне комплименты и высказывать надежды, что теперь у нас в Журавнах пойдет жизнь иначе, так как я молодой священник и, вероятно, приму ближе к сердцу интересы моих прихожан.

Стали пить чай.

После треволнений последних дней, после серости домашней обстановки здесь показалось мне так славно, так по-родственному, что я боялся даже подумать о том, что рано или поздно придется уходить домой. На дворе уже по-настоящему гудела метель, а я сидел здесь в ласке и тепле, пил чай и чувствовал, как оттаивало мое сердце.

Раздались шумные шаги ребят по лестнице из мезонина, затем все смолкло, и в комнату вошла миловидная девушка с длинной косой и с такими прекрасными глазами, какие пишут на картинах.

— Наденька,— обратилась к ней Анненька,— это наш новый батюшка отец Константин. А это наша племянница,— обратилась она ко мне,— сирота, осталась еще ребенком после нашего покойного брата.

Наденька тоже отнеслась ко мне как к родному. Оказалось, что, за отсутствием в Журавнах школы, она собирала деревенских ребятишек у себя на дому и учила их по вечерам грамоте. Она высказала надежду, что теперь, вероятно, я ей помогу и советом и делом, так как по неопытности своей она, кажется, учит не так, как в школе. Конечно, я обещал.

Что-то обаятельное и трогательное по своей простоте и искренности было в этих двух сестрах и милой девушке, их племяннице. Несомненно, они знали или догадывались о том, что я несчастливо женился и что получил неважный приход, и сочувствовали мне, но — странное дело! — когда светит солнце, то и на кладбище хорошо, и, согретый их лаской, я позабыл о своем душевном кладбище, о своем горе и шутил, смеялся и хотел казаться им счастливым новобрачным и удачным победителем в борьбе за существование. Вероятно, это у меня плохо выходило, но они радовались этой моей

радости, и я вспомнил выражение Жана Поля Рихтера, что для того, чтобы сочувствовать чужому страданию, достаточно быть человеком, но для того, чтобы сочувствовать чужой радости, нужно быть ангелом.

И они показались мне ангелами.

После чая я собрался уходить, но они удержали меня, и мы долго затем играли в лото. Ставка была по копейке, но не раз и не два я замечал, что они умышленно не закрывали свои номера, чтобы лишний раз дать мне выиграть.

А когда я наконец простился с ними и стал уходить, то на крылечке догнала меня Наденька и что-то сунула мне в руки.

— Передайте это вашей матушке,— сказала она.

Это было что-то круглое, завернутое в газетную бумагу. Когда я развернул по дороге бумагу, то в ней оказался горшок с топленым коровьим маслом.

Было темно, ветрено, и снег тучами носился по замерзшей земле. В окнах деевского трактира светился огонь и далеко освещал пространство перед домом. Несколько лошадей было привязано к колодам. В трактире бражничали мужики.

Завтра же пойду к Дееву и скажу ему, какого взгляда я буду держаться относительно продажи крепких напитков моим прихожанам.

Около церковной ограды я заметил какие-то две фигуры.

— Так придешь? — спросил мужской голос.

— Приду, приду!..— ответил женский.

И при моем приближении одна из этих фигур, в которой нетрудно было узнать девушку или женщину, бросилась в сторону и исчезла во мраке.

В другой я узнал Ракитского.

Горе, горе!

Он закурил папироску и пошел по направлению к усадьбе, а я остановился, стал глядеть ему вслед и еще долго видел, как вспыхивал огонек во тьме.

Калитка у меня оказалась отворенной, ветер качал ее, и некому было ее затворить. На крыльце, прижавшись к двери, лежала озябшая собака, встретившая меня злобным ворчаньем: она не хотела еще признавать во мне хозяина. Дверь тоже оказалась незапертой. Я вошел тихонько в дом, тихонько разделся и, чтобы

никого не побеспокоить, на цыпочках пошел к себе на диван.

И вспомнились мне слова Пифона: «Когда между мной и женой согласие, то даже узкой кровати хватает на нас обоих; когда же этого согласия между нами нет, то даже самый дом кажется нам тесным».

А здесь мне по-прежнему было тесно и душно, пахло переваренной капустой и где-то — не то в трубе, не то в щель — подвывал ветер.

И что это за несчастный дом, что это за убогое гнездо, где сама птица чувствует себя на чужбине!

Помолившись, прежде чем улечься, пошел проститься с женой.

Она лежала, свернувшись калачиком и укрывшись шалью. Я нагнулся, поцеловал ее в холодный лоб, и мне было больно, что я не мог поцеловать ее сердцем, а целовал ее только губами. Потом я перекрестил ее.

Она вздохнула и открыла глаза.

— Не уходите, отец Константин...— жалостно сказала она.

Ее голос тронул меня.

— Как ваше здоровье? — спросил я ее.

— Плохо, отец Константин,— ответила она.— Должно быть, не жилица я на белом свете.

— Полноте, Агния Петровна,— старался я ее утешить.— Все обойдется, господь поможет...

— Нет, не поможет, отец Константин...

Она закашлялась и стала что-то искать. Я догадался, что она ищет платок, чтобы плюнуть в него, и огляделся по сторонам. Платок лежал на стуле. Я взял его и при свете лампадки увидел на нем красные пятна.

Сердце во мне забилось.

— Что это? — спросил я, подавая ей платок.

— Кровь, отец Константин,— ответила она.— Кажется, у меня чахотка.

Этого еще недоставало! Я бросился к ней, вырвал у нее из рук платок и поднес его к лампадке. Да, это действительно была кровь. Господи, господи, да что же это такое? За что ты так наказываешь меня, за что так жестоко преследует меня судьба?

— Вы обращались к доктору? — спросил я ее.

— Нет, не обращалась...— ответила она.

— Но почему же?

— Вот уж седьмой месяц во всем доме нет ни копейки денег...

— Чем же вы жили? Откуда берет деньги ваша мать?

— Дает Деев.

— Значит, у вас ему большой долг?

— Был большой, а теперь...

— А откуда вы взяли денег на свадьбу?

— У него же.

— И уплатили?

— Уплатила...

Она вновь закашлялась и повалилась на подушку. Руки и ноги у нее похолодели, она стала дрожать, и зубы у нее стучали. Я укрыл ее одеялом, а сверх одеяла своей шубой. Надо было бы дать ей попить чего-нибудь теплого, я пошел в кухню, но прислуги там не оказалось. К теще же я не хотел идти. И, взяв самовар, я налил в него воды, насыпал углей и зажег лучину...

Огонь с гудением проносился по трубе, а я стоял в темной кухне, около самовара, и чувствовал страх.

Но вместе со страхом в моей душе воскресала и надежда. Если чахотка так уж сильна, то, быть может, она избавит меня от моего позора.

Господи, прости меня, грешного!

IV

Все время стояли метели, было холодно, окна у нас залубенели, и так из них дуло, что колебались занавески. Теща пила без просыпа. И по мере того, как устанавливалась зима, моей жене становилось все хуже и хуже. Она несколько дней не вставала с кровати, и во все эти дни у нас в доме царило уныние. Я ел только тогда и только то, что подавала мне наша прислуга. Печи целыми днями стояли нетопленные, а когда их топили, они жестоко дымили.

К тому же у меня не было денег, и я не знал, где их взять. Мы задолжали Дееву, так как забирали у него по книжке и набрали уже на порядочную для наших достатков сумму; просить же у него деньгами я не мог. И если бы не милые Шунаевы, присылавшие нам то кусочек мяса, то фунт-другой сахару, то приходилось бы очень тяжело.

Однажды заходила ко мне Аннечька. Розовенькая, веселая, она навестила мою Агнию. И было больно сопоставить с ней худую, истощенную и угрюмую мою жену.

Три раза в неделю я ходил к Шунаевым преподавать закон божий ученикам Наденьки. Боже мой, что это за милое существо! Нежная в обращении, целиком ушедшая в доброе дело! Вот бы побольше таких!

Я люблю бывать у Шунаевых. У них я отдыхаю душой. И если бы не стыдно было бывать у них каждый день, то я бывал бы.

Единственно, что тревожило иногда у них мой покой, это присутствие Ракитского. Все три: Анненька, Варенька и Наденька, по-видимому, питали к нему расположение, но это я объясняю их любовью к ближнему вообще. И когда однажды я спросил Наденьку, что представляет собою Ракитский, то она живо ответила:

— Это превосходный человек, жаль только, что его не все понимают.

Однажды мы сидели за чаем. Говорили о том о сем. Вдруг Ракитский спрашивает меня:

— Скажите, батюшка, откуда ваша теща берет деньги на водку?

Вопрос этот был настолько груб и неделикатен, что дамы покраснели и опустили глаза, а я не нашелся, что ответить.

— Скажите Дееву,— продолжал он,— чтобы он не спаивал вашу родственницу.

— Это дело слишком семейное,— ответил я ему, наконец,— чтобы можно было о нем говорить в каждом доме.

— Это дело не семейное, а общественное,— возразил Ракитский.— Если мы будем мирволить спаивателям и скрывать то, что от этого происходит, то никогда не добьемся толку. Вы, кажется, не маленький, да к тому же и священник, могли бы обратить внимание! На что похожи ваши прихожане?

— Разрешать или не разрешать питейную торговлю,— сказал я,— не от меня зависит, сделать же сразу непьющими всех моих прихожан я не могу.

— Ну, и совершенно поповский ответ! — воскликнул Ракитский и забегал по комнате.— Надо биться, бороться, искоренять зло, а они на все смотрят по-чинов-

ничьи, с узкой точки зрения своей специальности. Да ведь поймите же вы, святой отец, что если Деев спаивает теперь бесплатно мужиков, то, значит, имеет что-то себе на уме, и что если он даром отпускает водку вашей теще, то и это неспроста!..

— Григорий Иванович!..— строго оборвала его Варенька.

— Ах, молчу, молчу! — ответил он и, театрально раскланиваясь, как это делают артисты, когда их вызывают, отошел к окну.

Наступило всеобщее молчание, и чтобы хоть как-нибудь сгладить состояние тяжкого напряжения, Наденька села за пианино и заиграла.

Я подошел к ней и стал перелистывать ноты.

— Не судите о нем строго,— сказала она, стараясь говорить так, чтобы я мог слышать ее только один.— Это прекрасный человек с редкой душой.

Что-то острое кольнуло меня в сердце. Неужели она любит этого человека? Я ответил ей, что не придаю никакого значения словам Ракитского, но пока еще не составил убеждения, что это действительно хороший человек.

— А вот погодите,— продолжала она,— узнаете его поближе, тогда оцените.

— Может быть,— ответил я.

— Я хотела попросить вас об одном деле... Вы не обидитесь?

— Нет. Что такое?

— От Филиппа Якимова убегает жена Настасья... Бросает грудного младенца... Как только свекровь ее побьет, так она и убежит из дому, а ребенок остается по целым дням некормленный.

— Что же я должен сделать?

— Убедите вашим пастырским словом свекровь.

Мне стало неловко, что я до сих пор этого не знал.

— Хорошо,— сказал я,— я побываю у Якимовых.

Наденька огляделась по сторонам и еще тише сказала:

— На днях Ракитский встретил Настасью у церковной ограды и убедил ее вернуться к мужу... Она сказала, что придет, да так и не пришла... Ребенок чуть не умер без груди.

Краска стыда залила мне лицо. Так вот что означала та встреча около церковной ограды!

— Хорошо,— повторил я,— я побываю у Якимовых.

Наденька низко нагнулась над клавишами.

— Кроме того, я хотела спросить вас о вашей жене...— сказала она.

Я смутился.

— Когда вы женились на ней,— продолжала она,— вы знали, что она тяжко больна?

— Нет,— ответил я.

— Ну, слава богу!

— Почему вы это говорите?

— Мне было бы больно услышать, что вы женились на ней из-за прихода.

— Пусть вам будет больно услышать, но я женился на ней из-за прихода.

Она еще ниже склонилась над клавишами и громко заиграла.

— Значит, вы не любите ее? — спросила она и покраснела.

Я ничего не ответил и отошел от пианино. Мне было тяжело в этом сознаться.

На другой день, рано утром, когда было еще темно и я шел в церковь, мимо меня куда-то проехал в маленьких санках Ракитский. Увидев меня, он снял шапку и помахал ею в воздухе.

Фиглярит он или смеется надо мной?

После обедни я обошел все крестьянские избы и в каждой из них говорил о вреде пьянства.

Меня слушали со вниманием, поддакивали мне, но я сознавал, что мое семя не падало в землю благую и что стоит только мне уйти, как все опять пойдет по-старому. Было ясно, что решать этот вопрос нужно было как-то иначе, как именно — я не знал. Вероятно, нужно было бы вовсе закрыть трактир Деева, что, повторяю, зависело не от меня, по крайней мере в эти два года, пока еще действует приговор крестьян. У Якимовых я тоже не имел успеха, так как трудно было убедить старуху свекровь в том, в чем не убедили русских мужиков целые столетия. Господи, и что это за темнота, что это за непроходимое болото невежества и наивного цинизма! И прежде чем приниматься за посев, необходимо еще осушить это болото, чтобы создать из него

подходящую почву. И если я сеятель, то где же были осушители до меня, а если я осушитель, то сумею ли я подготовить эту почву? Для работы нужен свет ясного солнца правды, а где же этот свет, откуда мне его взять, когда кругом все ложь, ложь и ложь? Только слабенький, робкий луч его блистает мне из дома Шунаевых, где раздаются детские голоса Наденькиных учеников.

Обойдя избы, я долго стоял в нерешительности, куда идти, и кончил тем, что опять пошел к Шунаевым. Мне было совестно, что я к ним зачастил, но я не мог победить в себе отвращения к моему собственному дому, а у них всё и все казались мне родными.

Когда я вошел, в зале никого не было. Я сел в кресло, взял книгу и стал читать.

— Успокойся, тетечка, не плачь,— вдруг услышал я голос Наденьки из соседней комнаты.

— Но ведь он разорит нас, пустит по миру! — послышался голос Анненьки.— Разве ты не знаешь его? И зачем только мы заложили ему нашу усадьбу!

— Ничего, тетечка, все уладится,— продолжала Наденька.— Я уверена, что Ракитский достанет денег на проценты.

— Нигде он их не достанет. Кто ему даст? А Деев сказал, что дольше уж ждать не будет. Закладной давно уже миновал срок!

Я вскочил, точно кто-нибудь меня ударил по голове. Как? Неужели? То, что я услышал, заставило забиться мое сердце, и я готов был ухватиться за этот дом, за эти стол и пианино и закричать во все горло на весь мир так, чтобы меня услышали даже мертвые в гробах: «Нет, я не отдам Дееву этой усадьбы, этой моей святыни, где отдыхает моя душа!»

И я в волнении стал ходить по комнате. Сапоги у меня были простые, топорной работы, стучали и скрипели. Услышав мои шаги, Аннепька вышла ко мне вся в слезах, но тотчас же застыдилась и стала быстро отирать глаза. Я подбежал к ней и, схватив ее руку, горячо прильнул к ней губами. Она сконфузилась еще больше, вырвала от меня свою руку и убежала.

Вместо нее ко мне вышла Наденька.

— Вы слышали? — спросила она меня.

— Слышал,— ответил я.

— И знаете, почему тетя плачет?

— Вероятно, потому, что вас притесняет Деев?

Наденька провела рукою по волосам.

— Этот нахал,— ответила она,— требует или немедленной уплаты по закладной, или же чтобы я вышла за него замуж. Иначе продаст нас с молотка!

Я схватил свои шапку и шарф, набросил на себя шубу и выскочил на воздух. Что-то душило меня. Я чувствовал, как подкатило мне к горлу. Мне хотелось смеяться на этот, казавшийся несбыточным, замысел Деева, и в то же время слезы текли у меня по щекам и хотелось жаловаться, кричать, топать ногами.

За воротами, у дороги, стоял пень от срубленной березы. Я сел на него и закатился смехом. А потом я стал горько плакать и все повторял:

— Не отдам! Не отдам! Не отдам!

Все завертелось вокруг меня, и я понял, что мне становится дурно. Но в это время около меня остановились санки, и из них вылезли какие-то двое мужчин.

— Батюшка! — окликнул меня один из них.— Я вашей жене доктора привез.

Я собрался с силами, овладел собою и увидал Ракитского.

— Ах, да, да,— залепетал я.— Доктора? Спасибо, спасибо! — И, широко шагая, я повел доктора к себе.

Жена по-прежнему лежала.

Доктор выслушал, выстукал ее, а потом вышел ко мне и, потирая озябшие руки, сказал:

— Что ж, батюшка, с этим надо теперь считаться!.. Если бы вы имели средства, то я послал бы вас в Крым, а теперь... Но зачем, батюшка, вы дали ей забеременеть? Ай, ай, ай! Ведь при чахотке, да еще галопирующей,— это верная смерть.

Я глупо осклабился и, достав серебряный полтинник, сунул ему в руку.

Он возвратил мне его обратно и сказал, что с учителей и попов не берет.

— Только, батюшка, больше ее не беспокойте! — сказал он мне на прощанье.— Ни-ни!

И, чтобы я лучше понял его, он подмигнул.

Я обещал ему.

Что, если бы он знал!

V

«Якоже пес, обыкший при мясопродавнице грызти кости, не отходит, дондеже не затворится мясопродавница», так и я не мог удержать себя, чтобы лишний раз не сходить к Шунаевым. Я же не отходил и тогда, когда был сестрам, по-видимому, в тягость и когда они были вовсе не расположены принимать меня или посвящать меня в свои домашние дела, и от этого еще больше усиливался мой глад.

Мне нравилась Наденька как женщина.

И я старался взять себя в руки, я придумывал себе различные послушания, молился, но бог не посылал мне силы Моисея Мурина, и я в бессилии, ненавидя себя, опускал в борьбе с собою руки. И гордость оскорбленного мужа уступила во мне место сознанию своей виновности перед женой, и я уже не чувствовал себя на той недосягаемой высоте в сравнении с нею, на которую поставило меня мое семейное несчастье.

Был март, потекли ручьи, и в воздухе запахло тем счастьем жизни, ради которого существует все земное. И по мере того как обнажалась от снега земля и как стая за стаей возвращались к нам птицы, Агнии Петровне делалось все хуже и хуже.

Теперь уж она вовсе не вставала с постели и целые дни проводила в сидячем положении, обхватив колени и что-то бормоча, чего мы не понимали. Был доктор, который сообщил мне, что жена не протянет долго, так как бугорчатка у нее перешла уже на мозг, и что эти бормотанья суть не что иное, как бред. Иногда у Агнии Петровны наступали светлые промежутки, и тогда она любила, чтобы я сидел около нее на ее кровати, и мы оба молчали. Был великий пост, первый в моем священстве, и, не зная твердо служб, я читал их по книжке и очень уставал сам и утомлял прихожан. И вот в один из таких утомительных дней, в пятницу, около ночи, жена попросила меня, чтобы я ее исповедовал.

Я стал отказываться, говоря, что неудобно мужу исповедовать жену, просил ее подождать только до завтра, когда я съезжу за батюшкой, соседом, но она стала настаивать, сильно закашлялась, разрыдалась, и я уступил. На всякий случай, для треб у меня в доме были запасные епитрахиль и крест. Я надел на себя

епитрахиль, Агния Петровна, худая и желтая, как скелет, стала на кровати на колени, я покрыл ее главу, и она произнесла перед богом покаяние.

Это была торжественнейшая минута в моей жизни. Сам виновный, не смея взглянуть ей в глаза, я принимал от нее это покаяние. Она каялась, а я слушал ее, возмущался и негодовал всем своим существом.

Бедняжка! За всю свою жизнь она не испытала ни единого счастливого мига! Это была одна сплошная, беспрерывная нужда, это была кабала, в которой затаптывали в грязь ее девичье тело и борьба с которой была для нее непосильна. Как она мечтала о счастливой семейной жизни! И я, ее муж, не нашел в себе ни единого ласкового слова, чтобы скрасить ее последние минуты; ни единой фразы, из которой она могла бы понять, что я ее простил и что она уже не одинока.

Горе, горе, горе!

И я понял, что убивал этим ее дух точно так же, как Деев погубил ее плоть, взявши такой тяжкий выкуп за те четыреста рублей, которые ее отец и мать пропили ему по книжке. Я почувствовал вдруг сознание вины и необходимость и самому покаяться ей в своих грехах.

И я стал перед ней на колени и ей, праведнице, поведал свой грех. А она взяла меня за руку, долго глядела мне в глаза и потом троекратно меня благословила.

— Она хорошая девушка,— сказала она,— и жизнь только одна.

Что хотела она этим сказать?

А затем она упала на подушки и стала бредить.

Всю ночь я просидел около нее, прислушиваясь к ее бреду и крику сверчка, пока, наконец, не раздался благовест к заутрени. Исповедь не облегчила меня.

Усталый, не спавши ночь, я стоял перед алтарем всевышнего, но душа моя была мрачна, и вместе с лучами радостного солнца, проникавшего в алтарь, и вместе с щебетанием птиц на нее не сошло успокоения, которого она так алкала.

В среду, на вербной неделе, ефимоновский батюшка соборовал и приобщил мою жену, а в четверг вечером ее не стало.

Вместе с ней скончалось и то, о чем она сообщила мне в первый день после нашего приезда сюда и затем впоследствии на исповеди.

Зачем она не смолчала?

Маленький холмик на нашем кладбище в Журавнах из свеженасыпанной земли. Я стою без шапки, и дождь льет мне прямо на голову. Сейчас сюда опустили мою жену. Около меня соседний батюшка, мой дьячок Прокофий Алексеич, Анненька, Варенька, Наденька и Деев. Несколько крестьян стоят в стороне. Когда мы отошли от могилки, один из крестьян долго мялся и затем сказал:

— Помянуть бы, батюшка... За упокой души... Пожаловали бы на четверочку!..

Я шарю в кармане, но ничего не нахожу.

— Нет денег, голубчик,— отвечаю я ему.

— Не беспокойтесь, батюшка,— вмешивается Деев,— я им отпущу!

И, кликнув мужиков, он повел их за собой в трактир, а затем вернулся ко мне в дом помянуть.

Зачем он пришел?

Как это всегда бывает после похорон, в доме сделалось как-то пусто, уныло и неуютно, точно моя покойница занимала собою сразу весь дом.

Робкая, стыдившаяся себя, теща подала нам блинов, мы помянули чем могли, и скоро я остался один.

— Не горюйте много,— сказала мне Наденька на прощанье.— Все обойдется к лучшему...

Как бы я хотел в это верить!

Я долго ходил по дому, дождь лил как из ведра и громко стучал по стеклам. Было одиноко и тоскливо, и хотелось бежать отсюда куда-нибудь далеко, подальше от людей, в пустыню, или же, наоборот, в шумный город, к людям, чтобы победить в себе свои плоть и дух или же начать жизнь вновь, без тех ошибок, какие были.

Хотелось плакать, стенать, бить себя в перси и всему свету крикнуть, что на свете есть темнота, и нужда, и несчастье и что богатые насильники имеют наглость безнаказанно смотреть людям в глаза.

Пришел Ракитский.

— Я пришел, чтобы выразить вам мое сочувствие,— сказал он.

— Благодарю вас,— ответил я.

Он сел, долго постукивал своей сучковатой палкой об пол, и мы оба молчали.

— Мне жаль вас...— сказал он наконец.— Нескладная ваша жизнь.

Чувство озлобления на всех и все закопошилось у меня в груди.

— А складно ли с вашей стороны,— спросил я его резко,— навязывать мне свои сожаления?

Он встал, видимо не ожидав такого ответа, и провел рукою по волосам.

— Да ведь я не о вас лично,— сказал он угрюмо,— а вообще о попах.

Я не расположен был разговаривать с ним и продолжал ходить молча.

— В самом деле,— продолжал Ракитский,— ну что такое вы, российские деревенские попы? Рабы — и больше ничего! Женят вас на нелюбимых поповнах, дают вам приходы в приданое и обрекают вас чуть не на голодную смерть. Вам говорят: боритесь с пьянством, а сами поощряют увеличение акцизных сборов, вас посылают просвещать этих дикарей, а сами сознательно держат их в темноте! А если вы вдруг наберетесь храбрости и вдруг ахнете действительно проповедовать и просвещать, то — ля-ля! — вам тотчас же накинут на рот намордник! Рабы вы у архиерея, рабы у консистории, рабы вы у Деева и даже у этого печенега, которого вы призваны просвещать!

— Все это общие места,— ответил я.— Кто хочет делать дело, тот всегда найдет возможность его делать.

— Попробуйте-ка, управьтесь с Деевым! Не нынче-завтра он слопает Шунаевых и вышвырнет их вон из их гнезда, на этих днях он начнет вырубку крестьянского леса, который взял с мужиков за их долги по книжкам, он всех спаивает и обирает, а попытайтесь-ка вы убедить этих темных журавенских дураков, что он их враг! Как же! Вы их враг, потому что вы живете на те двугривенные, которые получаете с них за требы, и только и делаете, что навязываете им скучные морали, а он — их благодетель. Кто даст им взаймы? Деев. Кто поддержит их в тяжкую минуту? Деев. Кто напоит их водкой? Опять-таки Деев, а не вы!

— Оставьте,— сказал я.— Все это, повторяю, одни только общие места!

— А взять хотя бы ваше личное положение! — не унимался Ракитский.— Что, собственно, вы теперь та-

кое, позвольте вас спросить? Поп вы не поп, монах вы не монах! Вы — безличное в половом отношении существо, которое называется «вдовый священник». Мы ведь отлично знаем, как сложилась ваша семейная жизнь! Попросту — вас надули. Подсунули вам гнилой товар. По-юридически это называется вовлечением в невыгодную сделку. Вы еще человек молодой, сколько мы поняли вас, идейный, жизнь перед вами еще впереди, спрашивается: почему вам нельзя во второй раз жениться? Потому, что вы носите рясу? Потому, что на вас благодать? Но ведь эта же самая благодать не помешала же вам состоять в браке, да еще в ненавистном? Почему же она может помешать вашему второму браку по взаимному влечению сердец?

— Оставьте! — крикнул я.— Я не хочу вас больше слушать! Это неприличный разговор!

Но Ракитского нельзя уже было унять.

— Вы скажете мне,— продолжал он, увлекаясь,— что «епископу подобает быти мужем единыя жены»? Знаем, знаем! Ля-ля!

И, забегая передо мною, чтобы я его слушал, жестикулируя пальцами прямо перед моим лицом и сверкая глазами, он продолжал:

— Да, епископу подобает быти мужем единыя жены, а не заводить себе гарем, это верно; но это еще вовсе не значит, чтобы он не имел права жениться во второй раз по взаимной любви!

Я заткнул уши и в ужасе выбежал к себе в палисадник.

Мысль о втором браке с Наденькой преследовала меня вот уже второй день и коловоротом сверлила мой мозг.

Я опустился на лавочку и, закрыв лицо ладонями, стал покачиваться всем корпусом из стороны в сторону, как это делает человек, у которого болят зубы. Мне хотелось плакать, но слезы не текли у меня из глаз.

— Прощайте, батюшка! — вдруг услышал я позади себя голос Ракитского.

Я обернулся.

По ту сторону палисадника стоял Ракитский, уже не такой, как был во время разговора, а какой-то другой. Точно ребенок. Улыбался и словно просил прощения.

— Прощайте,— ответил я.— Кланяйтесь вашим.

— Лапу!

Я просунул ему руку сквозь палисадник, и он пожал ее.

Мне захотелось вдруг обнять его, поговорить с ним по душам, спросить и его о скорбях, но я не знал, как это начать.

— Будем друзьями! — сказал я и опять протянул ему руку.

— Сделайте ваше такое одолжение! — воскликнул он.— С руками и ногами! Весь к вашим услугам!

А затем мы помялись немного и разошлись по домам.

VI

Итак, я теперь «безличное в половом отношении существо», которое называется «вдовый священник»! Поп я не поп, и монах я не монах...

И это тем вернее, что, имев жену, я так и остался холостым!

Но прочь эти мысли! То, что было, уже прошло, и прошлого не вернешь. Такова уж моя судьба. Она имеет власть над нами, говорит Сенека, но не над нашими нравственными поступками; она указывает путь тем, кто следует за нею добровольно, и принуждает силою следовать за собою тех, кто не хочет и упирается.

Будем же следовать за судьбою добровольно!

После пасхальных заутрени и обедни я разговлялся у Шунаевых. Когда я шел к ним, светало, высоко пели жаворонки и пахло свежераспаханной землей. Было тихо в природе, и так же тихо было и на душе. В усадьбе у скворечен суетились скворцы и кричали на гнездах грачи. Хотелось жить.

У Шунаевых меня поджидали. На столе уже стоял самовар и были расставлены кое-какие закуски. Анненька и Варенька были в каких-то допотопных платьях, а Наденька в легком розовом шерстяном. Похристосовались. Затем мы с Ракитским выпили по рюмке водки и стали разговляться. Когда мы пили чай, встало солнце и весело осветило всю природу. Но все почему-то были печальны и часто вздыхали, тогда как надо было радоваться и веселиться. Ракитский сидел какой-то нахмуренный и угрюмый, плохо ел и все молчал. Анненька и Варенька вскоре затем ушли к себе,

Ракитский тоже, и я остался с Наденькой вдвоем. С семи часов нужно уже было начать обход прихожан со крестом, но мне не хотелось уходить, я долго еще торговался с собой и в конце концов простился с Наденькой и вышел.

Она тоже вышла со мной.

— Как хорошо! — сказала она.— Так бы все стояла и смотрела и ни о чем бы и не думала. Надоело думать...

— Да, погода отличная,— ответил я.— Весна ранняя, а пасха поздняя... Прощайте, милая барышня!

Она пожала мне руку, и рука ее была холодная.

— Можно мне вас проводить? — спросила она.

— Проводите,— сказал я.— Только до моста. Деревней не ходите.

Она пошла рядом со мною.

Необыкновенная радость наполнила мое сердце. Я нарочно замедлял шаги, чтобы она подольше побыла со мною.

— Что вы теперь намерены делать? — спросила она меня.

— Да вот пойду со крестом...— ответил я.— Скоро уже время.

— Нет, я не о том,— продолжала она.— Что вы намерены теперь делать с самим собою?

— Ровно ничего. Буду совершать свои службы и требы, а там видно будет!

— И всю свою жизнь проживете один?

Я засмеялся.

— Конечно, один,— ответил я.— Родственников у меня нет. Буду иногда заходить к вам...

— Теперь уж это невозможно...— сказала она и глубоко вздохнула.

— Почему? — спросил я ее.

— Потому, что я окончательно отказала Дееву в своей руке, и он оставил нашу усадьбу за собой. Теперь он нас выселяет.

— Что вы говорите?! — испугался я.

Она приложила платок к глазам и заплакала.

Все замелькало у меня в глазах.

— Не плачьте! — воскликнул я.— Сегодня плакать грех!

А у самого по обеим щекам струились слезы.

Она отерла платком глаза и насильно улыбнулась.

— Впрочем, это ничего,— сказала она.— Мы переедем в город и как-нибудь там проживем.

— На что же вы будете жить?

— Не знаю...

Мы дошли до моста, и я был рад, что мог прислониться к его перилам, так как ноги меня едва держали.

— А вам, отец Константин,— спросила она,— нельзя переехать с нами в город?

Я горько усмехнулся.

— Что я там буду делать? — ответил я.— Архиерей меня не переведет!

Она завертела платок в руках.

— Прощайте, Надежда Николаевна,— сказал я.— Мне уже пора!

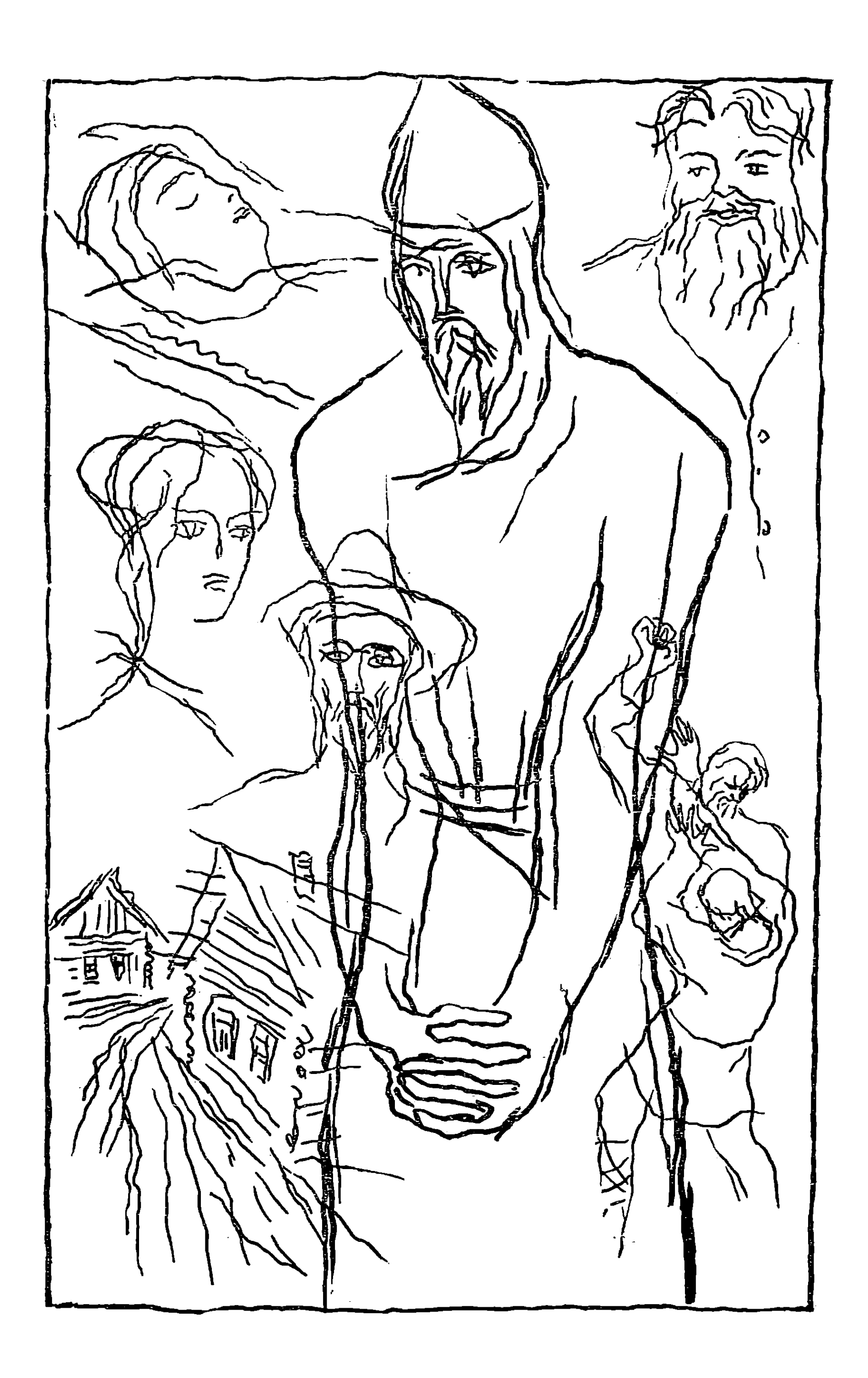
— Подождите...— ответила она.— Одну минутку.

Она покраснела, опустила глаза и сказала:

— Константин Иванович, вы хороший человек, мы вас все любим и высоко ценим вас... Не бросайте нас одних! Без вас я буду совершенно одинока. Мне не с кем будет слова сказать. Я знаю, вы несчастны, и мне так бы хотелось сделать вас счастливым! Ракитский любит меня, но я за него не выйду никогда... А за вас...

Слезы не дали ей договорить, но я понял все, я понял то, что понимается с одного только намека, вздоха... Чувство необыкновенного счастья наполнило все мое существо. Все в природе вдруг переменилось для меня как-то сразу и получило новый смысл. Безотрадное детство, убогая молодость, которых нечем было помянуть, несчастная женитьба и пережитые страдания последних дней показались мне маленькими и ушедшими куда-то далеко, как переплывшему океан кораблю кажутся ничтожными волны реки. И передо мной открылась вдруг счастливая до сказочности жизнь, полная волшебных снов, жизнь, о которой я не смел даже и мечтать.

Но в это время раздался на колокольне звон. Это крестьяне-любители принялись за колокола. Я услышал его, этот звон, и он напомнил мне о том, кто был я и чем отличался от мирян. Благодать, почивающая на мне, наполнила мою душу сознанием долга, я сделал над собой усилие и, стараясь скрыть свое волнение, ласково и шутливо ей ответил:



— А разве вы не знаете, что «епископу подобает быти мужем единыя жены»?

— Почему? — спросила она с удивлением и широко раскрыла глаза.

И, застыдясь затем своей наивности и сердечной простоты, она закрыла лицо обеими руками и, так же как и я, грустно побрела к себе домой.

«Почему? — звенел у меня в ушах ее вопрос.— Почему?»

Около церковной ограды я остановился и поглядел ей вслед. Она уже дошла до усадьбы, и ее розовое платье мелькнуло передо мною в последний раз и скрылось за кустами.

Прощай, мое сокровище! Да хранит тебя господь!

Несколько мужиков отделились от толпы и, снявши шапки, подошли ко мне.

— Христос воскрес! — хором воскликнули они.

— Воистину воскресе! — ответил я им.

И мы похристосовались.

А придя домой, я посидел около часа у окна и, прижавшись лбом к стеклу, тихо поплакал. И вспомнилось мне индийское изречение, которое я где-то когда-то прочитал:

«Будда создал слезы и любовь и сказал: пользуйтесь ими и будьте ими счастливы, ибо они созданы для счастья».

Это были последние слезы в моей жизни. Они принесли мне если не счастье, то успокоение, и после них я навеки остался тем, чем состою теперь.

. . . .

Через месяц Шунаевы переезжали в город. Два-три узла да сундучок, окованный белой жестью, были уложены на простую телегу. Они все трое уселись на них, подобрав под себя ноги, возница дернул за вожжи, и лошадка медленно тронулась в путь. Еще раньше куда-то пешком отправился Ракитский.

Я долго смотрел им вслед и, когда они скрылись из виду, возвратился к себе домой.

Пели птицы, жужжали насекомые, и, точно по покойнику, перекликались петухи.

Теперь я навеки остался один.

Почему?..

МЕСТЬ

I

Гречихин решил взять на месяц отпуск и съездить в Москву, чтобы окончательно убедить полицеймейстерскую свояченицу Марусю в том, что он вовсе не интересуется ею и вовсе не считает себя ее женихом. Он рассчитывал, что, когда он вернется оттуда, ему легче будет перестать бывать у полицеймейстера, там от него отвыкнут, и тем легче он положит конец начавшимся уже сплетням и пересудам.

И вот перед самым отходом поезда, когда все вещи уже были разложены по своим местам, Гречихин полез зачем-то в боковой карман и вдруг с ужасом нашарил там те пятьсот рублей, которые должен был по дороге на вокзал завести в Общественный банк в уплату по векселю и забыл. Теперь его вексель будет протестован. Он схватился за пальто и стал быстро собирать свои вещи.

— Какой я дурак! — ругал он себя.— Ах какой я простофиля!

— Что с вами? — спросил его сидевший против него еврей Шульман.

— Неприятность, Лев Маркович...— ответил Гречихин.— Забыл по векселю уплатить... Сегодня срок...

— А есть чем уплатить?

— Да вот и деньги...

— Давайте их сюда!

Гречихин с недоверием посмотрел на еврея.

— Давайте, давайте! — повторил Шульман.— Ваш вексель сегодня же будет оплачен.

И, высунувшись из вагона, он кликнул к себе другого еврея.

— Волпянский,— сказал он.— Вот вам пятьсот рублей. Сходите немедленно в Общественный банк и оплатите там сию же минуту вексель г-на Гречихина. Вексель передадите потом мне... Идите.

Тронулся поезд. Через две станции Шульман вылез из вагона, а Гречихин поехал дальше, в Москву.

Через месяц Гречихин вернулся обратно, и тот же Волпянский принес ему от Шульмана конверт, в котором находился уже оплаченный вексель. Чиновники долго смеялись над его носом и брючками. Был тут же случайно и полицеймейстер, который горячо пожимал Гречихину руку и просил его побывать у них как можно скорее. Гречихин обещал, но не зашел.

Два раза затем полицеймейстер был у него на квартире, но оба раза не заставал его дома, и с тех пор они больше уже не встречались.

К Гречихину ходила чинить белье Лия Бендерович. Это была дочь бедного еврея, ходившая к одиноким и семейным людям шить и чинить белье и исполнять мелкие домашние работы, за что получала гроши, которые передавала своему отцу. Она полюбила Гречихина, и об этом ее романе не знал никто, и если бы не страх перед отцом, то, вероятно, она совсем осталась бы у Гречихина и не скрывала бы своей любви к нему так, как приходилось ей скрывать ее теперь.

Однажды вечером, перечинив все белье, Лия запоздНилась и просидела у Гречихина дольше, чем следовало. Закутав голову платком, она хотела уйти от него так, чтобы никто ее не заметил, и, как нарочно, на самой лестнице нарвалась на полицеймейстера. Он возвращался откуда-то домой и, увидев у Гречихина огонь, несмотря на поздний час, зашел к нему выпить наливки. Столкнувшись с женщиной, уходившей от холостого человека, полицеймейстер сдернул с ее головы платок и, осветив ее лицо огнем от папироски, узнал ее.

— Так вот как! — воскликнул он.— Ты бываешь у Гречихина по ночам? Вот погоди, я все расскажу твоему отцу!

Она вырвалась от него и побежала вниз, а он вошел к Гречихину и зашагал по комнатам.

— Что, вы проигрались? — спросил его Гречихин.

— Нет, а что? — ответил полицеймейстер.

— Да так... Очень уж вы шагаете что-то...

— С вами не так зашагаешь... Есть у вас наливка?

Гречихин достал графинчик и налил по рюмке.

Полицеймейстер выпил две рюмки подряд и вновь в волнении зашагал взад и вперед по комнате.

— Да что с вами? — спросил его Гречихин.

Полицеймейстер подошел к нему и, глядя в упор, спросил:

— Она часто у вас бывает?

— Кто бывает? — спросил его Гречихин.

— Евреечка...

— Какая евреечка?

Полицеймейстер сделал гримасу.

— Ну что вы рисуете арапа по черному фону? — сказал он.— Если желаете, чтобы вам не задавали таких вопросов, то не забывайте запирать нижние двери. А в особенности, когда принимаете у себя девиц!

Гречихину стало неловко.

— А вы не приходите в такой поздний час,— ответил он.— Люди спать ложатся, а вы ходите по гостям. Полуночник вы этакий!

— Ну да ладно, ладно! — огрызнулся полицеймейстер.— Я ведь, собственно, вот зачем пришел. Завтра день рождения Маруси... Она очень просит вас, чтобы вы об этом не забыли и пришли. Надеюсь, что вы не откажетесь и навестите нас. Кажется, пора уж вам перестать на нее дуться!

— Да я на нее и не дуюсь вовсе,— ответил Гречихин.— С чего вы это взяли?

— Значит, придете? — обрадовался полицеймейстер.

— Приду...

— Ну вот и спасибо!

И горячо пожав руку Гречихину и ласково поглядев ему в глаза, полицеймейстер отвел его к сторонке и тихо сказал:

— Бедная Маруся страдает по вас, а вы... вы, неблагодарный, принимаете у себя этих вот... Впрочем, виноват... Молчу, молчу!

И, схватившись за фуражку, он проглотил на ходу рюмку наливки и ушел домой.

II

Гречихину очень не хотелось идти к полицеймейстеру поздравлять его Марусю. Он очень хорошо знал, что там на него опять будут смотреть как на жениха, Маруся опять будет вешаться ему на шею, и опять дело не обойдется без обморока и слез. И теперь, когда случай так неожиданно столкнул у него на лестнице полицеймейстера с Лией Бендерович, ему стало казаться, что если он не пойдет, то полицеймейстер объяснит это тем, что у него с Лией роман, и, конечно, во всем обвинит Лию. И чтобы доказать, что здесь вовсе нет ничего серьезного, Гречихин скрепя сердце отправился на следующий день вечером к Марусе.

Он запоздал и пришел к полицеймейстеру совсем не по-провинциальному: в одиннадцатом часу. Играл тапер, была масса гостей, и танцевали новые танцы. Прислуживали городовые в белых перчатках, а на полицейского надзирателя была возложена обязанность угощать гостей. На столе стояла масса вин, целыми рыбами лежали балык и лососина, и было похоже на то стародавнее время, когда Волга и Дон еще кишели стерлядями и осетрами и когда зернистую икру ели столовыми ложками прямо из миски. Около стола ходили местные интеллигенты, посматривали маслеными глазками на закуски и облизывались, как коты.

— А вкусная краденая закуска! — сказал протоиерей, отличавшийся балагурством.

— Ну так уж и краденая! — возразил акцизный.

— А то нет? Жалованья-то всего две тысячи, а поди еще и шампанское после ужина подавать будут!

— Так точно,— отозвался городовой.— Два ящика привезли!

— Ну вот видишь? — продолжал протоиерей.— Вот и у надзирателя тоже. Получает меньше тысячи, а придешь к нему — так море разливанное. Жулики потому что!

— Хи-хи-с!..— засмеялся надзиратель и фамильярно похлопал протоиерея по животу.— Мы-то хоть с живых, а вы и с живых и с мертвых!

Долго и весело смеялись, а затем стали рассказывать анекдоты.

— Батюшки, кого я вижу! — раздался вдруг голос

полицеймейстера.— Маруся, Иван Игнатич пришел! А мы уж думали, что он так и не придет!

И, бросившись к Гречихину, полицеймейстер заключил его в свои объятия и силою потащил к свояченице.

Маруся только что окончила танцы и, розовая, красивая, вся в бриллиантах, обмахивалась веером. Гречихин подошел к ее руке, поздравил и, испытывая неловкость, не знал, с чего начать разговор. Давно уже считавшие их женихом и невестой, все гости как-то сразу вдруг притихли и стали за ними наблюдать. Гречихин чувствовал это.

— Как вам ездилось в Москву? — спросила его Маруся и указала ему на место около себя.

— Отлично,— ответил Гречихин.— А вы как поживали?

Она глубоко вздохнула и опустила глаза.

— И вы об этом спрашиваете? — сказала она.— И сердце вам ничего не подсказало?

Ему стало неловко, и он не ответил.

В это время тапер заиграл снова, она склонила голову к плечу Гречихина, и он должен был с нею танцевать.

— Я знаю, отчего вы ко мне переменились,— сказала она во время танцев.

— Не будем об этом говорить,— ответил он ей.— Не надо!..

— У меня есть соперница,— продолжала она.— Люди, которые ее видели, говорили мне, что она красивее меня... Правда?

— Перестаньте!..

— Да, они видели ее, и теперь для меня ясно все!

Гречихин понял, что для него опять все начинается сначала.

— Перестанем об этом говорить,— сказал он.— Вы лишаете меня возможности пригласить вас на следующий танец.

Она сверкнула на него глазами.

— Это вы говорите для того,— спросила она,— чтобы найти предлог вовсе не танцевать со мной? Да? В таком случае я вас заранее освобождаю.

— Да оставьте, Марья Петровна... Давайте говорить о другом! Зачем быть такою ревнивой?

Целый вечер затем они дулись друг на друга, и обо-

им было странно, что они повели себя так сразу после долгой разлуки. Марусе было досадно на это, и она злилась на себя, что не сумела держать себя иначе. Она чувствовала, что этим еще больше отдалила его от себя, и ей хотелось кричать на него, сделать ему сцену, и в то же время она сознавала, что виновата была только она одна и что прежнего уж не воротишь никогда. И этот вечер, на котором всем было так весело и все так чувствовали себя хорошо, показался ей поминальным обедом, на котором сейчас запоют вечную память ее любви. Чувство злобы наполнило ее сердце, и, когда все пошли гурьбой в столовую и Гречихин предложил ей руку, она стиснула зубы и, стараясь придать своему голосу возможно более шутливый тон, сказала:

— Знаете? Ведь я умею мстить!

— Кому и за что? — весело спросил ее Гречихин.

— А вот увидите! — ответила она и, погрозив ему пальцем, села во главе стола и принялась угощать гостей.

Сытые, размякшие от шампанского и от долгого сидения за ужином, гости высыпали на улицу. Было три часа ночи, морозило, снег скрипел под ногами, и светила полная луна. Как-то не хотелось уходить домой, где почти каждого ожидали скупая мещанская обстановка, куча детей, жена не такая красивая, как Маруся... Хотелось еще куда-то, и будь это в Петербурге или в Москве, то обязательно поехали бы за город или на острова.

— А что, Маруся,— обратился к свояченице полицеймейстер,— не проводить ли нам гостей?

Маруся закуталась в богатую ротонду, так что из-под шапочки и собольего воротника виднелись одни только ее глаза, и все пошли. Сбоку шажком, на всякий случай, шла полицеймейстерская тройка.

Вот и каланча. Полицеймейстер свистнул, и с вышки, точно с того света, часовой ответил ему таким же свистком.

— Не спит, каналья...— сказал полицеймейстер.— Ужо погодите, доведу я вас до трех минут!

— Что это значит? — спросил его Гречихин, шедший рядом с ним и с Марусей.

— А вот поглядите! — ответил полицеймейстер и, вытащив часы, подошел к колоколу и забил тревогу.

Бем-бем-бем...

Казалось, всю каланчу сразу передернула судорога. Послышались неясные крики, рев ребят, мужские и женские голоса, раздалось топанье лошадиных копыт, затем все замерло на секунду, и вдруг ворота под каланчей распахнулись настежь, и из них выскочил пожарный обоз и помчался неведомо куда.

— Ровно в три минуты! — крикнул довольный полицеймейстер.— Скорее не могу.

— Браво! — послышалось в кучке гостей, ожидавших этого спектакля.— Браво, Григорий Кузьмич!

Вслед за обозом выскочили бабы, почти полуголые, одни с сапогами, другие с полушубками в руках. Они махали этими полушубками и сапогами и кричали вслед своим мужьям:

— Вернись! Оденься! Простудишься!

Но, увидя полицеймейстера и целую компанию господ, они застыдились своей наготы и виновато побрели к себе под каланчу.

Не дождавшись возвращения обоза, стали расходиться. При прощании полицеймейстер пожал Гречихину руку и сказал:

— А насчет Бендеровича все покончено. Я его выселяю.

— Какого Бендеровича? — спросил Гречихин.

— Да этого еврея пархатого, с дочкой которого вы знакомы. Я ему покажу кузькину мать!

— За что же? — удивился Гречихин.

— Да уж вы знаете за что!

И прежде чем Гречихин мог сообразить, полицеймейстер сел в поданные ему сани, оправил на свояченице ротонду и, довольный удавшимся вечером, укатил к себе домой. И, как показалось Гречихину при прощании с Марусей, глаза ее сверкали торжеством: она затеяла месть.

— Какая гадость! — проворчал он им вслед.— Какой возмутительный азиатский произвол!

III

Уже звонили в монастыре, когда он вернулся к себе домой. Хмель и веселость у него уже прошли, и теперь во рту было невкусно и совсем не хотелось спать. Он

раздевался, и что-то нехорошее шевелилось у него в душе. Ему представлялись эти бабы, бежавшие за пожарными, и было стыдно, что, на потеху пьяным и сытым, из которых первым был он, у них нарушили сон и покой и заставили их выбежать раздетыми на мороз. И в то же время неприятным кошмаром вставали перед ним еврей Бендерович и вся его семья.

— Скверно! Грех!..— проговорил он и укрылся с головой.— Нехорошо!

Он был еще в постели, когда утром пришел к нему Шульман. Наскоро одевшись, Гречихин вышел к нему и тут только вспомнил, что до сих пор еще не поблагодарил его за оплату векселя. Шульман был очень взволнован.

— А я к вам,— сказал он.— Простите. Хотел застать вас дома. По очень важному делу.

— Что такое? — спросил Гречихин.

— Да то такое — ай, боже мой! — что полиция придралась к одному из наших, к некоему Бендеровичу, и сегодня ранним утром составила на него протокол. Теперь ему грозит выселение.

Гречихин вздрогнул.

— Вы преувеличиваете! — сказал он.

— Какое ж тут преувеличение, когда вы сами знаете, что если еврей заливает резиновые калоши и варит ваксу и чернила и вдруг займется каким-нибудь другим промыслом, то тут уж и полиция, и судебный следователь, и я не знаю еще кто! Его выселяют теперь со всем его семейством в черту оседлости! Ай, боже мой, боже мой, что же теперь делать?

Гречихин понял, что полицеймейстер сдержал свою угрозу и что во всем виновата его свояченица Маруся, которой необходимо было отделаться от Лии. Ах какая неприятность!

— Ну, хоть бы выселили меня,— продолжал Шульман: — я богат, у меня только один Борисочка, а ведь Бендерович нищий, у него одиннадцать человек детей, три малолетних племянника, старуха мать, бабушка, дедушка — и все они живут около него и кушают на его счет. Ай-ай-ай!.. Что же теперь делать, что же теперь делать?..

— Зачем же он занялся не своим промыслом? — спросил Гречихин, которому было больно это слушать.

Шульман с горечью покачал головой.

— Зачем он занялся не своим промыслом? — повторил он.— Да разве ж можно такую семью содержать чернилами, ваксой да заливкой калош? Он вам заливает резиновые калоши, и вы же сами даете ему за это пятачок, ни копейки больше, ни копейки меньше. А тут он взял на заводе четыре бочки лампадного масла и продал их по фунтам мелким лавочникам, и ваш полицеймейстер уже трубит, что это комиссионерная контора! И теперь Бендеровичу надо выселяться со всем своим семейством вон из насиженного гнезда!

Шульман откинулся на спинку кресла и в волнении стал обмахиваться платком.

— Он вам родственник? — спросил его Гречихин.

— Он мне такой же родственник, как и вам,— ответил еврей.— Мы все живем в одном городе, и все родственники, как мыши, попавшиеся в одну и ту же мышеловку.

— Чего же, собственно, вы от меня хотите?

— Чего я хочу? Разве ж я могу хотеть? Могут хотеть только деньги, а не человек. Пока у Бендеровича были деньги, они хотели, чтобы он оставался со всеми своими евреями здесь, и он оставался. Теперь же у него денег нет, и его за это выселяют. Я пришел просить за Бендеровича, нельзя ли ему как-нибудь помочь?

— Как же ему помочь? — в свою очередь, спросил Гречихин.

Глаза Шульмана наполнились слезами.

— Будьте так добры,— сказал он, скосил рот налево и высоко приподнял правую бровь.— Припишите его в здешние мещане! Ну кто от этого пострадает? Мы заплатим все пошлины, все штрафы, но только пусть эти восемнадцать человек останутся здесь!

Гречихин вспомнил ночную историю, вспомнил баб, выскочивших из пожарного двора, свояченицу полицеймейстера и Лию, и ему стало стыдно за вчерашний вечер. Ему представилась картина, как два еврея, седые и с пейсами, похожие на древних патриархов, с массой прижавшихся к ним детей с испуганными лицами, выедут со двора на телегах — почему-то непременно на телегах — и как поплетутся затем из родного города в черту оседлости. Будут они там мыкать горе, пока половина их не перемрет, а другая половина не обратится

в таких же бездомных пролетариев, как и местные аборигены — евреи. И так стало ему жаль маленьких, с кислыми глазами, детей, которые не знают, куда их везут, и, быть может, никогда уже не увидят своей родины!

Чувство злобы на Марусю и на полицеймейстера наполнило его душу, и ему захотелось вдруг сделать им что-нибудь наперекор, что-нибудь такое, от чего они завертелись бы так, как червяк, которому наступили на хвост.

— Но ведь для того, чтобы приписать вашего Бендеровича,— сказал он,— необходимы документы... А где вы их возьмете?

— Мы доставим вам все документы,— ответил Шульман: — и здесь, и из черты оседлости! Мы внесем все штрафы хоть за сто лет, но только не выселяйте вы этого несчастного еврея! Скажите только, какие для этого нужны документы, и позвольте прислать к вам самого Бендеровича.

Гречихин сообщил ему, что требовалось законом для приписки, Шульман поблагодарил его, простился и ушел.

После бессонной ночи, после массы выпитого и без меры съеденного на вчерашней вечеринке Гречихин был не в духе и был рад, что Шульман от него ушел. На службе он также был не в духе, молчал, когда его спрашивали, и мысленно бичевал себя за то, что участвовал в фарсе с пожарной командой и так неосторожно скомпрометировал Лию.

— Нехорошо! — бормотал он.— Нехорошо!

А придя домой, он завалился спать и проспал до самого вечера. Когда же он проснулся, то было уже темно и свет от фонаря на улице освещал противоположную стену.

Вошла кухарка и стала зажигать огонь.

— Вас там какой-то мужчина спрашивает,— сказала она.— Уже полтора часа дожидается.

Гречихин надел пиджак и вышел в кабинет.

Его дожидался Бендерович.

Это был высокий еврей с большой бородой с проседью и с очень заметными пейсами, в длинном черном сюртуке, доходившем почти до пят.

При входе Гречихина он встал, низко поклонился и склонил голову набок.

— Что вам угодно? — спросил его Гречихин.

— Простите, господин,— ответил Бендерович,— быть может, я побеспокоил вас... Меня послал к вам Шульман. Он сказал мне: «Бендерович, сходи к господину Гречихину, он тебе поможет... Это добрый господин». И я пошел к вам...

Гречихин прошелся по кабинету.

— Пошли бы вы лучше к полицеймейстеру,— сказал он.— Это было бы гораздо полезнее, чем обращаться ко мне.

Бендерович глубоко вздохнул.

— Когда ешь свой хлеб,— продолжал он,— то никто не может сказать, что попался в том, что ел хлеб. А когда я продавал свое масло, то я попался в том, что продавал не чужое, а свое. Ай, господин, господин! Когда за плечами три старика и четырнадцать человек детей, которые каждый день хотят кушать, то разве можно жить на одну только ваксу и заливку калош? Бывает еврей — и еврей. Один бывает счастливый, другой несчастный. Я еврей несчастный! У меня рано умер папенька. Один добрый человек пожалел меня и отдал в оркестр. Там я должен был стукать в барабан, и когда ошибался, то меня били прямо барабаном по голове. Я пробыл в оркестре четыре года, и все-таки из меня не вышел музыкант. Чтобы меня не выслали из города, я стал варить ваксу и заливать калоши, и ремесленная управа выдала мне свидетельство. Потом я женился, и бог благословил меня детьми. У меня их одиннадцать человек. Старшая, Лия, девятнадцати лет и младшая, Туба, только по третьему месяцу. Умер мой брат, и после него осталось три малолетних сына, которых я должен был взять к себе и воспитать. Дедушка, бабушка и мамаша тоже не собаки, и их не выбросишь на улицу. Но, может быть, господину все это не интересно?

— Нет, нет, продолжайте,— сказал Гречихин.

— Я варил ваксу и заливал калоши,— снова начал еврей,— и тем кормил свое семейство. Но сами, господин, знаете, что когда хочешь кушать на рубль, то не будешь сыт на двадцать копеек. Тогда потихоньку я купил на заводе бочку лампадного масла и продал его, и мои дети уже не плакали от голоду. Я купил другую бочку и третью. Полицеймейстер узнал про это, вызвал меня к себе и долго на меня кричал и топал ногами.

А потом он потребовал с меня по триста рублей в год. Кроме меня он обложил сбором еще Файнштейна и Вишневецкого, и все мы трое платили ему по триста рублей в год. Я торговал маслом, половину барыша отдавал полицеймейстеру, половину оставлял себе,— и мои дети были сыты, и господину полицеймейстеру было приятно. Как вдруг сегодня утром пришел ко мне полицейский надзиратель, опечатал бочку с маслом и составил протокол. Теперь меня будут вызывать к судебному следователю и со всем моим семейством выселять в черту оседлости. Ай, боже мой, боже мой, что я теперь буду делать? Лучше было бы мне взять ружье, всыпать в него пороху и дроби — и паф в самое сердце!

Он вытащил красный платок, громко высморкался в него и вытер им глаза.

Гречихину стало жаль его.

— Отчего же вы не обратились к полицеймейстеру? — спросил он.

Бендерович покачал головою.

— Я уже обращался,— ответил он,— но полицеймейстер только накричал на меня и сказал на мою Лиечку такое, что у меня на голове волосы дыбом зашевелились.

Гречихину стало неловко, и краска стыда залила ему лицо. Он затеребил себе бородку и стал придумывать, что бы такое сделать полицеймейстеру и Марусе, чтобы они долго его помнили и понимали, что это сделал именно он, и сделал нарочно, чтобы уязвить их в самое сердце!

Бендерович пугливо огляделся по сторонам.

— А нас же никто не слышит? — спросил он.

— Никто,— отвечал Гречихин.— Мы здесь одни.

— Шульман сказал мне: «Иди к господину Гречихину и проси его. Он даст тебе совет, как приписаться в здешние жители». В черте оседлости у Шульмана есть двоюродный брат, знаменитый адвокат, его вся Европа знает. Это помощник присяжного поверенного Воробейчик. Шульман даст ему денег, и он достанет все документы для приписки.

— У вас этих денег не возьмут,— сказал Гречихин,— и никаких документов вам не выдадут. Напрасно будете беспокоить этого знаменитого адвоката.

— Воробейчик сделает так, что выдадут.

— Вы в этом уверены?

— Совершенно уверен.

— В таком случае хлопочите. Я вам помогу.

Еврей схватил обеими руками руку Гречихина, долго и молча тряс ее, а потом прижал ее к своей груди.

IV

На другой день вечером Гречихин отправился к Марусе. Ему не хотелось идти к ней, но надежда как-нибудь уладить дело Бендеровича через ее посредство побуждала его поступиться своим чувством и идти.

Отворивший ему городовой сообщил, что барина нет дома, а барышня моется в ванне. Вслед за тем выбежала горничная и сказала, что барышня уже отмылась и просит Гречихина обождать ее в гостиной.

Гречихин отправился в гостиную, сел в кресло и стал читать приложения к «Ниве». Маруся подкралась к нему сзади и, розовая, душистая, с длинными распущенными, влажными волосами, обняла его и приложила к его щеке свою щеку. Чувство приятной теплоты и близости красивой женщины наполнило Гречихина. Он поднял голову, и глаза их встретились.

— Ты все еще дуешься? — спросила она его.

— Я? — ответил он.— За что?

— За то, что я ревную...

— Какие пустяки!

— Тогда поцелуй меня.

Он поцеловал ее в лоб.

Она вздрогнула, вскочила и забегала взад и вперед по гостиной.

— Таким холодным поцелуем,— сказала она,— можно целовать только ту женщину, которую ненавидишь!

— Полно, Маруся,— сказал он.— Мне не за что вас ненавидеть.

— Что это за «вас»? — спросила она и стала в позу.

Глаза ее метали искры, и грудь высоко поднималась. Полуобнаженные руки дрожали. Матине складками падало на пол и обнажало ее прекрасные плечи, по которым прядями рассыпались ее влажные, душистые волосы.

Гречихин подошел к ней и взял ее за руку.

— Послушайте, Маруся...— сказал он.— Ведь перед такой красавицей, как вы, не устоял бы даже философ. Я весь полон вами, но зачем эти вспышки, эта резкость поступков? Зачем эта возмутительная ревность, которая мешает жить вам и мне? Сядьте, успокойтесь... Давайте поговорим.

И он вторично поцеловал ее в лоб.

Она бессильно опустила руки и, послушная, точно дитя, села рядом с ним на диванчик.

— Вы не любите меня? — спросила она.

Он молчал.

— Ну скажите, умоляю вас...— заговорила она, и в глазах у нее заблистали слезы.

Ему было тяжело ответить на этот вопрос. То, что было раньше, бесповоротно кануло в вечность и теперь представляло одни лишь воспоминания. Что казалось ему прежде безумным счастьем, теперь представлялось мелким и пошлым, как те мимолетные романы, которых так много бывает у мужчин с женщинами красивыми, но не пользующимися их уважением. И теперь он глядел на эту девушку, которая еще так недавно была для него дорога и так неумно использовала его привязанность, и сознавал, что сердце его пусто и что та параллельность токов, которую принято называть влечением сердец, нарушилась между ними навсегда. И что бы он теперь ей ни сказал, что бы он ни ответил на поставленный ею вопрос, все равно она ему не поверит, как не верила и тогда, когда он говорил ей одну только святую правду.

Он опустил голову и, сложивши руки пальцами вместе, не знал, как приступить, с чего начать.

— Я пришел к вам по делу, Маруся...— сказал он наконец и ласково взглянул ей в глаза.— Забудем на время наши личные чувства и дела и вспомним о тех, кому можем помочь. Я пришел просить вашей помощи, Маруся...

Он не раз уже просил ее о тех, кого притесняла полиция, и она из женского тщеславия любила ему помогать. И теперь, когда он попросил ее помощи, она с готовностью стала его слушать.

— Ваш зять хочет выселить одну несчастную еврейскую семью,— продолжал он.— Целых семнадцать человек бедняков должны выехать из насиженного гнезда

и испытать на себе все ужасы неизвестного будущего. Пожалейте их!

— И в том числе и Лию? — спросила она и громко засмеялась.

Это обидело его.

— Да,— ответил он,— и в том числе и Лию.

Она выпрямилась во весь свой рост и хлопнула ладонью по столику.

— Никогда! — ответила она.

— Почему? — спросил он ее.

Она сжала зубы и сквозь них с ненавистью произнесла:

— Потому что я ее ненавижу, как змею!

Гречихину захотелось вдруг подскочить к этому красивому существу, схватить его за эти удивительные плечи и сделать ему больно, нанести ему тяжкую обиду, от которой оно не скоро бы пришло в себя! Но он сдержался и, овладев собою, спокойно продолжал:

— Значит, вы не поможете им, Маруся?

— Никогда!! — ответила она, и по ее тону Гречихин понял, что решение ее бесповоротно.

— В таком случае,— ответил он,— пусть ваш зять не обижается, если я приму со своей стороны меры и спасу эту семью.

— Вы не спасете ее!

— Нет, спасу!

— Что же вы намерены сделать?

— Я припишу ее к здешнему обществу.

Она с удивлением посмотрела на него.

— Вы этого не сделаете,— сказала она,— вы не пойдете против закона!

— Я поступлю только по закону. Они достанут необходимые для приписки документы, а какими путями — это не наше дело! Больше ничего! Прощайте!

И, взявши шапку и не подав ей руки, он повернулся к ней спиною и широко зашагал в прихожую.

— Вернись! — послышался ему голос Маруси.

Он не обратил на него внимания и, надев шубу, вышел на улицу.

Было морозно, светила луна, и широкие тени от домов лежали на укатанном, чистом снегу улицы. Из одной трубы шел дым, и тень его, тоже клубами, ползла

по снегу. Щеки у Гречихина горели. Он распахнул шубу и пошел к себе домой.

Войдя к себе, он увидал Лию. Она сидела у стола и чинила белье, а лампа под зеленым колпаком освещала ее худенькую, скромно одетую фигурку. При виде его она встала, опустила работу и посмотрела на него радостными, лучистыми глазами. Он подошел к ней и, как и Марусю, поцеловал ее в лоб.

— Плохо, Лия...— сказал он.— Скоро нам придется расстаться.

— Почему? — спросила она его спокойно и все еще радостно глядя на него.

— Вас скоро выселят отсюда!

Она звонко, по-детски, рассмеялась.

— Ну и пусть! — сказала она.

— Как пусть? — испугался он.— Да знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Меня? — весело спросила она.— Меня не выселит никто. Я останусь с вами, и меня никто не тронет.

— Ты так думаешь?

— Да, я так думаю, потому что...— и она понизила голос,— потому что только скажите одно слово, и я тотчас же приму христианство!

Он подошел к ней и стал гладить ее по голове, а она глядела на него обожающими, вдохновенными глазами.

V

Через две недели Шульман с торжественным видом принес Гречихину документы, и вслед за тем Бендерович подал прошение о приписке. Гречихин составил доклад и подал его генералу. Генерал сделал надпись «Исполнить», и Гречихин был доволен, что целая семья была теперь избавлена от ссылки.

— О, Воробейчик великий адвокат! — говорил в это время Бендерович, стоя в центре своей семьи и подняв палец кверху.— Ай-ай-ай, какой великий!

Вслед за тем к генералу приехал взволнованный полицеймейстер. Они долго о чем-то говорили, запершись в кабинете, а затем генерал потребовал Гречихина к себе.

— Вы берете взятки,— крикнул он и со всего размаха ударил кулаком об стол,— и затем подсовываете мне доклады об их прописке!

У Гречихина похолодело под сердцем.

— Взятки? — проговорил он.— Ваше превосходительство, я никогда не унижался до взяток и прошу вас этого не говорить!

Генерал язвительно засмеялся.

— Ах, извините меня, господин надворный советник,— сказал он,— что я на вас клевещу!

А затем, поднявшись и выпрямившись во весь свой рост, он закричал:

— А кто уплатил по вашему векселю в Общественный банк?

— Ваше превосходительство!..— оскорбился Гречихин.

— Молчать, взяточник вы этакий! Мне все известно! Я даже знаю, кто за вас платил! Шульман, вот кто-с! Знаю даже, кого он посылал с деньгами в банк! Своего фактора Волпянского!

И, грузно опустившись затем в кресло и все еще тяжело дыша от волнения, генерал упавшим голосом, почти шепотом сказал:

— Извольте немедленно подавать в отставку и можете жить затем с вашей еврейкой сколько вам угодно, иначе я напишу о вас в Петербург!

— Ваше превосходительство,— хотел было возразить Гречихин.

— Убирайтесь вон! — крикнул на него генерал и затрясся всем телом.

Гречихин вышел из кабинета и стал спускаться с лестницы. Он чувствовал, что еще немножко — и силы оставят его, и, держась за перила, боялся, как бы не упасть. А затем лестница завертелась вокруг него, подалась куда-то вбок, и ступени выскочили у него из-под ног.

— Какой позор!..— прошептал он.— Какой позор!.. Он падал, и кто-то вдруг накинул на него шубку. Он посмотрел на нее, и ему показалось, что это ротонда свояченицы полицеймейстера. С чувством гадливости он сбросил ее с себя и крикнул: «Краденая!» Но полицеймейстер высунулся из-за угла и показал ему язык. А в ушах у него, ни на минуту не переставая, кто-то кри-

чал: «Взяточник! Взяточник! Взяточник!» Потом все смолкло, и Гречихин больше не чувствовал ничего.

Его привез домой курьер Крякшин, который объяснил его прислуге, что, сходя с лестницы, его высокоблагородие оступился, упал и больно ударился затылком.

В тот же вечер Гречихин написал прошение об отставке и послал его с прислугой к генералу. Он был одинок, и это упрощало для него решение вопроса. Улики были налицо, и если бы он даже и попробовал защищаться, то ни одна живая душа не поверила бы тому, что он уплатил по векселю своими же собственными деньгами.

Через неделю его уволили в отставку.

Теперь он свободен... Он мог идти, куда захочет, и мог делать, что захочет. Но куда идти? Что делать?

Конечно, это можно решить только в Петербурге!

И он стал собираться в Петербург.

Как раз перед отъездом к нему постучался Бендерович. Прислуги не было, и Гречихин отворил ему сам.

Перед ним стоял совершенно поседевший еврей.

— Я пришел проститься с вами, хороший господин,— сказал он.— Завтра я, мои дети, племянники, дедушки, бабушки, мамаша и жена уезжаем в черту оседлости. Прощайте! Дай бог вам счастья! А я...

Он вынул все тот же красный платок и вытер слезы.

— Есть евреи счастливые,— сказал он,— и есть евреи несчастные. Я — несчастный еврей...

И, постояв немного и помолчав, он вытащил из кармана засаленный бумажник, достал из него деньги и протянул их Гречихину.

— Шульман дал мне на дорогу двести рублей,— сказал он и склонил голову набок.— Я знаю, что вы пострадали из-за меня и лишились своего куска хлеба. Возьмите себе эти деньги... А я как-нибудь обойдусь.

Гречихину хотелось утешить его, приласкать, сказать, что не все еще потеряно, что счастье и правда еще впереди, и хотелось дать ему на дорогу своих денег, но у него это не вышло. Бендерович положил ему деньги обратно в бумажник, спрятал бумажник в карман, помялся немного и глубоко вздохнул.

— Прощайте, ваше благородие,— сказал он.

— Прощайте, Бендерович,— ответил ему Гречихин.— Счастливого пути!

И неторопливой походкой Бендерович вышел.

Ах, как Гречихина потянуло вдруг сделать что-нибудь неприятное этим насильникам, из-за личной прихоти которых страдали целые семьи и в угоду распущенности которых разрушались насиженные гнезда бедняков! И, заложив руки в карманы, он нервно заходил по опустевшему кабинету и, тяжело дыша, старался придумать, чем бы отомстить.

Раздался звонок с заднего крыльца. Гречихин пошел в кухню и отворил дверь. Вошла Лия. Маленькая, худенькая, с опущенными глазами, она не решалась раздеться и войти в комнаты.

Что-то хорошее, теплое шевельнулось вдруг в душе Гречихина, когда он увидел эту девушку.

— Ну что же, Лия,— обратился он к ней.— Снимайте пальто, входите!

Она сняла пальто и послушно вошла к нему в кабинет.

— Уезжаю, Лия, прощайте! — сказал он.

И, взяв ее за плечи, он нагнулся над ней и посмотрел ей в глаза. Она доверчиво, как ребенок, ответила ему таким же долгим взглядом. И в этом взгляде он прочитал все: и про нее и про себя.

Затем он взял ее за руку и горячо, по-мужски, пожал ее.

— Так ты, Лия, согласна на все? — спросил он ее.

— На все,— ответила она и радостно засмеялась.

— А твои старики? Братья? Ведь ты их больше не увидишь никогда!

Она снова радостно засмеялась,

— Что мне старики? — ответила она.— Что мне братья?

Он взял ее за талию, подвел к одиноко горевшей на столе свече и опять долго смотрел ей в глаза. Потом он сжал обеими ладонями ее щеки и горячо поцеловал в образовавшийся бантик из губ.

— Моя...— сказал он и прижал ее к себе.

— Твоя...— прошептала она.— Навеки...

Затем он опять долго ходил по кабинету, а потом подсел к столу, достал лист почтовой бумаги и конверт и написал следующее письмо:

«Многоуважаемая Марья Петровна. Я сделал предложение Лии Бендерович, и она осчастливила меня сво-

им согласием быть моей женой. На этой неделе она принимает христианство. Позвольте просить Вас быть ее восприемницей при святом крещении, а Вашего зятя — ее посаженым отцом. Готовый к услугам И. Гречихин».

Он запечатал это письмо и передал его Лии.

— Пойди сейчас к полицеймейстеру,— сказал он,— и передай это письмо его свояченице Марье Петровне в собственные руки.

Лия надела на себя пальто и, взвизгнув от радости, со всех ног побежала к Марусе.

СИРОТЫ

I

Федор Иваныч поехал в Ессентуки лечиться от боли в желудке и вдруг неожиданно прислал Елене Ивановне телеграмму: «Благослови, сестра, я женюсь».

Елена Ивановна сидела в это время на дворе в тени и варила на жаровне варенье. Водовоз Семен Васильич сливал воду в кадку, поставленную на погребице. Увидав вошедшего почтальона и крестившуюся Елену Ивановну, на которой не было лица, он остановился с ведрами и стал ожидать, не случилось ли чего-нибудь страшного.

— Ну, слава богу!..— крестилась Елена Ивановна.— Ну, слава богу!.. Помогай бог ему, голубчику!

И, увидавши Семена Васильича, она улыбнулась и сквозь слезы сказала:

— Семен... Федя женится... Вот прислал телеграмму...

Семен Васильич поставил оба ведра на землю, снял фуражку и тоже перекрестился.

— Ну, подавай бог! — ответил он.— Сорок лет вам воду вожу, и его уже сорок лет знаю... Хороший он господин.

И лицо его приняло умиленное выражение.

Скрипнула калитка, и во двор вошел Петр Захарыч. На нем была старая фуражка с красным околышем, подаренная ему кем-то, и одет он был в засаленный пиджачок и в коротенькие нанковые брюки, на целую четверть не доходившие до земли. Он исполнял разные

работы по двору и по саду и жил на кухне из милости и потому, что еще в детстве оба брата Елены Ивановны, Григорий и Федор, когда еще были простыми крестьянскими детьми, играли с ним вместе в бабки.

— Петруша, слыхал? — обратилась к нему Елена Ивановна.— Федя женится!

Петр Захарыч снял фуражку и перекрестился широким крестом.

— Слава тебе господи, Елена Ивановна! — крикнул он по-солдатски и пошел на кухню.

Елена Ивановна не могла уже оставаться у жаровни и пошла в дом. Внизу было помещение Федора Иваныча, наверху одну комнатку занимала сама Елена Ивановна. Там же находилась так называемая «Гришина половина», в которой помещался старший брат, Григорий Иваныч. Елена Ивановна была вдовою. Овдовела она еще в ранней молодости, еще тогда, «когда были бедны». Оба брата были холостыми. Они остались сиротами в юношеском возрасте, не получив от отца ничего, кроме пустого дворового места в городе, на котором рос бурьян и на которое соседи перебрасывали через забор дохлых кошек и кур. Гриша и Федя были отданы мальчиками в мануфактурную лавку, а затем, когда мальчик Гришутка обратился в приказчика Григория Иваныча, у него на руках оказались и болезненный Федя, который был совершенно неспособен к торговле, и вдовая сестра, Елена Ивановна, и лежавшая в прогрессивном параличе тетка, Настасья Филипповна. Григорию Иванычу приходилось круто. Восемь лет мытарила его тетка, так что его товарищ, бывавший у них в гостях, сватавшийся к Елене Ивановне и просивший за нею восемьсот рублей, отзывался о больной так:

— Настасья Филипповна канительщицы большие-с! Помирают-помирают, никак помереть не могут-с.

В борьбе из-за куска хлеба Григорий Иваныч и не увидал, как пропустил время для женитьбы и как состарилась его сестра. Затем он открыл свой магазин, началась стройка на доставшемся от отца пустыре, и когда окончена была «Гришина половина», то Григорию Иванычу было уже около пятидесяти лет. Всю свою жизнь завися от него материально, Елена Ивановна и Федор привыкли видеть в нем старшего, благоговели перед ним и побаивались его. Это обижало его, и он

чувствовал, как с каждым годом брат и сестра становятся от него все дальше и дальше, и совершенно уединился от них в своей половине.

И теперь, когда Федор прислал телеграмму Елене Ивановне, она знала, что он не решился бы телеграфировать об этом самому Григорию Иванычу и что именно ей необходимо теперь сообщить обо всем старшему брату.

Григорий Иваныч обедал на своей половине один. Елена Ивановна сидела во время обеда в сторонке от него, смотрела на него и следила за тем, как он ест: с аппетитом или нет.

— Гриша, ты бы поперчил себе суп...— говорила она.

У Григория Иваныча был один недостаток, который заставлял Елену Ивановну страдать. Раз или два в год он запивал запоем, причем во время болезни он молчал или же жаловался на судьбу, брал с собою веревку и ходил по сараям и чердакам, отыскивая место, где бы повеситься. Дни запоя для Елены Ивановны проходили ужасно. Ни на час не упуская брата из виду ни днем ни ночью, она ходила за ним по пятам и оберегала его от катастрофы. И когда заканчивалась болезнь, Григорий Иваныч, видя исхудавшую, усталую сестру, стыдился ее, и это еще больше отдаляло его от нее. И теперь Елена Ивановна, поджидая брата к обеду, подозревала, что, кажется, он опять запил, вертела в руках телеграмму и не знала, как сообщить ему о женитьбе Федора Иваныча. Она знала, что Федору Иванычу жениться необходимо, что нельзя же ему весь век оставаться холостым, что ему уже сорок два года и что когда строили дом, то имели именно это в виду. Но забитая бедностью, мужем и зависимостью от брата, она не знала, как ей лучше приступить к делу, и боялась, как бы от этого он не запил по-настоящему.

Скрипнула калитка, раздались шаги по лестнице, и Григорий Иваныч прошел к себе на половину. Когда Елена Ивановна зашла к нему, он уже сидел, повязанный салфеткой, за столом и ел.

Елена Ивановна почувствовала, как задрожали у нее ноги, и протянула к брату телеграмму.

— Федя женится...— сказала она.

Григорий Иваныч прочитал телеграмму, положил ее на стол, откинулся на спинку стула и быстро задви-

гал бровями вверх и вниз, точно желая этим что-то согнать со лба.

— Ну что ж?..— сказал он.— Это его дело!

У Елены Ивановны отлегло от сердца.

— Ведь надо бы ему отвечать...— сказала она.— Неловко ведь.

— Конечно, надо! — согласился Григорий Иваныч.

И он снова нахмурил брови и, прищурившись, посмотрел на окно.

— Напиши ему сама,— продолжал он.— Приблизительно в следующих словах: «Милый брат, поздравляем тебя, желаем счастья. Надеемся, что твой выбор не обманет тебя. Только помни и не забывай: наш общий магазин дает нам средства только на одно пропитание. Поставь об этом в известность свою жену». Больше ничего. Когда напишешь, то принеси, и я подпишу, а то он подумает, что я не желаю, и обидится.

Елена Ивановна пошла к себе в комнату, написала, что приказал ей Григорий Иваныч, и возвратилась к нему с бумагой и пером, обмакнутым в чернила. Когда Григорий Иваныч подписывал свое имя, Елена Ивановна склонилась над ним, чтобы придержать бумагу, и ей в лицо пахнуло от него запахом водки. Она глубоко вздохнула и пытливо посмотрела на брата.

— Гриша, ты опять? — спросила она.

Григорий Иваныч поднялся с места и безнадежно махнул рукой.

— Опять! — сказал он и, взяв фуражку и не дообедав, стал собираться в магазин.

Елена Ивановна запечатала письмо, надела шляпу и, от волнения никак не попадая пальцами в перчатки, собралась вслед за братом. Ясно, что он выпивает в магазине, и надо было прекратить это в самом начале.

Вошел Петр Захарыч и, многозначительно кивнув головою на дверь в половину Григория Иваныча, прошептал:

— Благословили?

— Благословили,— отвечала ему Елена Ивановна.— Вот письмо!

Петр Захарыч вытянулся во фронт и уже громко, по-солдатски, крикнул:

— Слава тебе господи, Елена Ивановна!

Магазин помещался на базарной площади, в камен-

ных, с колоннами, рядах, когда-то полных жизни и торгового шума, а теперь совершенно заглохших. Во всем корпусе только и оставались незакрытыми две лавки — это магазин Григория Иваныча и бакалейная лавка мещанина Щеклеева. Григорий Иваныч не любил его, никак не мог простить ему того, что он бил своих детей-гимназистов, томил их вместо приказчиков в лавке, заставлял их ходить к заутрени и вообще отнимал у них всякую свободную минуту. Но больше всего Григорий Иваныч не любил Щеклеева за то, что он женился на девушке, которая еще в молодости нравилась ему самому и которую выдали замуж зря за этого бакалейщика, только потому, что в то время он был богаче, чем Григорий Иваныч. Елена Ивановна была дружна с этой женщиной, знала, что Григорий Иваныч в молодости был неравнодушен к ней, и искренне была привязана к ее детям-гимназистам. Григорий Иваныч тоже любил их и в шутку называл их «американцами» и «агентами».

— А! Американцы! — говорил он им.— Мое почтение! Как ваши науки? Часто ли порет вас отец? Хорошо ли служит заутреню отец Константин? До свиданья, агенты!

У дверей щеклеевской лавки стоял коротко остриженный мальчик с бледным, худеньким лицом. Звали его Васюткой. Он раньше служил у Григория Иваныча, но его родители, узнавши, что Щеклеев бьет своих детей, взяли его от Григория Иваныча и отдали к Щеклееву.

— Здравствуйте, Елена Ивановна,— поклонился мальчик.

— Ну что? Как? — спросила его она.

Васютка сморщил лицо и стал тереть кулаками глаза.

Елена Ивановна вытащила из кармана гривенник и, оглядываясь по сторонам, сунула его в руку Васе.

— Не надо! Не надо! — отказался он.— Найдут, бить будут!

Елена Ивановна вздохнула, жалостно посмотрела на него и вошла к себе в магазин. Здесь было сумрачно и прохладно, пахло кумачом и кубовой краской, и весь пол был исписан узорами от поливанья из чайника. За прилавком сидел Григорий Иваныч и пил водку. Елена

Ивановна молча подошла к нему, взяла от него бутылку, смахнула крошки от закуски, вышла через хибарку в заднюю дверь и разбила бутылку о землю. А затем она вернулась к брату и, низко склонившись к нему, так, чтобы не слышал мальчик Павел, зашептала ему:

— Если захочешь, Гриша, выпить, то пей, голубчик, дома... Здесь у всех на виду, войдут — увидят, разнесется по всему городу. Пей, голубчик, дома!

Григорию Иванычу стало стыдно, и он виновато задвигал бровями.

— Хорошо! — сказал он.— Больше не буду.

И, взяв фуражку, он куда-то вышел.

Елена Ивановна осталась в магазине одна вместе с Павлом. Сбоку доносились до нее крики Щеклеева и громкий плач его сына, и ей было так грустно, что тоже хотелось плакать. Неожиданная телеграмма из Ессентуков, начинающийся запой брата и эти крики за стеной надрывали ей сердце. Она знала, что теперь она будет одна ответчицей и перед женой Федора Иваныча, и перед знакомыми, которые будут ее же расспрашивать и тиранить своими вздохами и сожалениями, и боялась подумать о том, что будет.

Крики закончились, и из соседской лавки гурьбой высыпали гимназисты. Они были с книжками и с ранцами, так как каждый день обязаны были заходить к отцу в лавку прямо из гимназии. Вид у них был усталый, голодный, и у двоих были заплаканные глаза.

— Смотрите же, не балуйтесь! — крикнул им Щеклеев.— Богу надо молиться и старших слушать! Поменьше ешьте!

Точно птицы, вырвавшиеся на свободу, мальчики побежали домой, толкаясь по дороге и то и дело оглядываясь назад, точно боясь погони.

«Какие славные ребята! — подумала, глядя на них, Елена Ивановна.— И даст же бог людям такое счастье!»

И ей вдруг захотелось иметь детей, это животворящее начало в каждом доме. Ей пришла на ум ее маленькая двухлетняя дочь Катенька, умершая тридцать лет тому назад, и было жаль, когда гимназисты свернули за угол и скрылись из виду. Теперь и в ее доме будут дети. Приедет брат Федор, привезет с собой мо-

лодую жену, народят они детей, и в их пустынных, унылых комнатах раздадутся вдруг голоса, забегают маленькие ножки, послышатся смех и веселье. И быть может, глядя на них, растает сердце бедного Григория Иваныча, которому уже не иметь своих детей никогда, и он не будет так одинок и — кто знает! — быть может, эта ужасная болезнь оставит его навсегда. И, рисуя радостные картины их будущей жизни, она почувствовала, как ее наполнило вдруг желание перед кем-нибудь высказаться, вместе помечтать, вместе поплакать.

И она приказала запирать лавку. Павел передал ей ключи и пошел домой, а она помолилась на образ, постояла минуту, точно не решаясь, куда идти, и пошла к Щеклеевым.

Заходило солнце, гнали стадо, и оно подняло такую пыль, что все скрылось в ней, как в тумане. В городском саду заиграла музыка, и слышны были одни только басовые трубы. Когда Елена Ивановна вошла к Щеклеевым, мальчишки обступили ее со всех сторон, обрадовались ей, один надел усы и бороду и, взяв под мышку журнал, стал копировать учителя. Другой взял смычок от скрипки отца и, ухватив брата за ухо, стал водить смычком по его животу, а тот имитировал собою контрабас и послушно басил. Их мать сидела у ножной машины и шила серые брюки.

— Тише, дети, тише! — кричала она.— Здравствуй, Леночка.

— Здравствуй, Надя...— поцеловала ее Елена Ивановна.— Все шьешь?

— Да разве ж я когда-нибудь не шью?

— Я к тебе с новостью... Ты знаешь, Федор женится... Прислал телеграмму.

Надежда Гавриловна повернулась на образ и набожно перекрестилась.

— На ком? — спросила она.— Не пишет?

— Пока не пишет ничего...— ответила Елена Ивановна.

— А я вот все спешу, дошиваю... Дети совсем обносились... Ну а Григорий Иваныч как? Ничего?

— Кажется, что ничего... Да разве ж он скажет?

Надежда Гавриловна склонилась к шитью и заработала ногами.

— Да будет тебе шить! — сказала Елена Ивановна.— Давай лучше поговорим...

— Ах, Леночка, до разговора ли тут! Сил моих не хватает, просто изнемогаю. Некогда о себе подумать. Все шью, шью, и откуда эта работа берется? Алексей Кузьмич вечно недоволен и на детей и на меня, каждая копейка поперек горла становится, все ему не нравится... Торговля упала, денег нет, не во что одеть Васютку. Глаза за него горят. Стыдно перед чужими. И зачем только его от вас взяли и передали нам! Так вот бьешься, бьешься целый день, а настанет вечер, приходит Алексей Кузьмич из лавки, начинает взыскивать с меня и с детей, говорит, что много едим, да все ему неладно...

— Скажи, пожалуйста, Надя, зачем твой муж детей в лавке томит? Время весеннее, где бы им побегать да по деревьям полазить, а он заставляет их за себя дежурить. Мало им своих занятий!

— Да что ж с ним поделаешь? — вздохнула Надежда Гавриловна.— Я уж и рукой махнула. Выбрали его в торговые депутаты, дела много, а заменить себя некем... Медаль обещают... Эта медаль и меня и детей в гроб уложит.

— Уложит, матушка, уложит! — раздался вдруг голос вошедшей няньки.— Вся душа изболелась, на детей глядемши... Здравствуйте, матушка Елена Ивановна...

— Знаешь, няня,— обратилась к ней Надежда Гавриловна, чтобы переменить разговор.— Федор Иваныч женится!

— Ну и слава богу! — ответила нянька.— А вы-то, матушка, как? — обратилась она к Елене Ивановне.— Куда денетесь?

— Как куда? — отвечала Елена Ивановна.— Так и будем жить вместе!

— И-и, матушка! Ночная-то кукушка всегда перекукует денную! После-то узнаете, да поздно будет.

Елена Ивановна вздрогнула. Эта мысль ей не приходила в голову еще ни разу. Она испугалась ее, засуетилась и не знала в первую минуту, что сказать или что сделать.

— Иди, няня! — сказала Надежда Гавриловна.

Неожиданность телеграммы и начинающийся запой брата волновали Елену Ивановну, и достаточно было какого-нибудь маленького повода, чтобы она заплакала.

Сейчас она упала головой на плечо Надежде Гавриловне и зарыдала.

— Напиши ему, Леночка,— лепетала Надежда Гавриловна,— напиши Федору от моего имени, чтобы он любил свою жену, чтобы ценил ее, обращался с нею не так грубо и... и не тиранил бы ее детей... Напиши ему, что его бог за это не оставит.

А Елена Ивановна, вздрагивая плечами, повторяла:

— Неужели она прогонит меня?.. Неужели она меня прогонит?

Они еще долго изливали друг перед дружкой свои души и не заметили, как в комнату вбежал маленький гимназистик и испуганно, широко раскрыв глаза, воскликнул:

— Папаша идет!

Вслед за тем в комнату вошел Щеклеев. Он перекрестился на образ и, ни с кем не поздоровавшись, вдруг ударил мальчика по затылку и строго спросил его:

— Почему не зажжена лампадка?

А потом, увидавши Елену Ивановну, сурово посмотрел на нее и сказал:

— Ваш братец стал водочкой заниматься... Надо страх божий иметь!

Елена Ивановна вскочила, поцеловала Надежду Гавриловну в щеку и выбежала во двор.

— Подожди, Лена! — крикнула ей в окошко Надежда Гавриловна.— Посиди еще!

— Какой он у тебя... нехороший! — ответила ей Елена Ивановна и побежала домой.

Был уже вечер, в городском саду играла музыка, и откуда-то сильно пахло цветами.

II

Сделали большую стирку. На реку белье не возили, а полоскали дома. Хотя Семен Васильич навозил воды достаточно, но прополоскали белье плохо; надеялись на солнце, но к вечеру собрался обложной дождь, и белье пришлось повесить на чердаке. Елена Ивановна была недовольна, разнервничалась и долго не могла уснуть. Она прочитала газету и стала раскладывать пасьянсы, и когда взглянула на часы, то было уже около двена-

дцати ночи. Было тихо, и только слышно было, как шел дождь и как вода сбегала по железной трубе с крыши. Вдруг Елене Ивановне показалось, что кто-то ходит по потолку. Она встревожилась, вскочила и стала прислушиваться. На чердаке действительно кто-то ходил: туп-туп-туп...

Елена Ивановна вспомнила про белье и перекрестилась. Неужели это воры? Она набросила на себя капот, надела туфли и со свечой в руке направилась в половину брата, чтобы предупредить его о шагах на чердаке. Брата она не застала. Постель его была раскрыта, около нее стояли его сапоги, видно было, что он только что лежал, но, разбуженный шагами, в одних туфлях куда-то ушел. Тогда Елена Ивановна спустилась вниз, разбудила Петра Захарыча и вместе с ним, дрожа как осиновый лист, стала подниматься на чердак.

— Вы бы остались дома...— заговорил ей Петр Захарыч.— А то, сохрани бог, чего...

Они вошли на чердак. Из конца в конец тянулись веревки с бельем, и пламя свечи, колеблясь на нем, делало его похожим на загробные тени. Вот старый стул без ноги, вот бутылки из-под минеральной воды, которую когда-то пил Федор Иваныч, а вот печной боров, похожий на гроб. Подлезая под бельем, Петр Захарыч и Елена Ивановна шли по земляному накату и вдруг на повороте увидели свет. На полу стояла свеча, и чья-то длинная фигура, поставив несколько кирпичей друг на друга, стояла на них и что-то прикрепляла наверху к стропилам. Елена Ивановна испугалась и едва устояла на ногах.

— Гриша, что ты тут делаешь? — спросила она, узнав в этой фигуре брата.

Григорий Иваныч не ответил и продолжал свое дело.

Она близко подошла к нему, позвала к себе Петра Захарыча и свела Григория Иваныча с кирпичей. Он послушно слез с них, скорбными глазами посмотрел на сестру и молча последовал за нею. Петр Захарыч отвязал от стропила петлю и, опрокинув кирпичи, пошел вслед за ними.

— Слава тебе господи! — повторял он и часто и широко крестился.— Обошлось благополучно.

Елена Ивановна ввела Григория Иваныча к себе в комнату, уложила его на свою постель и заплакала.

— И зачем ты, Гриша, меня так мучаешь?..— проговорила она.— Бог тебе судья!

Он взял ее за руку и заплакал тоже.

— Тяжко, сестра...— ответил он.— Очень тяжко...

— Ну чего же тебе тяжко? — спросила она.

— Душа болит, Елена... Ничто не мило, жизнь уже подходит к концу, а ни одной души нет близкой, не с кем сказать ни одного слова... Все кругом или господа, или рабы, вы с братом тоже рабы... А господ я не люблю... А тут как назло какой-то неотступный голос шепчет мне: удавись, удавись, удавись! И я боюсь его и в то же время не умею с ним бороться... И нет во мне воли, Елена. Это оттого, что меня в детстве много били... Бил отец, бил хозяин... Ах как меня больно били! И вот теперь, Елена, я смотрю на этого болвана Щеклеева, которому досталась такая незлобивая труженица жена. Я смотрю на его детей, которых почему-то считаю своими, вижу, как он подло обращается с ними, и мне всякий раз хочется вступиться за них, и больно, больно, что он из них делает или таких же господ над слабыми, как он сам, или же таких рабов, как ты и брат Федор, или же таких безвольных, как я. А какие превосходные дети! И вот, Елена, теперь, когда я стар и одинок, каким бы праздником повеяло для меня, если бы выбор Федора оказался удачным и если бы его жена оказалась не рабыней и не госпожой и родила бы брату хороших детей!

Он приподнялся на кровати и, смотря скорбными глазами куда-то вдаль, продолжал:

— Как я мечтал, сестра, о хорошей, трезвой семейной жизни, о детях, о подруге-жене! Как я молил бога дать мне мой маленький собственный кружок, где бы меня не боялся никто и где бы и я чувствовал себя как дома! Всю свою жизнь я отказывал себе в самом необходимом, чтобы устроить вас, выстроить вот этот самый дом и потом сказать тебе и брату: «Вот это вам: живите себе, наслаждайтесь, а я пойду своей дорогой и устрою свою жизнь, как хочу». И пока я устраивал вашу жизнь, я и не заметил, как прожил свою, и все то, о чем я мечтал, что видел только во сне, исчезло для меня навсегда. И вот я старик. Мои сверстники уже поумирали; те, кого я крестил, уже повыходили замуж, переженились и нарожали детей, а я живу, не нужный ни для кого

и ни для чего, только затем, чтобы внушать к себе страх своею угрюмостью и ненавидеть все и вся. Ах, сестра, как это ужасно!

Он упал на подушку и закрыл глаза, а Елена Ивановна стояла около него и, слушая, как он жаловался ей на то, что прожил свою жизнь ради брата и сестры, молча глотала слезы.

— Принеси мне водки! — сказал он потом.

Она дала ему водки, он выпил две рюмки подряд, ничем не закусил и, о чем-то мучительно думая и не мигая, стал глядеть на пламя свечи.

Кто-то сказал ей, что от запоя помогает растирание больного губкой, намоченной в водке. Она раздела брата и растерла его. Он закрыл глаза и так и пролежал недвижимо до утра, спал он или нет — неизвестно, а она всю ночь просидела около него, не смыкая глаз ни на минуту. Так она целые сутки и не спала.

А наутро приехали гости. Из Ессентуков вернулся брат Федор Иваныч и привез с собою молодую жену. Началось хлопанье калиткой, визжание пружины у парадной двери, в комнаты стали вносить сундуки, корзины, картонки, саквояжи. Послышались в передней голоса, один — брата Федора Иваныча, а другой — звонкий, женский, еще незнакомый. Это, должно быть, невестка. Григорий Иваныч еще лежал на кровати раздетый, а Елена Ивановна сбросила с себя капот, надела наскоро платье и, поправив волосы и обтерев лицо одеколоном, пошла к ним навстречу. Она очень была рада приезду брата, которого любила и не боялась, но на этот раз сердце у нее билось и ноги дрожали в коленях. От бессонной ночи в глазах у нее мелькало и голова точно налита была свинцом. Держась за перила, она сошла вниз и поздоровалась с братом.

— Ну, здравствуй, Федя...— сказала она, не зная, о чем говорить дальше.— Да как же ты переменился!

— Здравствуй, Лена...— отвечал Федор Иваныч, одной рукой держась за локоть жены, а другой опираясь на палку с резиновым наконечником.— Позволь тебе представить мою жену, Нину Петровну...

— Очень приятно...— сказала Елена Ивановна и заплакала.

Ей было стыдно, что она плачет при чужой женщине, но она не могла удержаться.

— Надеюсь, что мы с вами сойдемся...— сказала Нина Петровна и, отведя ее руки от заплаканного лица, поцеловала ее в губы.

Это умилило Елену Ивановну, она засмеялась, обняла ее и тоже поцеловала.

— Простите меня, старуху...— залепетала она.— Это я от... радости. Но что же это мы стоим в передней! Пойдемте в комнаты! Петр Захарыч, эти вещи снеси пока в среднюю комнату, а сам скажи, чтобы поскорее подавали самовар. Пойдемте!

И, чтобы не вводить гостей наверх, где лежал Григорий Иваныч, она повела их вниз, в комнаты Федора Иваныча.

Из полумрачной передней перешли к свету, и тут-то Елена Ивановна увидала, как сильно переменился ее брат. Он еле волочил ноги, опираясь на палку и держась теперь уже за плечо сестры, лицо его было землистого цвета, и кожа на лице плотно облегала кости.

— Вот я и дома! — сказал он, садясь на первое попавшееся кресло.

— Ах как ты переменился, Федя! — снова воскликнула Елена Ивановна.

— Да что поделаешь, сестра! — ответил он.— Думал поправиться, а вот вышло иначе.

— Что же у тебя такое?

— Говорили сначала, что хронический катар, а теперь оказалась круглая язва желудка.

— Господи, спаси и помилуй! — испугалась Елена Ивановна и перекрестилась.— Оборони, царица небесная! Чем же ты лечишься?

— Сначала пил воды, а теперь, как только начинается кровавая рвота, ставлю себе пузырь со льдом да пью кондуранго. Посылают в Москву.

— Мы с ним вместе поедем в Москву,— вмешалась в разговор Нина Петровна.— Осенью! А то теперь там скучно!

А затем, увидев пианино, она, несмотря на ранний час, подсела к нему, взяла несколько аккордов и прошлась по клавиатуре.

— А у тебя хорошенькое пианино,— обратилась она к Федору Иванычу.— Это твое?

Она повернула к нему голову так, что лицо ее было

освещено вполне, и Елена Ивановна увидала, что у нее были усики и два передних зуба вставные.

Вспомнив про Григория Иваныча и про самовар, Елена Ивановна побежала наверх. Самовар уже стоял на столе, но было стыдно за несвежую скатерть, и Елена Ивановна дрожащими руками насилу попала ключом в скважину и насилу достала скатерть. Затем она вошла к себе в комнату, где уложила спать Григория Иваныча. Его уже не было, и постель стояла наскоро убранной. В комнате пахло винным перегаром. Все суетясь и дрожа, Елена Ивановна пошла на половину брата и там увидела его уже одетым. Он сидел у стола и, положив голову на локти, казалось, плакал. Перед ним стояла водка. Во время запоя Елена Ивановна не мешала ему пить, полагая, что сидевший в нем бес должен выпить все, что ему полагается выпить, и поэтому не запирала от брата водку. При виде ее Григорий Иваныч поднял голову с локтей и обвел ее красными, воспаленными глазами.

— Тяжело, Елена! — сказал он.— Погибший я человек!

— Молодые приехали...— обратилась к нему Елена Ивановна.— Ты слышал? Федя и... ах, дай, господи, память!.. и Нина Петровна.

— Ну что, как она?

— Да господь ее знает! Вот увидишь! Сразу ведь человека не узнаешь...

— Ну и пусть их! — сказал Григорий Иваныч и опять положил голову на локти.

Елена Ивановна посмотрела на него и нерешительно спросила:

— А как же лавку-то, Гриша? Будем сегодня отпирать?

Григорий Иваныч молчал.

— Не приехали бы молодые, так я бы пошла за тебя, а теперь...

— Ну что такое лавка? — вскочил вдруг Григорий Иваныч.— Эта лавка — вот она где сидит у меня! Дает только каких-нибудь три с полтиной в день, а погубила, проклятая, всю мою молодость, всю мою жизнь! Сначала я гнул перед ней спину, чтобы не околеть с голоду самому, чтобы не передохли вы, а затем... а затем я хотел создать хорошее торговое дело, но скоро убедился,

что не обманешь — не продашь, а мошенничать я был не способен. И мое дело падало, падало без конца, и я не мог его поставить на надлежащую высоту.

Григорий Иваныч провел обеими руками по волосам и продолжал:

— А когда я обманулся, когда я понял, что отец, отдавая меня по торговле, сделал передо мной тяжкое преступление, то было уже поздно. Я был старик, одинокий, и не оказалось у меня ни здоровья, ни знания какого-нибудь другого ремесла, ни взрослого сына, который бы прокормил меня, ни... ни копейки денег. И вот она, проклятая, дает только какие-нибудь гроши, и я должен все-таки ценить ее, все-таки кланяться перед ней, иначе и я, и вы, и та... и та вот чужая для меня дура, которая сидит теперь там внизу, передохнете с голоду как мухи! Э, убирайся ты от меня, пожалуйста, со своею лавкою прочь!

— Грех тебе, Гриша, обижать меня,— сказала Елена Ивановна и вышла к чаю.

Мысль о том, что сегодня не будет вовсе открыта лавка, что это может быть истолковано как начало банкротства или объяснено запоем брата, который они тщательно скрывали, убивала ее. Боязнь того, что скажут другие, овладела всем ее существом. И когда наверх поднялись молодые, она путалась, отвечала им невпопад, и оба они с самоваром вместе то вдруг уходили в ее глазах куда-то далеко-далеко и казались маленькими куколками, а то вдруг вырастали в натуральную величину. Она то и дело протирала себе глаза. Один раз ей показалось даже, что вся комната вдруг подалась куда-то вправо, и она инстинктивно ухватилась за край стола, чтобы не упасть.

— Брат в магазине? — спросил Федор Иваныч.

— Нет, дома...— ответила Елена Ивановна.— Сегодня лавку не открывали. Гриша нездоров.

— Так надо пойти с ним повидаться! — сказал он и, с трудом поднявшись с места, пошел на половину брата.

— А чем болен Григорий Иваныч? — обратилась к Елене Ивановне невестка.

Елена Ивановна покраснела, опустила глаза и не решилась сказать правду.

— Голова болит...— ответила она и затеребила бахрому скатерти.

Нина Петровна перегнулась к ней через весь стол и, оглядываясь по сторонам, зашептала:

— Правда, говорят, что он у вас крутой и весь дом держит так?

И она сложила руку кулаком.

Елене Ивановне было больно, что чужая, посторонняя ей женщина обращается к ней с таким вопросом, и ответила:

— Нет, он добрый...

Возвратился от брата Федор Иваныч взволнованный, красный. Он уселся за стол, а потом вдруг опять встал, попросил подать ему чай внизу и вместе с женою ушел из столовой.

В этот день обедали поздно, так как Елена Ивановна сочла неудобным кормить гостей своим обыкновенным обедом и затеяла много лишнего. За обедом она так же, как и утром, отвечала невпопад и не знала, о чем говорить с невесткой. По целым минутам длилось тягостное молчание, и выходило так, точно она была не рада гостям. Вечером Григорий Иваныч куда-то исчез, и его долго искали. Нашли в сарае за кучей хлама. Елена Ивановна повела его в дом. Проходя мимо нижнего этажа, она слышала, как что-то скоро-скоро рассказывала мужу Нина Петровна и как вдруг рассмеялась веселым, здоровым, задорным смехом.

Елена Ивановна уложила Григория Иваныча в постель и снова растерла его водкой.

Затем она пошла к себе в комнату и, положив голову на часословец, горько заплакала. По лестнице раздались чьи-то тяжелые шаги. Она вытерла слезы и, раскрыв часословец, сделала вид, будто читала. В комнату вошел Федор Иваныч и, увидав Елену Ивановну в уголку у комода, опустился около нее на кресло и тяжко задышал. Лицо его было бледно, ноздри раздувались.

— Что с тобой, Федя? — спросила она его.

— Я пришел к тебе, сестра, — ответил он, — чтобы попросить тебя не показывать ясно, что Нина тебе противна. Это меня обижает... Я люблю ее, и... мне это тяжело!

Он встал с кресла и демонстративно вышел из комнаты, а Елена Ивановна опустилась на стул, сложила

руки ладонями вместе и, подняв глаза на икону, только и могла сказать:

— Господи!.. Господи!..

Вслед за тем внизу раздались аккорды на пианино, и вдруг, точно в насмешку над всем, послышался голос Нины Петровны, запевшей цыганский романс. Она пела громко и звонко, так, как когда-то Елена Ивановна слышала в театре. Что-то новое почудилось вдруг Елене Ивановне и показалось, что вместе с этой женщиной входит к ним в дом новая жизнь, новая, незнакомая, которой чужды будут и Елена Ивановна, и больной Григорий Иваныч, и весь их дворовый штат.

И она пошла на половину к брату. Он лежал в постели на спине и мутными, оловянными глазами смотрел в потолок. Она присела к нему и положила голову на край кровати.

А внизу еще долго Нина Петровна пела романсы.

III

Всю ночь у Федора Иваныча была кровавая рвота и ощущались сильные боли. Ему прикладывали к желудку пузырь со льдом, давали капли, но боль не унималась, и он стонал на весь дом. Доктор, лечивший его и прежде, уложил его в постель, а затем, дня через два, потребовал консилиума и под конец, отозвавши Елену Ивановну в сторонку, сообщил ей, что у больного рак и что делать операцию теперь уже поздно. Это ошеломило Елену Ивановну, она долго боялась сказать об этом Нине Петровне, чтобы не убить ее этим сообщением, но когда собралась с духом и сделала это, то оказалось, что Нина Петровна знает уже обо всем.

Обрюзгший и опухший от алкоголя, Григорий Иваныч сходил в баню и этим окончательно подвел итог своему запою. Чисто одетый, гладко причесанный, он целые часы стал просиживать у постели брата, чередуясь с Еленой Ивановной, заменявшей его в магазине, и наблюдал за Ниной Петровной.

Один раз Григорий Иваныч отозвал ее в сторону и сказал ей, что если она хочет и считает нужным, то он тотчас же выпишет из Харькова хирурга, но она равнодушно посмотрела на него и ответила:

— Как хотите.

В другой раз, недели через три, уже под конец болезни, Григорий Иваныч, сидя у больного, видел в зеркало, как она, стоя у окошка и заложив обе ладони за затылок, потянулась всем телом и с грустью проговорила:

— Господи, какая тоска, какая скука!..

Однажды после нескольких бессонных ночей, в которые приходилось особенно тяжко, Федор Иваныч задремал и перестал стонать. Воспользовавшись этим, Нина Петровна села за пианино и заиграла. Больной проснулся, открыл глаза и на движение Елены Ивановны, бросившейся было в гостиную, чтобы попросить невестку перестать, замахал ей рукою и сказал:

— Оставь, оставь ее, Елена... Пусть она, бедная, развлечется хоть немножко.

Приходила навестить больного Надежда Гавриловна. Ей вечно было некогда, вечно она торопилась, и когда приходила, то поджимала под себя ноги, чтобы не видно было ее рваных башмаков, и держала руку кулачком, чтобы люди не увидели на ее фильдекосовых перчатках рваных пальцев. Это умиляло Григория Иваныча; он любил в ней ее бедность и покорность судьбе.

— Ну мне пора...— поднялась она, едва просидев пять минут.— Детям белье еще надо перечинить, да ко всенощной отец потащит, надо их чаем напоить... Прощай, Леночка! До свиданья, Григорий Иваныч! До свиданья, Нина Петровна!

Григорий Иваныч пошел ее проводить, остановил у калитки и спросил:

— Надежда Гавриловна, скажите откровенно, как вы находите нашу невестку?

Она несколько смутилась, а потом, посмотрев Григорию Иванычу прямо в глаза, отвечала:

— Она милая, прекрасная, хорошая... Только она мне не нравится, Григорий Иваныч!

А потом, испугавшись того, что сказала, она быстро простилась и ушла.

Целых три недели затем шел упорный дождь. На улицах стояла такая грязь, что ни пройти, ни проехать, и по дорожкам в саду не пересыхали лужи, поверх которых плавали начинавшие уже осыпаться листья. Было ветрено, и шуму деревьев вторил жалобный стон бедного Федора Иваныча, страдавшего от невыносимой

боли. Нина Петровна по целым дням сидела у окна, подперши голову кулаками, смотрела не мигая вдаль и часто тихо плакала, но были ли это слезы жалости к мужу или сожаления о потерянном девичестве — этого не знал никто. Григорий Иваныч и Елена Ивановна по-прежнему чередовались в магазине и очень горевали, и только один Петр Захарыч, по-видимому, не унывал и за все благодарил бога. Приезжал каждый день доктор, не столько для того, чтобы помочь больному, сколько для того, чтобы просто навестить его. Какое-то уныние царило и в природе, и во всем доме, и казалось, один пережидал другого. «Вот только бы выглянуло солнце и перестал дождь,— думали брат и сестра,— и больному полегчало бы тотчас же», а природа, казалось, говорила так: «Вот погодите, умрет Федор Иваныч, и я тотчас засияю!» К концу четвертой недели больному стало хуже. Его кончины ожидали каждый день, и Григорий Иваныч не ходил в лавку совсем. Две ночи не спали все в доме, находясь все время вблизи от больного, а затем установили дежурство. Выбившись из сил, Григорий Иваныч и Елена Ивановна оставили Нину Петровну с мужем одну, пошли каждый на свою половину и легли спать, не раздеваясь.

Наутро Григорий Иваныч был разбужен скрипом двери и чьими-то шагами.

— Кто там? — крикнул он.

Но вслед за тем прямо к нему в спальную вошла Нина Петровна и в бессилии опустилась на стул.

— Что такое? — спросил Григорий Иваныч.— Что случилось?

— Федор умер...— ответила она.

— Когда? В котором часу?

— Сейчас...

— Что он говорил перед смертью?

— Ничего...

Вскочив с кровати, Григорий Иваныч бросился вниз. На лестнице он встретил Елену Ивановну с испуганным, заплаканным лицом. Она шла снизу наверх.

— Федя скончался! — сказала она, и слезы потекли у нее по щекам.

— Завесьте зеркала и составьте рядом два ломберных стола наверху в гостиной! — приказал впопыхах Григорий Иваныч и направился к брату.

Он застал его голым, растопырившим исхудавшие ноги, как палки, и с ввалившимся животом. Все его ребра были наружу, верхняя губа приподнялась и оскалила два передних зуба. Стеклянные, мутные глаза были открыты, и на лице так и осталось выражение мучительной боли. Две старушки, неизвестно откуда взявшиеся, точно выросшие из земли, обмывали труп и всхлипывали. Тут же стоял Петр Захарыч, держа на вытянутой руке костюм покойного. В комнате было душно и пахло лекарствами.

Григорий Иваныч перекрестился несколько раз, подошел к трупу, поцеловал его в лоб и, дождавшись, когда его обмыли и одели, помог Петру Захарычу перенести его наверх и уложить на составленные рядом два стола. Павел с молотком в руках и с гвоздями во рту завешивал простынями зеркала, а Елена Ивановна, уже вся в черном, суетилась и ходила снизу наверх и сверху вниз, по-видимому, без всякого дела. Григорий Иваныч натянул пальцами веки Федора Иваныча и положил на них копейки.

Сделав еще кое-какие распоряжения, Григорий Иваныч отправился к священнику, уговорился с ним, а затем, вспомнив, что покойному нужен саван, пошел к себе в лавку. В ней было одиноко и темно, когда он вошел в нее с заднего хода, и штуки товара безмолвно лежали на полках. Он достал кисею и оторвал от нее кусок. Ему было страшно одному в этом месте, где он просидел тридцать лет, он торопился и то и дело посматривал на образ, перед которым теплилась лампада, и крестился. Отмерив крепу и парчи, он завернул их, запер лавку и отправился на кладбище.

Извозчика не нашлось, было мокро, и ноги Григория Иваныча глубоко вязли в грязи. Уставший, весь в поту, он добрался, наконец, до кладбища и долго выбирал место для могилы брата. Уплатив деньги, он завернул к могилке Настасьи Филипповны и поклонился ей. Грустное чувство, неизбежное у всякого, посещающего кладбище, овладело и им. Серое небо и начинавшийся листопад увеличивали это чувство. Настасья Филипповна лежала одиноко, как одинока была она и при жизни, и теперь на всем земном шаре ровно никому не было до нее никакого дела. Так никому не будет дела и до брата Федора, и до самого Григория Иваныча.

Свалят и его в могилу, и всем тем, что он с таким трудом строил, создавал, наживал, завладеют другие, быть может, даже совершенно чужие люди... Вместе с Федором угасла всякая надежда на молодое поколение в доме, и все то, что принес Григорий Иваныч в жертву неизвестному тогда для него будущему, свое личное счастье, здоровье, свою, быть может обещавшую быть счастливой, жизнь,— все это оказывается теперь потраченным зря, неумело, без всякого смысла...

— Грустно!.. Грустно!..— проговорил Григорий Иваныч и, махнув рукою, пошел домой.

Вот опять церковь, вот аллея, ведущая к кладбищенским воротам, а вот и самые ворота. На них нарисованы два ангела, трубящие в длинные трубы, и сделана надпись: «Грядет час, в онь же вси мертвии восстанут».

«Для чего-то они восстанут? — подумал Григорий Иваныч.— Какова-то будет их новая жизнь? Ах как бы я не желал пережить свою жизнь еще раз!»

Перед ним расстилался выгон, вдалеке налево дымили кузницы, а справа азартно махала крыльями мельница. Григорий Иваныч знал ее еще ребенком. Так же она махала крыльями и тридцать лет назад, так же будет махать и еще много времени. Махала-махала, кормила других, кормила, а потом отживет свой век и сгниет где-нибудь в мусорной куче.

«Так вот и я,— подумал Григорий Иваныч.— Всю жизнь махал, а ни до чего не домахался!»

Когда он вернулся домой, то застал ворота и парадное крыльцо открытыми настежь, и какие-то незнакомые лица толпились на лестнице и в сенях. Федор Иваныч лежал на столе, скрестив руки, и уже без копеечек на глазах. Григорий Иваныч развернул кисею и закрыл его. Из церкви принесли два ставника со свечами и налой, и какой-то маленький старичок в больших круглых очках в толстой медной оправе читал уже по покойному псалтырь. Тут же безмолвно, все в черном, сидели Елена Ивановна и Нина Петровна.

В семь часов вечера была первая панихида. Раздалось бряцание кадилом, запахло ладаном, и собралось много совершенно незнакомого народа. Петр Захарыч с сознанием торжественности минуты раздавал молившимся свечи. Елена Ивановна и Надежда Гавриловна

плакали, а Нина Петровна стояла потупившись, глядя на пламя свечи, и точно вся ушла в себя. Затем все разошлись, заперли ворота и парадное крыльцо, и еще долго в комнатах пахло чужими людьми. Елена Ивановна с Ниной Петровной сошли вниз и, усталые, расположились на покой, а Григорий Иваныч еще долго сидел у покойного и прислушивался к чтению псалтыря и к шуму дождя, неумолимо хлеставшего по стеклам.

«Вот мы все трое,— думал он,— как неумно рождены, как неумно прожили и как неумно заканчиваем свою жизнь! Наш отец для чего-то переписался из крестьян в мещане, отказался от земли, для чего-то родил нас, быть может, даже в пьяном виде, для чего-то пустил меня и брата по торговле и сестру выдал замуж за нелюбимого человека. И, вырванные с корнем из своей среды, мы старались завоевать себе жизнь в городе, и пока бились и завоевывали, к нам подкрадывались старость и болезни, и в результате — одно разочарование. Мы устали, изболелись душой и все-таки не создали для себя того закала, той способности бороться, которою обладали бы, если бы оставались в крестьянах. Мы полезли в среду этих тупых, самодовольных Щеклеевых, но у нас не хватило ни мужества, чтобы обмеривать, ни жестокости, чтобы упиваться властью над беззащитными женою и детьми!»

Григорий Иваныч подошел к покойнику, посмотрел на него, а потом поправил нагар на свече и отправился к себе.

У порога он остановился и еще раз посмотрел на Федора Иваныча.

— Хорошо, брат, ты сделал, что скончался...— прошептал он и глубоко вздохнул.— Как я тебе искренне-искренне завидую!

И, проведя рукой по волосам, вышел.

IV

Приходил полицейский пристав, чтобы сделать опись имущества, оставшегося после смерти Федора Иваныча, и очень удивился, когда Григорий Иваныч сказал ему, что все их имущество неделимое и что никаких актов укрепления на имение нет, так как все

создавалось постепенно и общими усилиями. Он записал в своей ведомости, что после покойного остался мануфактурный магазин и дворовое место с постройками в таком-то квартале, такой-то части, находящиеся в общем владении с братом Григорием и сестрой Еленой. Потом он повидался с Ниной Петровной и объяснил ей, как скорее всего и без лишних хлопот и пени ввестись в правах наследства и, приятно улыбаясь, ушел. Посещение его в то время, когда на столе еще лежал покойник, произвело на всех неприятное впечатление.

После похорон в доме сделалось сразу как-то пустынно, точно покойный занимал все комнаты один. На поминках все гости много ели, много пили и под конец все хором, хмельные, спели «вечную память». Походило на рев англосаксов, и было неловко за людей. Когда же гости разошлись и убрано было все по-старому, уже смеркалось, и брат с сестрою почувствовали, как у них сползла с плеч гора. Повеселели, разговорились и долго сумерничали. Вспоминали о покойном и незаметно перешли на самих себя. Елена Ивановна вспомнила, как, еще крестьянской девочкой, босая и грязная, она носила воду, доила коров и ходила за ягодами и грибами, а Григорий Иваныч рассказывал, как его привезли в первый раз в город и отдали мальчиком в лавку и как, стоя по целым дням и месяцам без всякого дела у двери, он тосковал по деревне.

— Ты знаешь, Елена,— сказал он, смеясь.— Как еще мальчиком в деревне я ездил верхом на лошади, так с тех пор ни разу на нее и не садился! А, помню, любил покататься.

Он прошелся по комнате и, заложив руки в карманы пиджака, долго смотрел в темное окно на улицу.

— Нет, сестра! — начал он опять.— Не верю я в нашу российскую коммерцию! Нет в ней традиций, нет в ней того, что торговым людям дает такую же сословность, как, например, адвокатам и врачам их профессия или учителям их занятие. Посмотри кругом: два-три настоящих купца, и обчелся. А остальные все, подобно мне, выскочки из крестьянского сословия, пошедшие по торговой части только потому, что было тесно в деревне или надоела община. И нет в нашей торговле никакой прочно установившейся теории. Возьми меня. Отец привез меня из деревни полуграмотным мальчиш-

кой и отдал хозяину. Хозяин поставил меня на пять лет у двери и сказал: «Приучайся». И при этом он не объяснил мне, ни что такое товар и деньги, ни что такое спрос и предложение, ни что такое касса и отчетность. Вероятно, он и сам не знал, потому что не обходился без посредников, валил всю выручку в одно место и понятия не имел о проценте прибыльности. Угощая посредников, пьяный, он бил в трактирах посуду и сносил это в торговые расходы.

Григорий Иваныч весело засмеялся.

— И я стоял у двери,— продолжал он,— ничего не понимал и старался «приучаться», а мои товарищи, которые поумнее, в это время не дремали и действительно приучались, но только лгать и воровать. И когда я вырос большой и уже сам открыл торговлю, то я положительно ничего не знал и торговал ощупью и в первое время также не мог обойтись без посредников. Можно было бы приобретать товар прямо с фабрики, но я боялся ее, боялся всяких новшеств и в то же время боялся этого ужасного «не обманешь — не продашь», и в результате из моей торговли ровно ничего не вышло.

Он схватил себя ладонями за виски и, сделав страдальческое лицо, точно боясь направленного на него удара, опустился на кресло.

— И при этом...— заговорил он,— при этом полнейшее невежество, безграмотность, боязнь просвещения и культуры, точно просвещение и культура в коммерции нужны меньше, чем... чем, например, в медицине! Как это ужасно! И когда я понял это и, устав ничего не делать, сидя за прилавком, принялся за самообразование, то все мои соседи-торговцы указывали на меня пальцами, смеялись надо мной и говорили: «Посмотрите, он лезет в образованные! В господа захотел!» А один... один даже пришел ко мне в лавку и при всех, при покупателях и при мальчиках,— Григорий Иваныч поднялся с места и понизил голос,— заорал на меня: ты, говорит, социалист! И на другой день у меня в лавке обыск был, и, помнишь, на моей половине смотреть приходили. Вот оно, наше милейшее купечество! И при этом всех держать на откупе, э, да что говорить!

Григорий Иваныч всплеснул руками.

— И знаешь, когда я все это вспоминаю,— продолжал он,— когда мне приходит на ум мое раннее детство,

мне так становится жалко своего потерянного крестьянства, так хочется опять возвратиться к земле, с ее честностью, с ее любовью к любящему ее человеку. Ах, зачем, зачем я не крестьянин! Впрочем, ты, сестра, всего этого не понимаешь!

Елена Ивановна, действительно, плохо понимала Григория Иваныча, но, привыкнув с малых лет к материальной зависимости от него, она не находила слов, чтобы ему возражать, смотрела на него во все глаза, и ей казалось, что брат нарочно говорил ей о своих разочарованиях, чтобы показать ей, что во всем этом виновата именно она одна.

— Как знаешь,— повторяла она.— Как знаешь. Давай тогда продадим дом и купим имение.

— Я говорю, Елена, не об имении, а о земле, и не о хозяйничанье, а о работе.

Через две недели приехал брат Нины Петровны — Асинкрит Петрович, отставной полковник. Ему устроили комнату внизу, и он поселился в ней и стал жить как дома. Его можно было часто встретить в саду или во дворе то и дело заколачивающим во что-нибудь гвозди или распоряжающимся Петром Захарычем как своим денщиком. У него были большая борода и густые, рыжие, с проседью брови. Лицо его настолько покрылось волосами, что они росли у него даже на носу и целыми косами вылезали из ноздрей и ушей. Елена Ивановна испугалась его с первого же взгляда и так и не переставала его бояться до самого его отъезда. Как только он приехал, Нина Петровна дала ему доверенность на хождение по утверждению ее в правах наследства. Получив доверенность, Асинкрит Петрович тотчас же отправился к Григорию Иванычу поговорить с ним о деле.

— Видите ли, дорогой брат,— начал он,— Ниночка дала мне доверенность на хлопоты в окружном суде и в казенной палате, потому что, как слабая женщина, она не в состоянии этого сделать сама. Как вам, дорогой брат, известно, по ныне действующим законам Российской империи, после смерти одного из супругов остающийся в живых супруг получает указную часть, то есть четвертую часть движимого и одну седьмую часть недвижимого приходящегося ему имущества. Поэтому, дорогой брат, я убедительно просил бы вас показать

все акты и вообще все документы, каковые к настоящему делу относиться могут.

Григорий Иваныч почувствовал, как что-то острое кольнуло его в самое сердце.

— Все наживалось постепенно, полковник, и сообща,— ответил он.— Поэтому никаких актов укрепления у нас нет.

— Странно... Тогда покажите мне страховый полис!

— Я не страховал имущества никогда, находя это лишним.

— В таком случае я не сомневаюсь, дорогой брат, что вы покажете мне по совести действительную стоимость имущества. Так и в законе сказано: по совести.

— Я и не думаю скрывать ее от Нины Петровны, полковник. Дом с постройками обошелся свыше двадцати восьми тысяч, а магазин в настоящее время имеет товару тысяч на девять, не больше. Свободных капиталов не осталось никаких. Движимое имущество у каждого из нас — отдельное.

Полковник записал все это в бланке заявления и попросил Григория Иваныча подписать его.

Григорию Иванычу показалось диким, что совершенно чужой, посторонний для него человек получил вдруг право требовать от него показаний и вмешиваться в его личные дела. Всю жизнь Григорий Иваныч наживал это имущество, распоряжался им, как хозяин, и вот является какой-то неизвестный полковник, который предъявляет вдруг на имущество свои права, полученные им не посредством тяжкого, настойчивого труда, какой затратил Григорий Иваныч, а только потому, что покойному Федору Иванычу пришла вдруг фантазия жениться. Как это странно!

Григорий Иваныч взял из рук полковника перо и подписал заявление.

Через шесть недель окончился траур, и «нижние», как называла Елена Ивановна Нину Петровну и полковника, стали выезжать и заводить знакомства. С утра и до вечера стучала калитка у ворот и визжала пружина у парадной двери, до глубокой ночи внизу плясали, распевали песни, играли в карты и смеялись, так что Елена Ивановна долго не могла уснуть и все боялась, как бы гости не подожгли дом и как бы Петр За-

харыч не забыл за последним гостем запереть калитку. В кухне появилась новая кухарка, и кастрюли Елены Ивановны всегда были оттеснены к самому краю плиты, долго не кипели, и бедная старушка мучилась, что Григорию Иванычу пора уже обедать, а еще ничего не готово. Петра Захарыча прозвали «Псом Захарычем» и так в глаза его этим именем и величали. Наконец, что было больнее всего для Григория Иваныча, срубили перед окнами старую липу, чтобы в комнатах было светлее и не пахло сыростью.

«Нахалы! — думал про них Григорий Иваныч, будучи не в состоянии разговаривать с полковником и невесткой.— Как таким людям хорошо и легко живется на свете! Пришли, сели в чужое гнездо, сознают свое право, и никакими силами не убедишь их, что такое право, в сущности, ничем не отличается от простого захвата!»

И он стал терпеливо ожидать того момента, когда полковник окончит дело в окружном суде и в казенной палате и уедет, и тогда все пойдет по-старому.

14 января были именины Нины Петровны. Накануне к Григорию Иванычу явился полковник и попросил у него для принятия гостей верх, так как приглашено много знакомых и негде будет всех их поместить внизу. Григорий Иваныч не нашел в себе достаточно сил отказать ему. Пришли мужики и, напустив в комнаты холоду, перетащили, топая сапожищами, пианино снизу наверх. От кухмистера принесли столы, венские стулья и канделябры, явились лакеи во фраках, и бедную Елену Ивановну выселили из ее комнаты на половину к брату. В день именин с утра стали появляться гости. По обыкновению, досидели до глубокой ночи, перепились, орали хором песни и прокурили стены и мебель так, что еще долго от них пахло дымом. Танцевали и топотали русскую. Кричали «браво» и «ура». Пели «Дубинушку» и после каждого куплета чем-то тяжелым ударяли прямо в стену к Григорию Иванычу.

— Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Григорий Иваныч сидел на своей половине и, заткнув себе уши, читал, а Елена Ивановна примостила себе постель на диване, сидела около брата, смотрела на него испуганными глазами и всякий раз вздрагивала, когда слышала шум.

— Ах, боже мой, боже мой!..— шептала она.— Заперта ли калитка?.. Не сожгли бы они нас спьяну! Спаси и помилуй, царица небесная!

Григорию Иванычу понадобилось что-то в комнатах, он вышел в коридор и наткнулся на безобразную сцену: перед полковником навытяжку стоял перепуганный Петр Захарыч, и Асинкрит Петрович раз за разом звонко бил его по щекам.

— Негодяй! Мерзавец! — кричал на него полковник.— Я тебя научу! Я тебе покажу!

Чувство гадливости обуяло всем существом Григория Иваныча. Он почувствовал, как что-то подкатило ему вдруг прямо к горлу, как сперло в груди дыхание. Ему захотелось вдруг подскочить к Асинкриту Петровичу и тоже начать его хлестать по щекам. Но он сдержал себя и изменившим ему голосом проговорил:

— Стыдитесь, полковник! Грех! Ведь это некрасиво!

— Прошу вас не разговаривать! — крикнул на него полковник.— Замолчать!

Григория Иваныча передернуло.

— Я в своем доме,— сказал он,— и не позволю вам драться и запрещать мне говорить.

— Вы здесь настолько же в своем доме, насколько и моя сестра... Она дала мне доверенность, и я имею право распоряжаться, и прошу вас не забывать, что и она здесь тоже хозяйка!

Какой-то страх вдруг напал на Григория Иваныча. Он не нашелся что ответить, второпях надел шубу и калоши, вышел на улицу и побрел куда глаза глядят. Был уже второй час ночи, стоял мороз, снег хрустел у него под ногами, и на темном небе сверкали частые звезды. На улице было тихо, и эти звезды, казалось, мигали только ему одному, и он все шел и шел, подальше от того дома, где после стольких лет жизни и труда ему впервые сказали, что он не хозяин! Он шел без всякой цели, машинально поворачивая то вправо, то влево, переходя с одной стороны улицы на другую, и незаметно очутился около дома Щеклеевых. В одном из окошек горел огонь. Григорий Иваныч подошел и заглянул в окно. Край занавески был отдернут — Григорий Иваныч увидел Надежду Гавриловну. Она склонилась над машинкой и шила, в такт покачиваясь всем телом. Вот она перестала шить, откусила нитку, что-то

обрезала ножницами, вдела нитку в иголку и стала наметывать. Григорий Иваныч смотрел на нее и чувствовал, как что-то теплое, нежное, точно воспоминание о далеком детстве, наполнило вдруг его душу. Вот с кем он был бы счастлив! Это была единственная женщина, которую он когда-то любил и которая ускользнула от него так же, как ускользнула и молодость, жизнь и как ускользнет теперь из его рук и дом, который он наживал и устраивал. Он смотрел на нее, и ему казалось, что именно здесь, у этого окна, он чувствует себя как дома и что если бы ему позволили остаться здесь до утра или жить нахлебником у нее, ласкать ее детей, заступаться за нее перед мужем, то он не чувствовал бы себя так одиноко, как теперь.

— Милая! Милая! — повторял он, глядя на нее, и не замечал, как слезы текли у него по щекам.

Но вот она поднялась, потянулась, сложила шитье, закрыла машину и, взяв лампу, вышла с нею из комнаты. Григорий Иваныч долго ожидал ее возвращения, но не дождался и побрел домой. На душе у него было ласково, хотелось мечтать, строить планы, тихо плакать. Вот проехало несколько извозчиков с седоками и с багажом: это с трехчасового поезда. Как уже поздно! Он вышел из-за угла и увидал свой дом. Окна в нем были еще освещены, и в них мелькали тени. Калитка была открыта настежь. Он вошел в нее, запер ее за собою и черным ходом поднялся на свою половину.

Горела лампа. На диване, скорчившись, лежала Елена Ивановна в платье и дремала, а из-за перегородки доносилось пение хором.

Григорий Иваныч разделся и лег, но заснуть ему не удавалось, да он и не старался. Он лежал и думал, и ему хотелось вообразить себя женатым на Надежде Гавриловне и имеющим много-много детей.

— Ты уже пришел? — спросила вдруг проснувшаяся Елена Ивановна.

— Пришел, а что? — ответил он.

— Так, ничего... А я все боюсь, заперта ли калитка...

— Каково, сестра? Как тебе нравится наша новая родня?

Елена Ивановна закрыла ладонями лицо и зарыдала.

V

От окружного суда пришло постановление об утверждении Нины Петровны в правах наследования. Получив копию с постановления суда, Асинкрит Петрович тотчас же явился к Григорию Иванычу и попросил его дать ему отчет по торговле.

— Я попросил бы вас, дорогой брат, показать мне торговые книги,— сказал он.— Ниночка утверждена в правах наследования со дня смерти мужа и, таким образом, является собственницей вашей торговли в указной части уже около семи месяцев.

Григория Иваныча взорвало, но он сдержал себя и ответил:

— Я торговых книг не веду.

— Но позвольте,— встрепенулся полковник.— Как же это так? Значит, денежки Ниночки плакали? Пропали?

— Полковник, я никогда не воровал! — крикнул на него Григорий Иваныч.— Нина Петровна уже получила все свое с лихвой, если вы потрудитесь сосчитать, во сколько мне обошлось ее и ваше содержание!

— Ах, простите! — отвечал Асинкрит Петрович.— Я и не знал, что мы вас объедали! Покорнейше вас благодарим за подаяние! Подайте христа ради копеечку еще раз!

— Это скучно, полковник, и... неумно.

— Что-с?!

— Это скучно, говорю, и неумно. Вот что!

— Как ты сказал? Повтори?

Григорий Иваныч почувствовал, как самообладание начинало оставлять его и как вся кровь бросилась ему в лицо.

— Это глупо! Так военные не поступают! — закричал он.— Вы нахал!

Полковник вскочил и со всего размаха ударил Григория Иваныча по лицу.

— Хам! Мещанин! — крикнул он, весь побагровев.— Много любишь разговаривать! Скотина!

Григорий Иваныч схватился за щеку и взглядом презрения окинул полковника.

— Послушайте! — воскликнул он.— Кто вы такие? Откуда вы взялись? Почему вас только двое, имеющих

право распоряжаться в моем доме, требовать от меня отчета, бить мою прислугу и меня, отбирать у меня то, что нажито вот этими самыми руками? Отчего вас не десять, не двадцать, не сто? Я никогда не имел ничего общего с вами, никогда вас даже не видал в глаза, и вы садитесь на меня, как паразиты, как тот рак, который загнал в гроб моего брата Федора. Мой брат вечно хворал, пролечивал на себя больше, чем мог добывать, был бременем для семьи, и вот вы, чужие, посторонние, получаете вдруг право распоряжаться вот этим самым окном, вот этой дверью только потому, что я своевременно не выбросил его за борт и не постарался выделить его вон из семьи, без копейки денег, бросить его на произвол судьбы. Да, я хам, я... я мужик, скотина, но, простите, я не понимаю этих ваших прав над моей личностью, над моей правдой, над моим гнездом. Вам нужны какие-то там тысячи, берите их, но никто не давал вам права оскорблять меня, подозревать меня в мошенничестве и воровстве. Образованные, культурные люди! Да неужели же вы думаете, что так можно прожить свой век, что главное на свете грубая сила и эти деньги, которые потому только и нужны вам в таком количестве, что вы живете в городе, живете для домовладельца и мясника, и за право ходить по тротуару и ездить на извозчиках вы готовы схватить ближнего за горло и придушить его! О, как я вас глубоко ненавижу!

Григорий Иваныч бросился вон из комнаты, хлопнул дверью и скоро-скоро зашагал по улице.

Вошедшая к нему в это время с салатом Елена Ивановна увидела нетронутый суп и тяжко дышавшего полковника и, догадавшись в чем дело, покачала головой и глубоко вздохнула.

— Грех вам, ваше высокоблагородие! — сказала она.— Грех!

А тем временем Григорий Иваныч шел по улице, старался успокоиться и придумать выход из положения. Из гимназии выходили гимназисты в серых пальто и с ранцами за плечами. Руки у них были грязные, пальцы в чернилах, но лица у всех были веселые, розовые, задорные. Они шли целой гурьбой, толкались, хохотали и ели по дороге снег.

— Здравствуйте, Григорий Иваныч,— сказали че-

тыре гимназиста, когда он проходил через толпу, и сняли фуражки.

Григорий Иваныч оглянулся и увидал детей Надежды Гавриловны. Один из них был страшно, поразительно похож на мать. Григорий Иваныч посмотрел на него, и вдруг странное чувство овладело им. Он повернул его к себе за плечи и поцеловал в пухлую, розовую щеку.

— Передай своей матери, что я поцеловал тебя! — сказал он и, вытащив портмоне, дал всем гимназистам по гривеннику и зашагал вперед.

И ему стало легче.

Вечером того же дня он пригласил к себе Нину Петровну, попросил ее взять отступного и выехать из его дома навсегда. Нина Петровна посоветовалась с полковником, сошлись на восьми тысячах, и так как у Григория Иваныча такой суммы в наличных не было, то он предложил ей вексель. Она опять посоветовалась с полковником, и тот научил ее потребовать закладную на дом из двенадцати процентов в год и единовременно семьсот пятьдесят рублей за магазин.

— Он выдаст тебе вексель,— говорил полковник,— а на другой день закроет лавку и дом продаст... А с закладной, в случае чего, так по крайней мере дом останется в твоих руках!

Григорий Иваныч не упирался и выдал Нине Петровне закладную.

На другой день родственники уехали куда-то далеко, и в тот же день слегла и Елена Ивановна. Она долго хворала воспалением легких; Григорий Иваныч неотступно находился при ней, и в течение нескольких недель лавка так и оставалась неотпертой, а в доме воцарились уныние и бесхозяйность.

Забегала Надежда Гавриловна проведать больную. Она кое-как налаживала хозяйство Елены Ивановны и снова убегала к себе домой, где у нее всегда оставалась куча дел. В одно из таких посещений она застала у Григория Иваныча какого-то мужичка, который покупал у него магазин. Мужичок торговался, божился, Григорий Иваныч, по-видимому, был взволнован, а Елена Ивановна, сидевшая уже в кресле, вся в подушках, качала головой и что-то шептала.

— Ну на что тебе магазин? — убеждал мужичка

Григорий Иваныч.— Сидел бы себе в деревне да землю пахал!

— Нельзя, Григорий Иваныч,— отвечал мужичок.— От земли отбились. Больше некуда податься!

В конце концов ударили по рукам, мужичок вынул деньги и стал собственником магазина. Получив деньги, Григорий Иваныч отправился в окружной суд и внес причитавшиеся с него по закладной проценты.

— Отчего же вы не хотите уплатить их лично невестке или послать их ей по почте? — спросил его член суда.

— Она уехала и до сих пор не сообщает мне своего адреса...— отвечал Григорий Иваныч.— Я не знаю, куда ей платить. Очевидно, хочет сделать так, чтобы я невольно просрочил...

Возвратясь домой, он повесил картуз на вешалку и, заложив руки в карманы, долго стоял у окошка и смотрел куда-то вдаль. Пришла Надежда Гавриловна и, увидев его стоящим к ней спиною и не отвечающим ей на поклон, сказала:

— О чем, Григорий Иваныч, пригорюнились?

— Магазин продал...— отвечал Григорий Иваныч, не оборачиваясь.

— Ну и слава богу! — сказала Надежда Гавриловна.— Свет не клином сошелся. И другого заработка достанете.

— В мои-то года?

— Да хоть и в ваши года!

— Ни к чему я, милая Надежда Гавриловна, не способен. Прожил я на свете пятьдесят один год, всю свою жизнь трудился, всю жизнь меня били, а как дошло дело до той точки, когда приходится действительно трудиться по-настоящему и добывать себе кусок хлеба, то и вышло, что я ни на что не способен. Плотничать я не умею, шить сапоги не умею, даже дров наколоть не могу. Городская жизнь создала из меня тунеядца и пенсионера. Пока лавка пенсию давала, я жил, а как только перестала содержать меня на хлебах, так вот и крышка. По правде говоря, я теперь стал хуже всякого Петра Захарыча и хуже всякого водовоза, потому что они способны на физический труд, а я нет. Я белоручка, отличающийся от барина только

тем, что сидел не в канцелярии, а в магазине. Но каковы наши родственники, Надежда Гавриловна! А?

— Да, уж признаюсь! — отвечала Надежда Гавриловна.— И родилась и крестилась, а таких бесцеремонных людей не видала!

— Что ж, они действовали по праву! — продолжал Григорий Иваныч.— На их стороне закон, а следовательно, и сила... Горе вам, сытые, горе вам, горе вам, богатые, горе вам, сильные...

2 октября исполнился год со дня смерти Федора Иваныча. Был тихий, пасмурный день, листья еще не совсем опали, и осинки ярко-красными пятнами выделялись на желтом фоне других деревьев. Было еще тепло, хотя в лужицах за ночь появлялся тонкий, с жилками, ледок, и в воздухе летали паутины. Отслужив заупокойную обедню в приходской церкви, Григорий Иваныч и Елена Ивановна отправились на кладбище. Впереди шел Петр Захарыч, неся завязанное в салфетку блюдо с кутьей и восковые свечи. Когда вышли за город, их догнала Надежда Гавриловна, шедшая тоже на могилку. Сбоку дороги тянулись распаханные под яровое поля, и черные грачи, собравшиеся к отлету, рассудительно ходили по бороздам. Благодаря близости к городу на полях блестели стекляшки. Мельница, с которою когда-то сравнивал себя Григорий Иваныч, по-прежнему без устали махала крыльями, и над кузницами по-прежнему стояло облако дыма.

— Как поживаете? — спросила Надежда Гавриловна.— Что у вас нового?

— Да что у нас нового? — повторил Григорий Иваныч.— Вот нечем невестке проценты платить, того и гляди, дом останется за нею! Просто беда, да и только! Продал магазин, думал надолго денег хватит, а уплатил проценты, да пришлось мне и Елене одеться, то да се,— глядь, а денег как и не бывало!

— Ах уж эти деньги! — вздохнула Надежда Гавриловна.— Как они унижают человека!

— Нет, Надежда Гавриловна, не деньги унижают человека, а алчность, то ненасытное желание иметь их, которое делает человека жестоким, низводит его на степень зверя. Голубушка, уверяю вас, если бы не было этой алчности, то люди не бросали бы своей родины, не покидали бы насиженных гнезд, не лезли бы

в те сословия, к которым не принадлежат по рождению, и не коверкали бы жизни ни себе, ни другим. Крестьянин отрывает ребенка от родной семьи и земли и отдает его в лавочники, где тот приучается мошенничать и воровать, отец отдает свою дочь за нелюбимого человека только потому, что там запахло лишней сотней рублей, какие-то неизвестные пришельцы, во имя права, приходят к чужому для них человеку и разоряют его гнездо. Мы алчем денег, власти, силы над другими и все сваливаем не на самих себя, а на деньги, на борьбу за существование, на разные экономические кризисы и прочее. И в результате получается то, что в этой алчности мы совершенно забываем о себе, о нашей связи с природой, и к старости оказываемся совершенно неприспособленными к физическому труду или рожаем детей нравственно неустойчивых и, стараясь властвовать и мудрить над ними, готовим из них таких же запойных пьяниц, как я. Горе, горе, дорогая Надежда Гавриловна!

— Горе, Григорий Иваныч! — ответила Надежда Гавриловна.— И куда только деваться от этого горя?

Они отошли вперед, а Елена Ивановна и Петр Захарыч далеко отстали позади.

— Вы только подумайте, Надежда Гавриловна, сколько алчность испортила жизни другим!..— продолжал Григорий Иваныч.— Вот вас выдали замуж за человека, который вам вовсе не нравился, за которого, я помню, вы шли, обливаясь слезами, и с которым и посейчас ваша жизнь не сладка... Не отрицайте этого! Я ведь знаю все и измучился, глядя на вас и на ваших детей. А все из-за чего? Только из-за того, что ваш теперешний муж когда-то имел на сто рублей больше, чем... чем, например, я, который вас всю жизнь любил и, может быть, люблю еще и до сей самой поры.

Он испугался своих последних слов, опустил глаза и покраснел. Она вздрогнула, радостно посмотрела на него и ждала, чтобы он продолжал. Точно запахом сирени вдруг пахнуло ей в лицо или точно она услышала весной где-то там, наверху, высоко под облаками, первый крик возвращающихся на север журавлей. И вдруг ей захотелось снова жить, видеть себя такою же, какою она была восемнадцать лет тому назад, не жалеть больше о потерянной, невозвратимой жизни...

— И вот мы оба с вами в сиротстве...— продолжал он.— Я остался вовсе без жены, а вы выданы за человека, которого считаете чужим и жестоким...

Надежда Гавриловна вытащила платок, быстро отерла глаза и как ни в чем не бывало продолжала идти рядом с ним.

Пришли на кладбище, шурша на ходу опавшими листьями, отыскали могилку Федора Иваныча и послали за священником. Развернули кутью и воткнули в нее восковую свечу. Явился батюшка, запахло ладаном, и началась панихида. Елена Ивановна плакала, а Григорий Иваныч и Петр Захарыч стояли насупившись. К концу панихиды пришел водовоз Семен Васильич. Его всегда видали в шапке, а здесь он снял ее, и его лысина засветилась, точно покрытая лаком. Появились откуда-то две-три нищенки, которые тоже плакали. Затем батюшка окончил панихиду, завернул крест и евангелие в епитрахиль и ушел домой, а все остальные опустились на соседние могилки и долго молчали. Всем было не то чтобы грустно, а какое-то тихое, лирическое настроение овладело ими, и было чего-то жаль, и в то же время хотелось любить, прощать, делиться...

— Где-то теперь Нина Петровна? — нарушил тишину Петр Захарыч.— Осиротел наш Федор Иваныч!

— Да...— протянул Григорий Иваныч.— Где-то она теперь?

А затем он встал, смахнул с себя приставшие листья и сказал:

— Ну что же? Пора и по домам!

Все поднялись вслед за ним и стали собираться. Помолились на иконку, вделанную в крест, и снова зашуршали по листьям.

— Прощай, сирота! — сказал Григорий Иваныч, еще раз оглядываясь на могилку, и перекрестился.

— Все мы сироты, батюшка Григорий Иваныч! — заговорил вдруг Семен Васильич.— Вот я безземельный крестьянин и сорок третий год уже пошел, как воду вожу; Петр Захарыч — мещанин и топчется на черной работе по чужим дворам, а ты и Елена Ивановна тоже мещане, словно и богатые, а все мечетесь... Несчастные мы люди, и больше ничего! И это не оттого, скажем, что наша работа хуже крестьянской, а

потому, что бросили мы нашу матушку-землю. Ах, брат ты мой, брат, Григорий Иваныч! Не мы землю родили, а она нас, и грех, большой был грех покидать ее. И вот теперь мы сироты без нее, сидим, плачем, а она, матушка, тоже сирота, к богу вопиет и тоже плачет... Так-то-ся!

И все вышли из кладбищенских ворот.

СУДЬБА

— Территѐ! — крикнул кондуктор.— Шильонский замок! Фуникулер на Глион!

Касьянов вышел из вагона и с кучкой других туристов направился к замку.

Старый, весь в морщинах, приземистый, он вырастал прямо из воды и соединялся с берегом узеньким дощатым помостом. Здесь, в этом замке, томился несчастный Бонивар, и сейчас Касьянов увидит его тюрьму. Чем-то торжественным повеяло на Касьянова от замка и от этого помоста, по которому ходили несколько сот лет тому назад.

— Очень прошу вас обождать,— обратился к туристам привратник.— Сейчас окончит осмотр первая группа посетителей и освободится проводник.

Туристы сели на лавочку и стали поджидать. В это время к крыльцу замка подъехал экипаж и из него, в дорожных туалетах, вышли две пожилые дамы и две молодые девушки. Все они говорили по-английски и, по-видимому, были приезжими англичанками. Когда они проходили мимо Касьянова, в лицо ему пахнуло какими-то хорошими новыми духами. Он любил интересных женщин и хорошие духи, и ему приятно было смотреть на этих англичанок. У одной из них были седые волосы и черные брови, а у другой висел на груди массивный золотой крест с большим бриллиантом посредине. Старшая из девушек была бледна и серьезна, зато младшая смотрела на все радостными

глазами и была так изящна и проста, что хотелось на нее глядеть и заговорить с нею.

Продолжая разговаривать по-английски, дамы стали разглядывать открытки и безделушки, выставленные тут же для продажи, а Касьянов отошел в сторону и с интересом, исподтишка, стал смотреть на молоденькую англичанку.

Отворились ворота, и из них высыпала группа туристов, уже осмотревших замок.

— Пожалуйте! — обратился привратник к ожидавшим.

Всей гурьбой вошли в ворота и очутились во дворе. Проводница шла впереди и рассказывала по-французски и по-английски историю замка. Касьянов старался быть поближе к дамам и все никак не мог оторвать глаз от заинтересовавшей его девушки.

По узкой лестнице сошли в подземелье, где томился Бонивар. Здесь поднимались известные уже по Жуковскому семь колонн, к одной из которых был прикован несчастный узник. Вот и эта самая колонна с уцелевшим кольцом, а вот и та лунка на земляном полу, которую он протоптал.

— Подпись Байрона! — указала проводница на одну из колонн.

Все англичане столпились у колонны, чтобы лучше разглядеть.

— А не можете ли вы указать мне подпись русского писателя Жуковского? — обратился к проводнице Касьянов по-французски.

Проводница подняла глаза кверху.

— Жукофски? — переспросила она и, подумав еще немного, ответила: — Такой здесь нет.

— Но она рядом с подписью Байрона!

— Не знаю, мсье... — ответила проводница и повела туристов дальше.

И Касьянов видел, что барышня, которая ему так понравилась, заинтересовалась их разговором и тоже ждала от проводницы ответа.

Проходили затем по какому-то узенькому, темному коридору, в котором нужно было спускаться по обвалившимся ступеням и в темноте можно было оступиться. Дамы замешкались и отстали. Касьянов подошел к ним и, подав каждой из них руку, свел их со

ступеней. И оттого, что они держались за его руку, она стала тоже пахнуть духами. Потом вышли в большие залы с остатками средневековой мебели, прошли опять через двор и тем закончили осмотр замка. Садясь в экипаж, старшая барышня щелкнула своим фотографическим аппаратом, и все они укатили. Туристы стали расходиться в разные стороны, и Касьянов остался один.

Он спустился к самой воде озера и сел на камень. У его ног плескались волны, на него издалека смотрели Альпы, и на душе было тепло и хорошо. Так он просидел больше часа, ни о чем не думая и ничего не желая, и затем побрел пешком в Монтрё. И когда он сидел потом в Монтрё и ожидал парохода на Лозанну, мимо него вдруг прошли седая дама с черными бровями и та девушка, которая так его заинтересовала в Шильоне. Обе они были уже в других костюмах и куда-то спешили.

Касьянов в первую минуту не знал, как поступить, а затем отправился за ними. Они разговаривали по-английски и, не замечая, что он следует за ними, продолжали идти по набережной. Дойдя до большого магазина, они вошли в него. Он походил около этого магазина, но ему стало неловко, и он перешел к другому. Когда же он вернулся обратно, их уже не было.

Пришел пароход, он сел на него и к вечеру был уже в Лозанне.

Затем он продолжал свое путешествие и через два месяца уехал в Россию.

Перед ним снова потянулись чахлые леса, нескончаемые равнины и полуразвалившиеся деревни. После заграницы в России показалось ему еще серее, чем было прежде, и так вдруг захотелось, чтобы в эти убогие избы с их маленькими окнами проникло побольше света и чтобы эта просторная земля производила то, что ей завещано от бога! И вся эта великая страна представилась ему рабом, зарывшим в землю свой талант и не могущим откопать его и, как шильонский Бонивар, угрюмо, в полутьме ходящим на цепи все вокруг одного и того же безмолвного столба.

II

Усадьба Касьянова находилась в глуши, далеко от станции железной дороги, и на двадцать верст вокруг не было ни одного соседа, так как все они жили кто в Петербурге, кто в Москве. Возвратившись из-за границы, Касьянов попал прямо к самому разгару полевых работ, и в первое время ему некогда было скучать, он даже не замечал своего одиночества. Когда же в августе пошли дожди и стало рано вечереть, то часы начали казаться ему годами, и его снова потянуло к людям, в город или опять за границу.

«Неужели же я не выживу здесь?» — спрашивал он себя с беспокойством, и самая мысль о поступлении в суд или на другую службу казалась ему страшной.

Он старался бодриться, забирал себя в руки, и все-таки, несмотря на массу дела, ранние вечера наводили на него тоску, и едва он возвращался к себе домой, как целыми часами прохаживал по комнатам и не знал, куда деваться от скуки.

30 августа, в день своих именин, он взял ружье и без собаки отправился побродить по лесу. Было тепло, пасмурно и тихо, как бывает только в августовские дни, пожелтевшие деревья стояли неподвижно, и все в природе было полно того чувства кроткого прощания с жизнью, с которым умирают начинающие уже мыслить дети. Касьянов долго ходил по кустарникам вдоль большой дороги, прошел ковригинский лес и, выйдя на бугор, по которому росли свеженькие молодые сосны, лег на спину, подложил под голову руки и стал смотреть на небо. Далеко летели журавли, жалобно кричали, и от их крика что-то шевельнулось у него в груди, точно он навеки прощался с дорогими людьми. Затем он заснул.

Проснулся он в большом испуге. Перед ним стояла громадная сенбернарская собака и смотрела на него подозрительными большими глазами. Он вскочил и схватился за ружье, а собака громко залаяла на него.

— Лорд! Лорд! — послышался чей-то женский голос.— Иси!

И вслед за тем из леса вышла молоденькая барышня в английской соломенной шляпке и в непромокаемом пальто.

Это было так неожиданно для Касьянова, что он снял фуражку и поклонился.

Перед ним стояла та самая девушка, которую он встретил весною в Шильонском замке.

— Не бойтесь,— сказала девушка.— Он вас не укусит!

Потом из леса вышла дама, уже пожилая, с черными бровями и седыми волосами. Она что-то сказала девушке по-английски, и обе они с собакой ушли обратно в лес и вскоре потерялись в его глубине.

Встреча эта произвела на Касьянова глубокое впечатление. Он долго стоял в недоумении и смотрел вслед этим дамам. Кто они? Откуда? Как они сюда попали?

«Точно в романе!» — подумал он и зашагал к себе домой.

Всю дорогу и дома он только и думал, что об этой встрече, и ему было досадно, что он не воспользовался таким удобным случаем, чтобы с ними заговорить. А когда настал вечер, он приказал оседлать себе лошадь и поехал к ковригинской усадьбе. Все небо было по-прежнему серо, и только сквозь узкий просвет глядело красное солнце. Затем солнце село, и весь небосклон окрасился в алый цвет, точно там, за лесом, был пожар. Пролетели стаями галки, пожар погас, и наступил грустный осенний вечер. Кругом было тихо, и только где-то далеко мычало стадо. Это гнали домой ковригинский скот.

Когда Касьянов подъехал к усадьбе, он с удивлением увидел, что в окнах большого дома горел огонь. Он слез с коня, взял его за повод и пешком, тихонько, чтобы его не заметили, как можно ближе подошел к усадьбе и стал наблюдать. Странное чувство наполнило его душу, и ему стало казаться, что это не жизнь, а как будто во сне или в театре. И точно в подтверждение этого, из открытой на террасу двери послышались вдруг звуки фортепиано. Вот уже около полугода, как Касьянов не слышал ни одного инструмента, кроме гармони, и эти звуки произвели в его душе целый переполох. Он долго стоял у живой изгороди из боярышника и сирени и, глядя сквозь поредевшую листву, на эти освещенные окна, старался найти ответ на вопрос, который самому ему представлялся неясным.

Совсем уже стемнело, и откуда-то, точно из погреба, потянуло вдруг сыростью. Пора уже было возвращаться домой, но Касьянов все никак не мог заставить себя сесть на лошадь и все еще продолжал смотреть сквозь кусты.

— Лена! — крикнул вдруг чей-то женский голос, и в освещенной двери показалась чья-то фигура.— Сыро, иди домой!

— Лорд! Лорд! — послышался ему в ответ звонкий голос, и вслед за тем на террасу вбежала из сада девушка с собакой и скрылась в двери.

Касьянов видел затем, как затворилась эта дверь, и так было кругом тихо, что он слышал даже, как щелкнул в ней замок. Потом огонь в середине дома погас, и засветилось два левых крайних окна.

Касьянов взял лошадь под уздцы и тихонько побрел домой. Его наполняло счастье жизни, и этого, по-видимому, пустого случая с него было достаточно, чтобы он захотел еще больше жить, смеяться, если нужно — страдать. И когда он вернулся домой и вошел к себе в кабинет, ему стало казаться в нем тесно и низко, и захотелось вдруг, как библейскому Самсону, раздвинуть стены этого дома и сделать его прекрасным и большим, полным смысла жизни и интереса для других. И, присев к письменному столу, он положил подбородок на ладони и долго смотрел на темное окно. Точно в зеркале, перед его глазами пронеслась вдруг картина встречи его с дамами в Шильоне. Он закрыл глаза и стал придумывать тему для возможного романа...

Позади его кто-то кашлянул в кулак и робко затоптался на месте. Не оборачивая головы и не желая расстаться с мыслями, Касьянов спросил:

— Что тебе, Иван?

Иван снова откашлялся в кулак.

— Александр Иванович,— ответил он,— что прикажете завтра делать?

Касьянов вскочил, стряхнул с себя мечты и стал обсуждать с ним завтрашний день.

Наутро началась большая молотьба, и целых четыре дня Касьянов был так занят, что некогда было поесть. А когда наступило воскресенье, он обрадовался

ему, как школьник, и, кликнув собаку и схватив ружье, отправился в лес.

Был уже вечер, когда он возвращался домой. Проходя мимо ковригинской усадьбы, он снова остановился около изгороди из боярышника и сирени и с трепетным чувством стал глядеть сквозь еще более поредевшую листву. Но никто уже не выходил из дверей на террасу и ничей голос не раздавался в саду. Вся усадьба по-прежнему казалась покинутой и запустелой.

Раздался звон бубенцов, и две коровы вышли из кустов. За ними шла старушка с хворостиной и гнала их домой.

— Ну, ну! — ворчала она.— Нечего шляться!.. Идите домой!

Касьянов придержал собаку, чтобы она не бросилась на коров, и когда поравнялась с ним старуха, он подошел к ней и спросил:

— А что, бабушка, господа уже уехали?

— Уехали! — ответила старуха и погнала коров дальше.

Ему хотелось расспросить ее, поговорить с ней, но старуха была уже далеко, а догонять ее было неловко, да и не было охоты, и Касьянов пошел к себе домой.

III

...Сегодня приехал к нам Веребьин и сделал предложение Долли. Мама приняла его несколько холодно, а затем, когда он уехал, я слышала, как мама и бабушка говорили, что Долли может выйти только за камер-юнкера.

Я спросила Долли, какого она мнения о Веребьине, и она ответила мне:

— Не Веребьин, так другой... Разве мы с тобой имеем право выбирать?

Значит, если Веребьину удастся получить камер-юнкера, то Долли может выйти за него замуж.

Я не хотела бы такого супружества, и мне досадно на Долли, что она так равнодушно относится к тому, кто будет ее мужем. Она всегда такая серьезная, такая неоткровенная, и мне неловко было продолжать с ней на эту тему разговор.

Сегодня мама очень хохотала. Она получила письмо от нашего захарьинского священника. Он только недавно посвящен и только в ноябре назначен к нам в Захарьино. В письме своем он описывал нужды своих прихожан и делал нам выговор за то, что мы живем в Петербурге и уже четыре года не были в усадьбе. «Разве это честно? — писал он.— Если не желаете сами сеять и пахать, то продайте имение тем, кто будет это делать лично, но не поощряйте безделия и воровства. Ведь земля сирота без вас, она плачет горькими слезами и вопиет ко господу» и т. д.

Мне думается, что священник прав. Мой дедушка, папин папа, всю жизнь свою провел в Захарьине и только один раз был в Петербурге, и то всего только на две недели. Мне кажется, что я в него. Я с такою радостью вспоминаю, как мы жили в нашем имении, как я гуляла по лесам, удила рыбу, ходила на скотный двор. И с каким бы наслаждением я поехала туда сейчас! Вероятно, там теперь морозно, светит солнце и снег белый-белый. А у нас здесь слякоть, дождь и серое небо.

...Долли вообще бледна, но сегодня, когда бабушка рассказывала за обедом, как за нею ухаживали канцлер Горчаков и дипломат Ону, она побледнела еще больше и резко сказала:

— Как тебе не надоест, бабушка, всю жизнь рассказывать все об одном и том же?

И прежде чем бабушка успела ответить, Долли лишилась чувств и откинулась на спинку стула. Ее на руках отнесли в ее комнату, уложили в постель и по телефону вызвали доктора. Доктор долго говорил с мамой и бабушкой и посоветовал повезти Долли за границу. Долли согласилась.

На ее месте я попросилась бы в Захарьино. Там так привольно, такой чудный воздух, столько интереса во всем.

...Вчера бабушка и Долли уехали за границу. Мы с мамой ездили провожать их на Варшавский вокзал. Когда мы сидели все вместе в купе, неожиданно вошел Веребьин и горячо поцеловал бабушке руку. Лицо его было печально, и казалось, он молча просил бабушку беречь Долли. Мне жаль его. Он любит Долли, но она ему, вероятно, не отвечает. Когда раздался второй

звонок и мы простились и вышли из вагона, он подошел к стеклу и ласково закивал бабушке головой.

Усаживая нас в карету, он сказал маме:

— Я уезжаю послезавтра к себе в деревню. Не будет ли каких поручений в Захарьино?

Я бы так желала, чтобы мама ответила ему: «Возьмите с собой Лену». Но мама подумала немного и сказала:

— Нет... Какие ж поручения? Мерси... Впрочем, поругайте моего управляющего, что он мало присылает аренды!

...Сегодня мы ездили на острова. Светило солнце. Нева уже побурела, но снегу еще масса. Кричали птицы, и, когда я услышала вдруг крик грачей на голых березах, мне вспомнилось почему-то детство и захотелось в Захарьино. Мама не любит его. В нем она схоронила папу и моего брата Игоря, и ей кажется, что там ходят их тени.

Когда мы возвратились домой, Василий подал нам телеграмму из Сан-Ремо. Телеграфировала Долли о том, что бабушка очень больна и просит нас приехать. Мама встревожилась, дала срочную телеграмму управляющему в Захарьино и только ночью получила от него ответ. Ответ был благоприятный, и мама телеграфировала Долли в Сан-Ремо, что на этой неделе мы выезжаем: мама, я и мисс Летти.

И опять, значит, пойдут эти вагоны, станции, гостиницы, эти чужие люди и переезды с места на место. А затем, конечно, после Ниццы — в Париж и в Остенде. Как мне все это знакомо и как бы хотелось чего-нибудь нового, как бы хотелось быть папиным папой, чтобы засесть на всю жизнь в деревне и только на две недели выехать в Петербург!

...Двое суток мы провели в Вене, где мама заказывала для себя и для меня туалеты, и все двое суток я просидела в номере в «Бристоле» и никуда не выходила, потому что шел дождь и то и дело приходилось принимать портных и портних и примерять то, что они приносили. Знаменитого Земмеринга мы не видели; благодаря ненастной погоде он весь был в облаках и в тумане. Но когда выехали в Ломбардию и затем на Ривьеру, то светило яркое солнце. Средиземное море было спокойно как зеркало.

Бабушка и Долли снимали три комнаты в пансионе, нам троим негде было там поместиться, и поневоле пришлось остановиться в отеле. Я не люблю Сан-Ремо, все его пансионы и отели мне кажутся зараженными чахоткой.

У бабушки был ее обычный бронхит, и теперь ее мучило растяжение легких, а Долли поправилась совсем, и даже щеки ее слегка покрылись румянцем. Она нам очень обрадовалась и попросилась даже к нам ночевать.

...Всю ночь мы не спали от жары и от москитов, которые так сильно нас кусали, что на теле вскакивали большие опухоли. Мама ворчала, а я даже плакала. Одна мисс Летти сохраняла присутствие духа и всю ночь жгла какой-то порошок, от которого шел неприятный запах. И когда мы наутро вышли к кофе, мама решительно сказала бабушке, что больше жить здесь не желает и что на этой же неделе переедет вместе с нами на все лето в Швейцарию. Бабушка возражала, по обыкновению, говорила, что ей необходимы море и тепло, но мама настояла на своем, и, значит, мы не поедем теперь ни в Париж, ни в Остенде. Я очень этому рада. Я люблю Женевское озеро, Альпы, и там гораздо проще, чем здесь.

...Вчера приехали в Монтрё Браминские, с которыми мы встречались в Петербурге, и мы условились, что вместе поедем осматривать Шильонский замок. Мы заказали с вечера экипаж, но утром они прислали сказать, что не поедут, и мы отправились в Территѐ одни.

Как раз до самого Территѐ ходит электрический трамвай; он проложен сбоку шоссе, по которому ездят экипажи, но мама против трамвая, и когда мы подъехали к замку, на нас было не мало пыли.

Нам пришлось подождать, пока выйдет из замка первая группа туристов и настанет наша очередь, и, пока мы рассматривали открытки и разные безделушки, выставленные в лавочке на крыльце замка, я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Я обернулась и увидала господина лет двадцати семи, очень прилично одетого, с мягкими чертами лица. Он смотрел на меня так, точно старался во мне узнать кого-то, и мне самой стало казаться, что и я его где-то уже встречала. Он произвел на меня большое впечатление, и, чтобы не показать ему

этого, я старалась не оборачиваться и не смотреть на него. По всей вероятности, это был француз. Все время, пока мы осматривали замок, он старался быть около нас, и когда проводница показывала на колонне в подземелье подпись Байрона, он осведомился у нее и о подписи нашего поэта Жуковского, и мне было забавно, что он, иностранец, смутил проводницу, которая не знала того, что знал он, француз.

В одном из узеньких, темных коридоров мама и мисс Летти не могли сойти со ступенек, и он был так любезен, что всех нас свел вниз. И здесь я вновь почувствовала к нему attende cordiale и все время боялась поднять глаза, потому что видела, что он продолжает на меня смотреть. Долли заметила это и тихо по-английски спросила меня:

— Как тебе нравится этот иностранец?

Я ничего ей не ответила, но покраснела.

Когда же мы вышли из замка и стали садиться в экипаж, Долли щелкнула своим кодаком и сказала по-английски:

— All right!

Мы вернулись затем в Монтрё, переоделись, пообедали, а потом, пока мама отдыхала, я и мисс Летти отправились в магазин. Когда мы проходили по набережной, я вновь увидала этого иностранца. Он все так же обожающими глазами смотрел на меня и даже пошел за нами на некотором расстоянии. Сердце у меня забилось, и, когда мы вошли в магазин, я едва могла отвечать на вопросы мисс Летти. Обернувшись, я увидела, что он поджидал нас и смотрел на нас через стекло. Затем он перешел на другую сторону и стал глядеть в окно другого магазина. Я воспользовалась этим и потащила мисс Летти домой.

Он произвел на меня такое впечатление, что я целый вечер все никак не могу о нем не думать. Плутовка Долли подбавила еще более масла в огонь. Когда мы вышли вечером в сад, она сунула мне что-то в руку. Я подошла к фонарю и посмотрела. Это была фотографическая карточка. На ней был снят он. Он стоял у крыльца замка и смотрел на меня восторженными глазами. Я бросилась к Долли, обняла ее и горячо поцеловала.

IV

...Веребьин прислал бабушке письмо. Он пишет, что его выбрали в предводители дворянства и что ему теперь так много работы в уезде и столько у него там интереса по службе, что Петербург перестал его занимать. В своем письме он снова повторяет свое предложение Долли, и мама ему ответила, что уже скоро, так как он теперь предводитель дворянства и легче за него просить. Как только мы возвратимся в Петербург, так бабушка и попросит князя Сергея Ивановича похлопотать насчет камер-юнкерского мундира для Веребьина.

Я передала об этом Долли и ожидала услышать от нее, что она довольна. Но она сделала гримасу и сказала:

— Я предпочла бы выйти за того француза, который так загляделся на тебя в Шильоне!

Я засмеялась, но что-то вроде ревности шевельнулось у меня в душе.

— А я на твоем месте,— сказала я,— давно бы вышла за Веребьина и не посмотрела бы ни на что!

Долли поглядела на меня, а потом взяла меня за плечи и сказала:

— Очень рада, что не могу с тобой поменяться, Лена... А чтобы ты лучше поняла меня, взгляни на карточку иностранца, если она у тебя еще цела, и сравни его с Веребьиным.

Сердце мое наполнилось гордостью, я бросилась к Долли и поцеловала ее.

— Но, увы,— продолжала она,— этого иностранца здесь нет. Сон и мечта не повторяются, Лена. Тебе понравился этот француз, но тебя выдадут замуж за другого, как выдадут и меня, не справляясь с тем, в чем состоит наша мечта. Да иначе и быть не может, потому что действительность и мечта — это... это мой Веребьин и твой француз!

Мне было больно ее слушать.

— Как же ты выйдешь замуж,— спросила я ее,— если не любишь?

— А разве Веребьин меня любит? — ответила она.— Мой друг, во мне ему нужны не я сама, а мои две тысячи десятин земли и возможная через меня карьера. И если

бы было возможно, он охотнее женился бы на нашей бабушке, чем на мне.

Она как-то странно засмеялась.

— Для того чтобы выйти замуж по любви,— продолжала она,— нужно иметь счастье быть не того круга, к которому мы принадлежим, или же иметь храбрость, если понадобится, порвать с ним навсегда.

— Где ты это прочитала? — спросила я ее.

— Вот где! — ответила она и показала себе на грудь.

И я не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не вошла мисс Летти и не помешала нам.

Ложась спать, я достала карточку иностранца и долго смотрела на него.

«Нужно иметь счастье быть не того круга, к которому мы принадлежим, или же иметь храбрость, если понадобится, порвать с ним навсегда»,— звучала у меня в ушах фраза сестры.

Я глядела на моего иностранца, и если бы он мог понимать, он прочел бы в моих глазах следующее:

«Если бы случай свел нас опять, я имела бы храбрость порвать навсегда».

...Долли никуда не ходит, все читает, и, по-видимому, все ей надоело.

— Что с тобой? — спросила я ее.

Она подняла на меня свои задумчивые глаза и отвечала:

— Ты думаешь, можно прожить без физического труда?

Что это с ней? Зачем она так много читает?

Василий переслал маме письмо, полученное на ее имя в Петербурге. Мама прочла его и засмеялась.

— От кого это? — спросила я ее.

— От захарьинского священника,— отвечала она.— Прочти, если хочешь.

Я взяла письмо и прочитала: «Имею честь сообщить вашему превосходительству,— писал он,— что в соседнем имении Брянцеве поселился молодой помещик Касьянов. Он холост, получил образование в университете и, имея все данные служить в Петербурге, предпочел посвятить себя благородному труду земледельца. Сколько знаю, он не пьет, не курит, и с восходом солнца его уже можно увидеть за работой в поле. Для вас, как матери, имеющей еще не просватанных доче-

рей, полагаю, небезынтересно иметь сего Касьянова в виду».

Я тоже посмеялась над этим письмом, но и на этот раз оно понравилось мне своею простотой.

...Сегодня пришла ко мне Долли и сказала:

— Ты писательница, Лена. Напиши-ка роман на следующую тему: он сделал ей предложение и, заручившись согласием ее матери и нисколько не справляясь с мнением ее самой, стал строить на ее земле усадьбу, чтобы, повенчавшись, запереть ее в этой тюрьме. Как ты находишь эту тему?

Я вопросительно посмотрела на нее.

— Ты хочешь знать, что это такое? — продолжала она.— Князь Сергей Иваныч обещал бабушке свое содействие, и Веребьин строит теперь на моей земле усадьбу. Как тебе это покажется? Мама в восторге от его затеи и рада, что я буду жить около самого уездного городишка, а не в глуши, в его усадьбе, где у него мать и миллион сестер!

Но позволь,— продолжала она.— Если он любит меня, то должен же он наконец сделать предложение мне лично, а не бабушке и маме? Или он вовсе не считает меня за человека, и, по их мнению, я вещь, которую можно перевозить из усадьбы в усадьбу, из гостиной в гостиную?

Мне было жаль ее, но я не нашлась, что ответить.

...Веребьин писал маме, что усадьба вчерне уже готова вся и даже земля Долли на выгодных условиях сдана в аренду. Мама была очень довольна, а бабушка даже сказала:

— Вот не ожидала, что он проявит такую энергию!

На что мама ей ответила:

— Любовь творит чудеса.

Затем они долго говорили о том, куда ехать на осень. Бабушка по-прежнему рекомендовала всем ехать на Ривьеру, но мама считала это невозможным, так как, ввиду предстоящей свадьбы Долли, необходимо сентябрь провести в Захарьине и обставить усадьбу, которую выстроил для Долли Веребьин. Надо полагать, что князь Сергей Иванович сдержит свое слово, во всяком случае, до осени. Поэтому мама предпочитает возвратиться в Россию и прямо в Захарьино.

Я очень рада, что так решили. Теперь я побываю у нас в деревне!

...Князь Сергей Иванович прислал бабушке письмо. Он пишет, что ее желание для него по-прежнему священно, но что времена теперь уже не те и что протекцию начинают уже вытеснять заслуги. Он очень рад, что местные дворяне почтили Веребьина, выбрав его в уездные предводители. Но если бы Веребьин постарался заслужить еще общественное доверие и других сословий, то есть быть избранным еще и в председатели земской управы, то князь Сергей Иванович отправился бы хлопотать за него не с пустыми руками.

Бабушка тотчас же перетелеграфировала Веребьину содержание этого письма.

...Какое счастье! Я опять в Захарьине, в котором родилась и жила безвыездно до двенадцати лет! В нем ничто не переменилось. Те же большие комнаты, тот же папин кабинет, та же наша детская с голубыми обоями. Все, как было восемь лет назад, так осталось и теперь. Изменились только розы. За ними не было ухода, и они одичали. Люди, конечно, уже не те, что были тогда, няня умерла, и только одна Авдотья, скотница, по-прежнему ходит за коровами. Мама чем-то недовольна, все ходит, хмурится и ничего не говорит. По-видимому, ее беспокоит, что управляющий срубил ее любимый лес.

Много рыжиков, и я и мисс Летти ходим по лесам и собираем их. Мой Лорд обрадовался воле и бегает, как маленькая собачка.

...Боже мой, что со мною? Я вся дрожу и, как пушкинская Татьяна, не знаю, что мне делать. Что это, чудо, совпадение или что-нибудь еще? Я ищу ответов на эти вопросы и не нахожу их. Долли смеется надо мной и шутя говорит, что все расскажет маме...

Сегодня в полдень я и мисс Летти отправились в лес за грибами. С нами, по обыкновению, пошел и Лорд.

Когда мы вышли на опушку леса в том месте, где через него проходит большая дорога, Лорд сделал стойку и заворчал. Думая, что это какой-нибудь зверек, и боясь, чтобы Лорд не разорвал его, я окликнула его и побежала к нему.

При моем появлении с земли поднялся молодой человек и снял шляпу.

Я взглянула на него, что-то ему сказала, и сердце во мне похолодело.

Это был он! Это был тот иностранец, который смотрел на меня тогда в Шильонском замке. Я сразу узнала его, и он узнал меня тоже, потому что вдруг лицо его просияло, и он, как и тогда, стал глядеть на меня такими же восторженными глазами. И если бы ни мисс Летти, которая окликнула меня и позвала домой, я не знала бы, как поступить и что делать.

Кто он? Зачем он здесь? И как он сюда попал?

Я возвратилась домой и была так бледна, что Долли заметила это и спросила меня о причине. Я рассказала ей все, она стала смеяться надо мной и дразнить меня. Но я уверена, что это заинтересовало ее, потому что после обеда она попросила меня рассказать ей вновь о моей встрече с иностранцем.

Мы сидели с ней, затворившись в детской, а в это время мама ходила взад и вперед по гостиной. И когда мы вышли опять в гостиную, мама все еще ходила и повторяла:

— Осмелиться срубить такой старый лес за такую ничтожную сумму! Шесть тысяч десятин земли — и не уметь извлечь из них дохода! Негодяй!

На этой неделе мы переезжаем в новую, Доллину усадьбу.

V

15 сентября Касьянов поехал в уездный город на земское собрание. Это было первое собрание в его жизни, и он ехал и не знал, к кому обратиться, что делать и вообще как себя вести. Дело усложнялось еще и тем, что все номера на постоялом дворе были уже заняты и ему приходилось искать себе помещение где-нибудь в частном доме, а он во всем городе не знал никого.

Заехав в казначейство, чтобы внести налоги, он застал исправника, который был там по делу. Увидав Касьянова, он схватил его руку обеими руками и долго тряс ее.

— Очень рад познакомиться с вами! — заговорил он.— Здешний исправник Кильдяшов. Изволили на земское собрание приехать?

— Да, на земское собрание,— ответил Касьянов,— только вот не знаю, где остановиться.

Исправник в удивлении всплеснул руками.

— А у Ожгихиной! — воскликнул он.— У Прасковьи Ивановны! Каждая собака ее знает! Спросите только Прасковью Ивановну, и всякий укажет!

Касьянов поблагодарил его и стал прощаться.

— Очень рад познакомиться с вами,— снова заговорил исправник.— Покорнейше прошу вас пожаловать сегодня вечерком ко мне. У меня кое-кто будет... Водочки выпьем, закусим... Буду весьма благодарен.

Касьянов пообещал ему, и они простились.

У Ожгихиной, действительно, нашлась свободная комната, и он занял ее. Но не успел он еще расположиться и привести себя в порядок, как к нему уже постучался кто-то в дверь и вслед за тем вошел небольшого роста, с лысинкой, господин, очень прилично одетый.

— Позвольте познакомиться,— обратился он к Касьянову.— Здешний предводитель дворянства Веребьин! Давно слыхал о вас. Мы ведь с вами однокашники... Я тоже из Петербургского университета!

Касьянов не ожидал такой чести и стал его благодарить.

— Здесь, в этой глуши,— продолжал предводитель,— мы рады каждому свежему человеку. Вся наша интеллигенция плотно засела в столицах, и у нас здесь положительно все наперечет. Давайте знакомиться! Очень рад.

Они долго пожимали друг другу руки, затем разговорились об университете, о профессорах, и хотя были разных факультетов, однако у них нашлось кое-что общее для разговора.

— Пообедаемте вместе! — сказал вдруг Веребьин.— Я тоже стою здесь, у Прасковьи Ивановны, и собираюсь сейчас обедать. Оно немножко раненько, ну да ведь провинция!

Касьянов ничего не имел против, и они перешли в номер предводителя и сели за стол. Во время обеда к ним подсел земский начальник Гриньковский. Они разговорились, сошлись, выпили несколько более, чем обыкновенно, и закончили бутылкой шампанского. Все время затем Гриньковский и предводитель говорили о предстоящих выборах да о какой-то Анне Васильевне и ее дочерях.

— Я обязательно познакомлю вас с ними,— обратился к Касьянову Веребьин.— Ее старшая дочь — это такая цыпочка...— И он сложил пальцы в щепотку и поцеловал их.

— А по-моему,— сказал Гриньковский,— младшая лучше. В ней есть что-то такое-этакое притягательное.

Поговорили еще о дочерях Анны Васильевны и о выборах, выпили еще по бокалу и разошлись. Предводитель тотчас же куда-то уехал, Гриньковский завалился спать, и Касьянов остался один. Спать ему не хотелось, до вечера оставалось еще много времени, и сидеть в комнате одному, без дела, было скучно. Он оделся и вышел на улицу. Гулял он долго, так что заболели даже ноги, и все-таки до вечера оставалось еще далеко.

«Напрасно я так рано приехал,— подумал он.— Было бы выехать сюда прямо на ночь».

В это время послышались бубенчики, и из-за угла, ему навстречу, выехала тройка и проскакала мимо него. В экипаже сидела под синей вуалью дама и с ней рядом красивая, бледная девушка. Против них, на маленькой скамеечке, поджав ножки, сидел предводитель Веребьин. Узнав Касьянова, он ласково закивал ему головой и затем нагнулся вперед, чтобы сказать что-то даме. Дама подняла лорнет и мельком взглянула через него на Касьянова. Он остановился и долго смотрел им вслед.

Придя домой, он застал Гриньковского в халате и туфлях.

— Ну что, батенька,— обратился он к Касьянову,— как вам понравился наш город?

— Так себе,— ответил Касьянов.

— Так себе...— усмехнулся Гриньковский.— Дрянной, пакостный городишко, а вы говорите: так себе. А вот погодите, батенька, узнаете нашу публику, так волком взвоете! Мы давеча вот с вами обедали с предводителем, а это такой гусь... Впрочем, увидите сами...

— А мне показался г. Веребьин очень приятным человеком,— сказал Касьянов.

Гриньковский остановился.

— Да вам сколько лет? — спросил он.

— Двадцать восьмой.

— Ну вот, поживите с моё, тогда и научитесь любить собак больше, чем людей.

Касьянову не понравились эти слова. Он посидел еще немного в зальце, помолчал и ушел к себе в комнату. Ожгихина подала ему самовар, и только что он собрался пить чай, как кто-то подъехал на шарабане к крыльцу, и вслед за тем раздались чьи-то шаги в прихожей.

— Г-н Касьянов здесь живут? — послышался голос.

— Здесь,— ответил Касьянов.— Что вам угодно?

— Анна Васильевна Ковригина свидетельствуют вам свое почтение и просят вас пожаловать к ним сейчас.

Касьянов не знал, как ему поступить. Не поехать, когда за ним прислали лошадь, ему казалось неприличным. В то же время ему самому очень хотелось познакомиться с Ковригиными, побывать в женском обществе, поговорить, послушать музыку, побывать там, где, может быть, все изящно, красиво, пахнет хорошими духами...

И, приказав человеку подождать его, он стал быстро собираться.

Ковригины жили в версте от города, в своей другой усадьбе, недавно только выстроенной на голом месте. Все было в ней ново, и благодаря отсутствию растительности она казалась похожей на казарму и неуютной.

Когда Касьянов подъехал, уже смеркалось, и в доме горел огонь.

В передней его никто не встретил, и сквозь затворенную дверь до него доносились голоса и веселый смех. Он снял пальто и, испытывая неловкость, вошел в залу. Здесь вокруг обеденного стола сидели несколько барышень и между ними Веребьин. По-видимому, они играли в почту, так как Веребьин вытаскивал из шапки записочки и, выкрикивая имена, раздавал их игравшим. Увидев Касьянова, он бросил шапку и побежал к нему навстречу.

— Пожалуйте,— заговорил он,— очень рад. Пойдемте, я вас представлю!

И он подвел его к даме, сидевшей в кресле в стороне и читавшей газету.

— Анна Васильевна,— обратился он к ней,— позвольте представить вам мсье Касьянова... Это ваш сосед по Захарьину.

Дама подняла на него глаза, и Касьянов узнал в ней

именно ту самую даму, которую сводил когда-то по ступенькам в Шильонском замке. Как и тогда, на груди у нее висел массивный золотой крест с бриллиантом посредине. Она приветливо улыбнулась Касьянову и протянула руку так, что он должен был ее поцеловать.

— Очень рада познакомиться с вами,— сказала она.— Много слышала о вас... Знакомьтесь и присаживайтесь.

Веребьин подвел его к барышням.

— Дарья Константиновна Ковригина,— представил он.— Елена Константиновна...

Лена протянула ему руку и покраснела. Касьянов почувствовал, как кровь хлынула ему в лицо. Знакомство с нею казалось ему чудом.

«Да она ли это? — думал он.— Не похожая ли только на нее?»

А она, со своей стороны, испытывала неловкость, не верила себе и мысленно повторяла: «Неужели это он?»

И оба они почувствовали, что если сейчас кто-нибудь или что-нибудь не придет им на помощь, то они сконфузятся и обнаружат свои отношения друг к другу.

— Ну что ж, господа? — воскликнул в эту минуту Веребьин.— Будем продолжать?

— Продолжать! Продолжать! — закричали барышни.— Это так интересно!

Касьянову дали бумаги и карандаш, и он должен был принять участие в игре. Трудно было придумать что-нибудь подходящее, не будучи близко знакомым с игравшими, и он отделывался только такими записками: «Не правда ли, как вкусен жареный крокодил?» — и надписывал адрес так: «Рыженькой Жанне д'Арк, сидящей спиной к зеркалу». По новому почерку и по характеру записок все сразу же догадались, кто их писал, были очень довольны и весело смеялись. Касьянов понравился. Отвечали и ему в том же духе.

Под конец игры Касьянов получил записку следующего содержания: «Помнит ли один господин встречу в Шильонском замке?»

Это писала ему Долли, и по лицу ее он мог бы догадаться об этом, но он подумал, что писала Лена, и послал ей ответ:

«Он помнит все».

Лена прочитала, вспыхнула и, изменив почерк, написала ему ответ: «Она тоже».

Он развернул записку, прочитал, взглянул на Лену, и глаза их встретились. Оба поняли, что записки достигли своего назначения.

Затем, точно испугавшись того, что сделала, Лена вдруг побледнела, взялась за грудь и медленно встала из-за стола.

— Что с тобою, Лена? — спросила ее Долли.

— Так, ничего...— ответила Лена.— Играйте, я сейчас приду...

И она вышла из комнаты.

Вошла мисс Летти, та самая дама с седыми волосами и черными бровями, которую уже два раза встречал Касьянов, и попросила очистить стол, так как сейчас будет подан самовар.

Всей гурьбой перешли в гостиную.

— Petits jeux! — закричал Веребьин.— Petits jeux!

Стали играть в фанты. Все время Касьянов ожидал, что вот-вот вернется Лена, но она не приходила. Без нее ему все стало казаться скучным, и игра в фанты не представляла никакого интереса.

«Что с ней? — думал он.— Куда она пропала?»

И в душу его стало закрадываться беспокойство. Здорова ли она? Почему она взялась за грудь и так медленно встала из-за стола и вышла из залы? И он глядел на Долли и на Веребьина и старался по выражению их лиц догадаться, в чем дело, но оба они смеялись и были заняты игрой.

— Господа, чай пить! — послышался голос мисс Летти.

Все поднялись со своих мест и, также толпой, отправились в залу. Здесь Лены не было по-прежнему. Потеряв надежду увидеть ее, Касьянов воспользовался минутой, подошел к Анне Васильевне и стал прощаться.

— Куда же вы? — спросила она его.— Здесь ведь не Петербург! Вы точно с визитом.

Касьянов помялся и не знал, что ответить.

— Я тоже сейчас уеду! — обратился к нему Веребьин.— Попьемте чайку и поедемте вместе!

Касьянову было приятно посидеть лишние полчаса и очень хотелось чаю, и он согласился.

Во время чая играли в рифмы, весело смеялись и говорили глупости. Лена так и не вышла.

Было уже девять часов, когда предводитель стал прощаться. Касьянов тоже поднялся вслед за ним. Когда он подошел к Анне Васильевне, она опять протянула ему руку для поцелуя и приятно улыбнулась.

— Не забывайте нас...— сказала она.— Будем очень рады видеть вас в Захарьине.

Он поблагодарил ее, простился со всеми остальными и вместе с предводителем вышел.

— Вы куда? — спросил его Веребьин.

— Думал проехать к исправнику,— ответил Касьянов,— да уж и не знаю, право...

— Я тоже к исправнику, поедемте вместе!

И они поехали.

У исправника они застали массу гостей. Все земские деятели сошлись здесь для предварительных совещаний. Было тесно, накурено, у закусочных столов толпились люди в черных длиннополых сюртуках и в поддевках, и в нескольких комнатах играли в карты. Исправник суетился, угощал, перебегал от стола к столу и старался уловить малейшее желание каждого. И когда к нему вошли предводитель и Касьянов, то, увидев их, он выскочил к ним в переднюю, и по его лицу они догадались, что все уже покончено.

— Поздравляю вас, поздравляю!..— затряс он руку Веребьину.— Все решено и, так сказать, подписано. Вам поднесут все белые. Вы будете нашим председателем.

— Очень благодарен,— ответил предводитель и поцеловал его в губы.— Этим я обязан одному только вам. Ну а кого наметили в члены?

— Кирина, Борового и Суханова.

Предводитель поморщился.

— Ну, Борового-то не следовало бы,— сказал он.— Ведь это ж болван!

— А кого же вместо него? — испугался исправник.

Предводитель шепнул ему что-то на ухо и взглядом указал на Касьянова.

— Ах я дурак! — воскликнул исправник.— Сию же минуту постараюсь все устроить!

И прежде чем Касьянов успел сообразить, в чем дело, исправник уже перебегал от одного к другому и что-то каждому из них тихонько говорил.

Поздно вечером Касьянов вернулся к себе домой. От массы впечатлений и от выпитого у исправника шампанского щеки у него горели. Неожиданное знакомство с Леной и еще более неожиданное признание ее вскружили ему голову. Он не хотел спать, ему не сиделось. Лена не выходила у него из головы.

— К вам можно? — послышался вдруг голос Гриньковского за дверью.

— Пожалуйста...— ответил Касьянов.

— Не то я перепил у исправника,— сказал Гриньковский, входя в халате и в туфлях,— не то недопил. У вас нет ничего алкоголического?

— К сожалению, ничего,— ответил Касьянов.

— Очень жаль... А как вам понравился наш исправник?

— По-видимому, очень хороший, хлебосольный господин!

Гриньковский ухмыльнулся себе в усы.

— Из кожи лезет вон,— сказал он,— чтобы вытащить предводителя в председатели управы. У Ковригиных в Питере есть какой-то вельможа, Сергей Иванович, который Веребьину ворожит и иначе не желает хлопотать об его камер-юнкерстве, как только под условием, чтобы кроме предводителя он был еще и председателем...

— При чем же здесь Ковригины и исправник? — спросил Касьянов.

Гриньковский расхохотался.

— Ах вы, новорожденный ребенок! — воскликнул он.— Да разве ж вы не знаете, что Веребьин уже два года сватается к Долли и ему наклеивают нос? А исправник... И спит и видит, как бы вылезти в полицеймейстеры, когда Веребьин будет вице-губернатором!

Касьянову было неприятно его слушать.

— Вы шутите...— сказал он.

— Шучу!..— усмехнулся Гриньковский.— А вы думаете, что мы сегодня у исправника пили шампанское не на веребьинские деньги? Нет, батенька, на месте Веребьина я считал бы такие выборы позорными, а для господ выборщиков неприличными! У вас нет водки? Или коньяку? А? Дали бы...

И, не получив ответа, Гриньковский вышел.

Эти слова произвели на Касьянова впечатление пошлой, провинциальной сплетни. Ему было стыдно, что солидный, седовласый человек унижался до бабьих пересудов, и в то же время приходила на ум вся сцена свидания предводителя с исправником. Разве он не слышал сам, как Веребьин благодарил Кильдяшова? Разве он не присутствовал при их поцелуе?

И эти карканья Гриньковского смутили ему душу. Часа два проходил он после этого по комнате и все думал и думал. И чем дольше он ходил и думал, тем все более и более ему казалось, что Гриньковский не так уж не прав и что, действительно, в выборах есть что-то подстроенное и некрасивое.

«Ни за что не буду участвовать в этой комедии,— решил он.— Завтра же наплюю на все и уеду!»

Но мысль о том, что он больше уже не увидит Лену, испугала его. Он вынул из кармана ее записку и прочитал: «Она тоже». Неужели же она им так же интересуется, как и он ею? Или, может быть, это кокетство, желание увлечь или просто шутка, на которую вовсе не стоит обращать внимания? И он был убежден, что всякий другой на его месте счел бы эту записку простой интригой и не придавал бы ей никакого значения; но какой-то внутренний голос шептал ему, что здесь вовсе не было шуток и что между ним и ею, этой девушкой, с которой так настойчиво сталкивает его судьба, установилась какая-то удивительная духовная связь, которой не объяснят ему никакие мудрецы на свете.

Далеко, в комнате хозяйки, часы пробили два. Он устал ходить, разделся, лег и затушил свечу. Но едва только он стал засыпать, как из всех щелей вылезли клопы и стали его кусать. Он снова зажег свечу да так и провозился до утра. А когда стало рассветать, пошел крупный дождь, и после бессонной ночи сделалось так уныло и скучно на душе, что Касьянову захотелось злиться и ворчать. Сбоку, за стеной, громко храпел Гриньковский. Все было угрюмо и чуждо, и захотелось домой.

Касьянов вышел на двор и умылся из колодца. Под навесом две его лошадки жевали сено и, высоко задрав кверху оглобли, стоял его тарантас. Касьянов утерся, подошел к лошадям и похлопал их. Затем он разбудил своего кучера и приказал ему собираться в путь...

Шел еще порядочный дождь, когда он выехал из города. Вот последние, полуразвалившиеся домишки, вот кирпичный завод, а вот и огромный, сумрачный острог. В версте от него, направо, ковригинская усадьба. Проезжая мимо, Касьянов посмотрел на ее окна. Они были завешаны занавесками, все в доме спали, и только один Лорд величаво ходил по двору и помахивал хвостом.

И Касьянову вдруг опять захотелось в этот дом, к этим людям, опять захотелось вчерашнего дня.

Но дело уже было сделано, возвращаться обратно было неловко, и он поехал дальше, к себе домой.

VI

...Вторую неделю льет частый, неумолимый дождь, холодно, и печи так плохо греют и так дымят, что не знаем, куда приткнуться и где найти уютный уголок. Бабушка кашляет и ворчит, сердится на то, что ее сюда завезли, и раздражается, что из окон открывается вид на один острог. И действительно, трудно было бы придумать более неподходящее место для постройки усадьбы.

Веребьина выбрали в председатели земской управы, бабушка телеграфировала об этом князю Сергею Ивановичу, и со дня на день мама ждет из Петербурга ответа... Меня утомляет эта жизнь, эта погоня за титулом, эта неизвестность относительно судьбы Долли.

Он уехал. Уехал на другой же день рано утром, ни с кем не простившись, никому ничего не сказав. Веребьин удивлен, мама равнодушна, а я хожу из угла в угол и все думаю и думаю о нем. Ведь я не знаю его, я не сказала с ним и двух слов, но почему-то не могу выбросить его из головы. И почему я так разволновалась, когда получила от него записку о том, что он помнит все?

Вчера вечером, в сумерки, когда шел дождь и было все так безнадежно кругом и впереди, я не сдержалась, упала к Долли на грудь и горько заплакала.

— О чем ты, Лена? — ласково спросила она меня.

Я выплакала у нее на груди всю свою душу, ничего не ответила ей, но она меня поняла.

— Ты влюблена?

Я отерла глаза и засмеялась.

— Не знаю,— ответила я.— Разве можно влюбляться сразу?

Она опять стала гладить меня по голове — и на этот раз заплакала сама. Ее слезы надрывали мне душу. Я знаю, что она несчастна.

— Чего ты, Долли? Успокойся, не плачь,— в свою очередь стала я ее утешать.

Было холодно, сыро, в печи шипели мокрые поленья, и обе мы сели на турецкий диван с ногами и завернулись в одну и ту же шаль.

— Ты знаешь, Лена,— спросила меня Долли,— как Будда сотворил людей?

Вопрос ее показался мне странным.

— Нет,— ответила я.

— Для того чтобы создать людей,— продолжала она,— Будда насадил сад из одних только грушевых деревьев. И вот когда выросли деревья и созрели на них первые плоды, Будда собрал их и каждый из них разрезал пополам, так что получились красные и зеленые половинки. Затем он положил все эти половинки в мешок, тщательно перемешал их и высыпал на землю. «Пусть зеленые половинки,— сказал он,— будут мужчинами, а красные — женщинами, и пусть каждая половинка отыскивает ту, от которой она отрезана. И это будет брак». И вот каждая половинка стала отыскивать свою подругу. И стало случаться так, что зеленая половинка находила чужую красную, и, наоборот, красная находила чужую зеленую — все это были несчастные браки. Но было и так, что каждая половинка находила именно свою собственную — и это были счастливейшие браки в мире. Ты поняла меня?

— Нет,— ответила я.— К чему ты это сказала?

— Твой Касьянов, которого ты еще не знаешь как следует, и ты — это две половинки от одной и той же груши. И что бы вы ни делали, как бы вы ни избегали друг друга и как бы вам ни препятствовали другие — вы все равно будете единой грушей. Это тайна, Лена, которая нам непонятна и над которой я думаю вот уже сколько времени. Помнишь, мы когда-то учили катехизис — «брак есть таинство»?

— Ну а твоя половина? — спросила я ее.

Долли глубоко вздохнула.

— Моя половина — от чужой груши,— ответила она.— Мы с нею чужды друг другу безнадежно.

— Зачем же ты выходишь замуж?

— А что же мне делать?

— Ждать, когда явится именно твоя половина.

Долли усмехнулась.

— А ты уверена,— сказала она,— что она еще ищет меня и не связала своей судьбы с другою половинкой? Нет, милая моя Лена, если бы я была так же счастлива, как ты, то при встрече именно с моей половинкой я почувствовала бы тот трепет души, который называется влечением сердец. А его-то у меня и нет.

Она смолкла, мы прижались друг к дружке и долго молчали. По стеклам ползли капли дождя, голые деревья гудели от ветра, было холодно и неуютно, но на душе у меня было радостно и весело, как весной.

Я нашла свою половинку, и если брак, действительно, есть таинство, он не от нас зависит.

Бедняжка Долли!

...Сегодня мама получила от нашего захарьинского священника письмо, очень возмутилась его содержанием и швырнула на пол. Я подняла его и прочла следующее: «Ваше превосходительство. Когда же наконец кончатся страдания крестьян, которые вынуждены обстоятельствами арендовать вашу землю? Ваш управляющий по вашему приказанию опять увеличил арендную плату. Ваше превосходительство! Да взгляните же наконец на эти полуразвалившиеся избы, обратите внимание на то, что крестьянские дети мрут как мухи оттого, что нет хлеба, нет молока, нечем питаться. Ведь нельзя же наконец по целым годам не являться к себе в усадьбу или, явившись на два дня и ничего не осмотрев и ни с кем не поговорив, уехать снова. Ваше превосходительство! Мое сердце обливается кровью, я стражду, и нет перста указующего, кому сказать, куда обратиться. Вы сами имеете детей, воззрите же и на детей сих несчастных! Ведь и бриллиант, презирающий сальную свечку, получает свой блеск от ее огня и играет радужными лучами. И не будь сальной свечки, никто не заметил бы и бриллианта».

Мама долго ходила взад и вперед и все ворчала:

— Негодяй! Революционер!

А потом остановилась и, с решительным видом вырвав у меня из рук письмо священника, села за стол и долго кому-то писала. Я поглядела ей через плечо и только могла рассмотреть две строки: «Ваше высокопреосвященство, преосвященнейший владыка».

И я догадалась, что мама писала на священника жалобу архиерею.

— Не надо, мама...— обратилась я к ней и почувствовала, как у меня что-то зацарапало в горле.— Не надо! Ведь им и в самом деле там нечего есть!

Мама подняла на меня глаза и сделала строгое лицо.

— Ты еще вовсе откажись от земли! — резко сказала она и снова принялась за письмо.

Мне было больно, и я пошла к себе в комнату. И все кругом стало казаться мне чужим, присвоенным мною не по праву, и самое платье стало меня стеснять и жечь мое тело.

Я должна ехать в Захарьино!

...Сегодня ночью кто-то долго стучался к нам в нижнюю дверь. Лорд поднял лай на весь дом и всех разбудил. Затем началась беготня снизу вверх и сверху вниз. Оказалось, что это телеграфист принес бабушке телеграмму. Князь Сергей Иванович поздравлял бабушку с тем, что Веребьин удостоился придворного звания. Бабушка не любит, чтобы ее беспокоили среди ночи, обиделась и не спала уже до утра. Весь остаток ночи я слышала ее тяжелый кашель. Наутро она вышла мрачнее ночи, пожелтевшая от припадков печени, и заявила, что она больше не намерена оставаться в этом постоялом дворе, где отовсюду дует и где дым от печей проел глаза и по ночам телеграфисты ломятся в двери.

— Куда же ты думаешь ехать? — спросила ее мама.— Ведь теперь скоро свадьба Долли! А в Петербурге у нас капитально ремонтируется квартира!

Бабушка сверкнула на нее глазами.

— Уеду в Захарьино! — сказала она.— Там, по крайней мере, не такой дурацкий дом!

Это был мой шанс: теперь или никогда — и я решилась им воспользоваться.

— Бабушка, милая, дорогая, хорошая! — бросилась я к ней на шею.— Возьми и меня туда с собою.

Бабушка подумала, что это я прошусь из участия к ней, что только одна я ее пожалела, и потому вдруг

улыбнулась, глаза ее приняли ласковое выражение, и она поцеловала меня в голову.

— Хорошо, внучка,— ответила она.— Ты поедешь вместе со мною!

Я готова была прыгать от радости.

...Приезжал из города нотариус. Мама долго совещалась с ним и в виде любезности послала князю Сергею Ивановичу в Петербург удостоверение, что проценты по закладной с него получены за три года сполна. Вот не ожидала, что имение князя Сергея Ивановича заложено у мамы!

...У нас уложены все сундуки и картонки. Сегодня с вечера их посылают в Захарьино, а завтра утром я и бабушка уезжаем туда вдвоем, взявши с собой одну только девушку. Мама хмурится, недовольна, что бабушка уезжает, Долли ходит, точно ее приговорили к смертной казни, Веребьин чувствует себя хозяином. Мне жаль оставлять Долли одну, но она настаивает, чтобы я уехала в Захарьино.

Свадьба назначена на первое ноября, венчание будет в Соборной церкви (почему не в Захарьине?), а затем Долли и Веребьин уедут за границу. Таково желание жениха.

До первого ноября еще много времени, и я успею пожить в Захарьине.

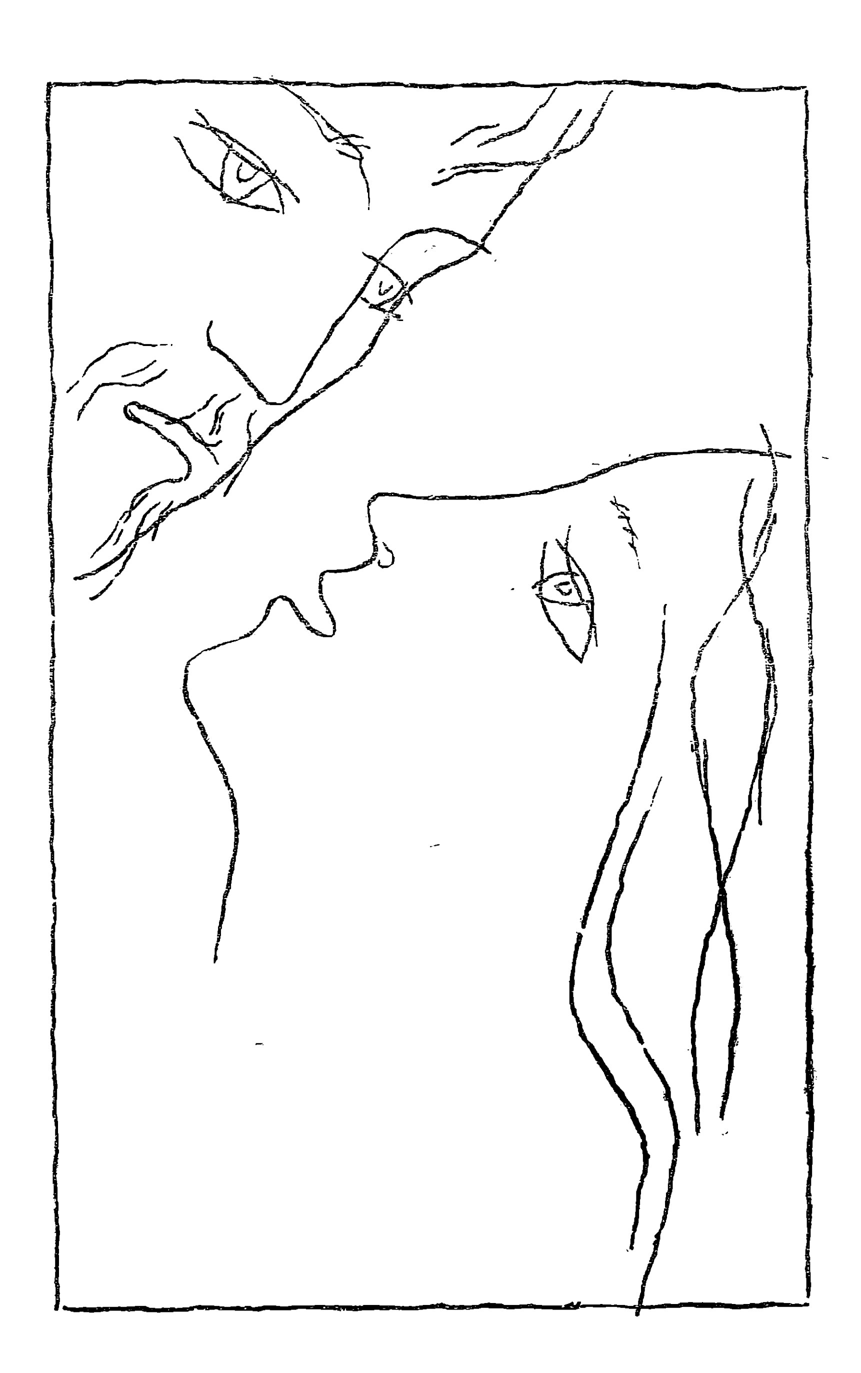
Из Петербурга и Москвы уже начало приходить приданое Долли, и мама считает своей материнской обязанностью лично устроить счастье дочери.

VII

Был вечер, часов около восьми. Дул сильный ветер, гудели деревья, и так было темно, что если б в людской не светился в окне огонь, то трудно было бы попасть в нее из господского дома. Касьянов был во всем доме один и читал журналы, которые привезли с почтовой станции. Горел камин в гостиной, и в ней, с ее красного дерева старинной мебелью, было ласково и уютно.

Вдруг кто-то постучал в окно. Касьянов вздрогнул от неожиданности и подошел к стеклу. Приложив обе руки к щекам, кто-то смотрел в окно со двора.

— Александр Иванович,— послышался голос.— Пожар!



У Касьянова похолодело под сердцем.

— Где? — спросил он.— Это ты, Иван?

И, накинув на плечи пальто и не найдя в темноте шапки, он так и выскочил с непокрытой головой на воздух.

Половина неба была окрашена в красный цвет, и издалека слышался частый звон в церковный колокол. Теперь, при свете зарева, видны были и людская, и погреб, и даже далеко впереди еловый лес. У людской кучкой стояло несколько работников и женщин. Зарево то становилось мутнее, то вновь вспыхивало еще ярче, чем прежде.

— Это в Вербилках! — крикнул кто-то.

— Дурак, черт! — послышался ответ.— Вербилки-то где? А горит вон где!

— Звонят-то в Захарьине! Это захарьинский колокол!

— А я так полагаю, Александр Иванович,— сказал Иван,— что это и горит в Захарьине!

— Подожгли!..— крикнул кто-то.— Там на господ шибко недовольны...

Чувство беспокойства овладело Касьяновым. Зарево действительно было на захарьинской стороне.

— Поди старая генеральша с барышней перепугавшись! — сказала скотница Настасья.— Вчера только приехали, а нынче уж и пожар!

— А ты откуда знаешь, что они приехали? — спросил Касьянов.

— Давеча трактирщик Зязин сказывал,— ответила она,— что приехали старая генеральша да молодая барышня. Только вдвоем.

Касьянов побежал в дом, разыскал шапку и снова выскочил на двор.

— Иван! — крикнул он.— Седлай скорей Кубаря, скачем в Захарьино!

Через десять минут они уже ехали по дороге к ковригинской усадьбе.

Зарево становилось все ярче и шире, и теперь уже видны были клубы дыма, выкатывавшиеся из-за леса. И чем ближе Касьянов и Иван подъезжали к Захарьину, тем все больше и больше они убеждались, что горит именно там, и Касьянову представлялся уже весь ужас положения несчастных женщин, одних в громадном

доме, которым не у кого было искать помощи. Что, если это горит самый барский дом? Где они теперь? И если это, действительно, был поджог, то кто поручится, что теперь там не происходит драма, при одной только мысли о которой становится жутко на душе.

— Господи, спаси ее! — шептал по дороге Касьянов.— Спаси и сохрани!

Сейчас, за этим бугром, видно будет все Захарьино. Сейчас решится вопрос, горит ли это село, горит ли барский дом или что-нибудь еще. И боясь, как бы не оступилась лошадь о замерзшие кочки и колеи, Касьянов поскакал вперед. Оставив Ивана далеко позади себя, он обогнул бугор и выехал на лощину.

Горело, действительно, в усадьбе. На захарьинской церкви ярко светился крест, и все стекла барского дома отражали в себе зарево пожара, так что было похоже, будто в доме бал и горит множество огней. Внизу текла еще не замерзшая река, и создавалось впечатление, точно она была наполнена раскаленной красной медью. На том месте, где горело, высоко к небу поднимался колоссальный фонтан искр. Теперь было ясно, что горел хлеб. А его было очень много.

У Касьянова отлегло от сердца.

— Слава богу!..— проговорил он и даже перекрестился.— Она в безопасности.

Он спустился вниз и, чтобы сократить дорогу, прямо озимью, наперерез, поскакал к пожару. Впереди, около массы огня, точно индейцы вокруг костра, бегали маленькие человечки и, казалось, танцевали и весело размахивали руками. Видно было, как тонкой струйкой, совсем ничтожной для тушения такого огня, прыскала в него вода из пожарной машины. Касьянов проскакал через двор усадьбы и через скотный двор выехал на зады, где стояли стога недомолоченного хлеба, риги и молотильные сараи. Все это теперь было в огне. Несколько захарьинских мужиков бегали вокруг пожара, по-видимому не зная, за что приняться, и нехорошо ругались. В сторонке стояли бабы и девки и с ужасом глядели на пожар, а поближе к огню, там, где уже было совсем жарко, старухи держали иконы ликами к огню. Летали голуби. Фыркали лошади. Вдали, на горке, было собрано встревоженное стадо. И все: и люди, и голуби,

и это стадо, и струя воды из пожарной кишки — казались вылитыми из красной меди.

— Девки, ребята, воды! — послышался голос.

И несколько девушек и парней потащили на себе к пожару водовозку.

Касьянов объехал пожарище со всех сторон. Огонь не угрожал ни усадьбе, ни скотному двору, ни селу и, по счастливой случайности, тянул в открытое поле. Потушить его с такими средствами, какие имелись, было невозможно, и оставалось только ждать, когда все сгорит и погаснет само собою. Только бы не переменился ветер.

— Не слыхали, от чего загорелось? — спросил Касьянов у мужиков.

— А кто ж его, баринушка, знает!..— ответил один из них.— Воля божья!.. Такая уж ему планида, чтобы гореть!

— А барышня-то, барышня...— вздохнула стоявшая поблизости баба, у которой от страха стучали зубы.— Так и катается от ужасти по полу, так и катается! Генеральша-то со страху с управляющим уехавши в город.

Касьянов встрепенулся, его сердце облилось кровью, и что-то подсказало ему, что там, в доме, его присутствие гораздо необходимее, чем здесь, где все так безнадежно. И каковы бы ни были условности, запрещающие в такое позднее время чужому мужчине входить к женщине, когда она одна, он не посмотрит ни на что и пойдет к ней. Он чувствует, он знает, что там ждут его участия, поддержки и, кроме как от него одного, ниоткуда не последует эта помощь.

И передавши Ивану лошадь, он зашагал к барскому дому.

Две собаки выскочили из своих будок и с лаем бросились на него и так все время и лаяли, пока он не дошел до дома. Во всей усадьбе не было ни души, так как все были на пожаре, и некому было выйти и отогнать собак. Встревоженный необычным освещением, махая крыльями, бежал вслед за ним ручной журавль. Издалека доносились крики, треск огня, и все время, не переставая, звонили на селе в колокол и стучали в чугунную доску.

Прислонившись к колонне крыльца, стояла какая-то

женская фигура в серой шали. Это была горничная генеральши. Она глядела на пожар, и зубы у нее тоже стучали.

— Кто это? — вскрикнула она, увидав Касьянова.

— Это я... Ваш сосед...— ответил Касьянов.— Ваши дома?

— Ах, барин,— залепетала она.— Уж мы и то хотели посылать за вами! А у нас тут такое было, такое было, что и не дай бог! Днем приходили мужики, требовали к себе старую генеральшу, кричали, махали руками, да так она к ним и не вышла. А вечером вот пожар. Генеральша испугалась, приказала закладывать лошадей, чтобы в город ехать, а барышня уперлась, говорит, не поеду ни за что. Что крику-то было, батюшки мои!..

— Так генеральша и уехала? — спросил Касьянов.

— Так и уехала вместе с управляющим! Нас оставила одних на попа да попадью.

Как был, в больших сапогах, в шведской куртке, он сбросил с себя пальто и стал подниматься по лестнице. Дойдя до верху, он отворил дверь и вошел в громадную залу. В ней было светло, потому что на противоположной стене отчетливо отражались красные окна и зарево пожара сверкало на рамах от картин и еще на чем-то металлическом, висевшем между колоннами. У одного из окон, вся в белом, с распущенными волосами, залитая багровым светом пожара, стояла девушка и с ужасом смотрела на клубы огня, выкатывавшиеся из-за деревьев. Губы ее дрожали.

Он подошел к ней и, боясь и в то же время угадывая что-то, тихонько взял ее за руку. Она обернула к нему лицо, взглянула на него, глаза ее просияли, и вдруг тихо, точно скользя по льду, она стала падать на пол. Он подхватил ее, понял, что это обморок, и, боясь оскорбить в ней ее женственность, взял на руки и, как ребенка, через всю залу понес на диван.

— Лена...— говорил он и чувствовал, что голос изменяет ему.— Лена... Это я... Очнись!

Она открыла глаза, глубоко вздохнула и крепко-крепко обняла его за шею.

— Мой...— прошептала она.— Мой... Данный мне богом!..

Он обхватил ее обеими руками, прижал к сердцу и

стал целовать в губы, в щеки, в глаза. Как маленький ребенок, она доверчиво прижималась к его шведской куртке, и ее волосы рассыпались у него по рукам.

Когда она успокоилась, он кликнул девушку, приказал ей ее одеть, и все втроем они отправились на село к священнику. Пожар все еще продолжался, и в общей суматохе никто и не заметил, как они потом уехали из усадьбы. И стали они мужем и женой. . . . .
. . . .

«Дорогая Лена. Пришли мне хоть крупицу твоего счастья. До сих пор я еще не получала от тебя ни одного письма, ни в Париже, ни в Италии, ни здесь, очень скучаю, и так бы хотелось повидаться с тобой и поговорить. Я здесь с мужем и с бабушкой, но совершенно одна. Помни это, не будь эгоистична и не забывай твою бедную сестру Долли.

Пиши мне по адресу: Nice, Hôtel Beaurivage, 16, Son Exellence M-me Dolly Vêrébine».

Письмо это было адресовано на имя Елены Константиновны Касьяновой, в село Брянцево, почтовая станция Клетишино, Россия.

АНЮТА
из несобранных рассказов

АНЮТА

Григорий Синюхин не бывал в деревне уже лет пятнадцать, с тех самых пор, как его впервые отвезли в Москву и отдали там в мальчики. И теперь, когда он приехал опять на родину, в черном пиджаке, и при часах, и с длинным ногтем на мизинце, то на него сбежалась смотреть вся деревня. Он вошел к себе в избу, шаркнул перед матерью ногой и поцеловал ей руку. Не привыкшая к подобного рода обхождению, мать смутилась и не знала, что ей делать. Сидевший у нее ее деверь Кирила узнал Григория и замигал слезившимися глазами.

— Гринька! — воскликнул он.— Гринька!..

Григорий расшаркался и перед ним.

— Дяденьке почтение! — сказал он.— Кириле Нилычу-с!

— Ну как живешь?

— Покорнейше благодарим... Вашими молитвами... Приехал вот восстановить родственные связи и международные отношения...

— Так, так... К родным хлебам, стало быть... Чужой хлеб из души прет, а свой в животе поет... Так, так...

Старуха захлопотала около самовара, скоро уселись за чай, но в избе было так людно, что, несмотря даже на простоту деревенской жизни, было неловко приниматься за еду. Григорий встал и вытянул перед собой руку.

— Которые лишние,— сказал он,— благоволите уйти! Имейте в виду! Столь родственные события, и вдруг — народ!

— Это верно! — вмешался и Кирила.— Кусок во рту сглазить, так плохо и в живот пролазит...

Вечером Григорий водил с девками хоровод, причем был в фильдекосовых перчатках, а на другой день по всей деревне только и говорили, что о нем.

Решено было его женить.

— Что ж, я не прочь...— говорил он, когда ему сообщили об этом.— Каждый смертный должен иметь подругу жизни.

Пришел дьячок, долго шушукался с матерью Григория и дяденькой Кирилой Нилычем, а затем отправился в господскую усадьбу и там долго шушукался с кухаркой Марьюшкой. Марьюшка подозвала к себе горничную Анюту и сказала:

— Анюта, чай, тебе и замуж пора! Что тебе зря в девках-то канителить?

Анюта смолчала и покраснела, но вслед за тем, без всякого с ее стороны согласия, понаехали мужики и бабы, пили водку, наливая ее в чашки прямо из четверти, засиделись долго за вечер и орали пьяные песни. Выросшая в усадьбе при господах и не любившая мужицкого запаха и орания, Анюта ходила как во сне и как-то не понимала того, что происходит вокруг нее. Она знала, что так надо, что каждая девушка должна выйти замуж, но ей было дико, что ею распоряжались, как вещью. Часов в десять вечера из дому прислала барыня в людскую сказать, что если мужики будут еще долго пьянствовать, то их погонят по шее. Мужики не обиделись и стали собираться. Садились на одну телегу по шести человек и громко хлестали по лошади. Нехорошо ругались. Перед отъездом дяденька Кирила Нилыч подошел к Анюте и быстро замигал глазами.

— Ну, брат Анюта,— сказал он,— теперь мы тебя, стало быть, пропили, и ты теперь не своя, стало быть, а наша...

А затем он достал кошелек, вынул из него двугривенный и подал его Марьюшке.

— Это вам, Марья Филипповна,— сказал он,— за труды... За труды, стало быть. От любезности...

На другой день он снова приехал в усадьбу, отобрал от Анюты ее книжку сберегательной кассы, по которой у нее было внесено семьдесят рублей, и так как в город ехать было недосуг, то учел эту книжку за шестьдесят

рублей в чайной лавке у Василия Сергеича. Анюта должна была на чем-то расписаться. А в тот же день, вечером, в кухню пришли девушки, пели песни и часа два заплетали и расплетали косу Анюте. Анюта знала, что и это тоже надо, и плакала. И другие девушки плакали, потому что тоже так было надо. Анюта надела розовое платье и только тут поняла всю важность того, что делала она и что делали с нею другие. Она поняла, что ей придется сейчас навеки расстаться с тем, к чему она привыкла, и ей стало горько и обидно, что какие-то чужие, неизвестные ей люди так бесцеремонно вторглись в ее судьбу. И когда с бубенцами и с ленточками на дуге приехали за нею дружки, чтобы везти ее в церковь, она ухватилась за край стола и не хотела ехать. Чьи-то жесткие, корявые руки отняли ее руки от стола и повели к повозке. Уходя, она увидела, что какая-то неизвестная ей женщина стаскивала у нее все с кровати и со стен и кидала в один узел. Это была тетенька, жена дяденьки Кирилы Нилыча. Узел поместили тоже в повозку и повезли вместе с Анютой. И ей показалось, что вместе с этим узлом из усадьбы уезжает вся ее жизнь и что узел этот для ее новых будущих родных гораздо дороже, чем она сама. По дороге тетенька соскочила с повозки и понесла узел куда-то на себе.

Своего мужа Анюта впервые разглядела только тогда, когда ее привезли из церкви к нему в избу. Было низко и тесно. Изба состояла всего только из одной комнаты с огромной печью. Пели девки. Едва только Григорий с Анютой вошли в сени, как дяденька Кирила высыпал на них мерку ржи и овса. Затем стали пить водку, плясали под гармонь и пели песни. Было так душно, что тяжко было дышать. Анюте казалось все это сном и хотелось поскорее проснуться, чтобы снова увидеть себя дома, в усадьбе. Полными недоумения и страха глазами она смотрела вокруг себя, но ее мозг не воспринимал того, что она видела, и все предметы и пьяные лица то уходили от нее куда-то далеко в пространство и становились маленькими, как карлики, а то вдруг снова приближались к глазам и вырастали в натуральную величину. И, зная, что она говорит нелепость, за которую все подняли бы ее на смех, она робко посмотрела на мужа, потом опустила глаза и, покраснев, сказала:

— Григорий Алексеевич, отпустите меня домой...

Он нахмурил брови, строго взглянув на нее, поднялся с места и заложил руки в карманы брюк.

— Если, Анна Сергеевна,— сказал он,— у вас с кем-нибудь раньше была повесть или роман в трех частях, то сим прошу вас сказать мне это прямо-с!

И он стукнул кулаком по столу.

Анюта задрожала и похолодела.

— Гриша!..— бросились к нему дружки.— Оставь!.. Наплюй!.. Давай выпьем!

Гости налили водки и потянулись к жениху.

Анюта почувствовала, как кто-то чужой, противный ей, которого она ненавидит теперь всем своим существом, обнял вдруг ее за талию и поцеловал в губы.

— И-и! — сказала сидевшая тут же старуха.— Кто нынче замуж-то чистенькая выходит? Особливо из господских!

Анюта услышала это и приготовилась к новой сцене, но в это время заиграла гармонь, гости раздвинулись по сторонам, и в образовавшемся кружке дяденька Кирила Нилыч и кухарка Марьюшка стали плясать русскую.

Пахло махоркой, и под ногами хрустела ореховая и подсолнечная скорлупа.

В третьем часу гости разошлись, и всё как было, так и осталось на ночь: чашки, битая посуда, корки, остатки еды... Анюта хотела было убрать, но не знала, где что поставить. Дяденька Кирила Нилыч храпел тут же на лавке. Тетенька и свекровь спали уже на печке. Где-то сбоку пел петух. Оставшись наедине с женой, Григорий взял ее за плечи, хотел что-то сказать, но не мог — с ним сделалось нехорошо. Разыскав на загнетке тряпку, Анюта вытерла и, выкинув тряпку за дверь, возвратилась обратно в горницу.

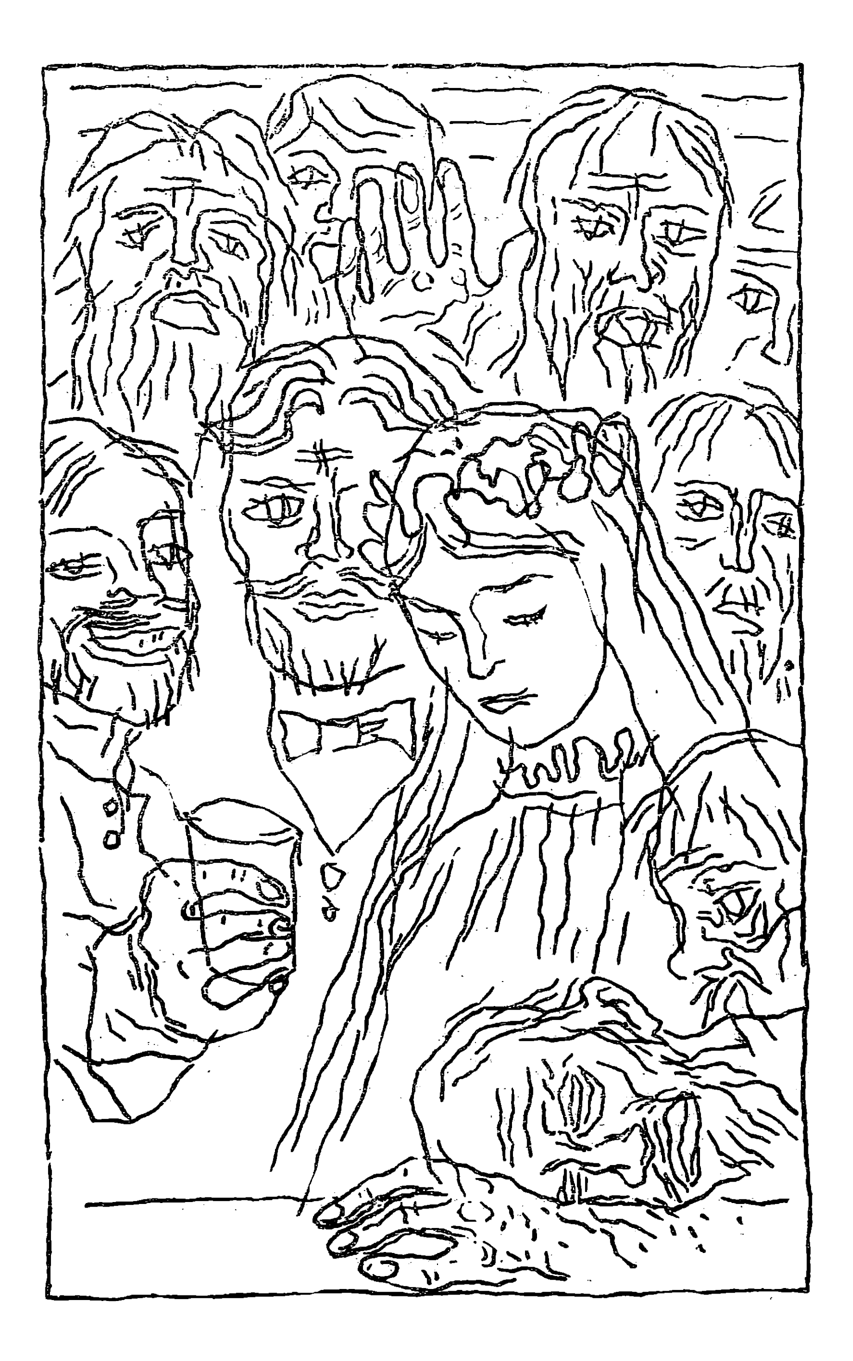
Муж снова взял ее за плечи.

— Не замай! — проворчала она.— Уйди, окаянный!

На этот раз он крепче ухватился за нее и стал обдавать ее своим пьяным дыханием. Она отмахнулась и больно ударила его локтем по щеке, около уха.

— Супруга...— лепетал он, не замечая боли,— законная... да убоится мужа своего...

И он сжал ее как в клещах. Она рвалась от него, боролась с ним. Хотела кричать, звать на помощь и в то же время боялась, как бы дяденька и тетенька не



проснулись на ее крик и не увидали ее позора. И, израсходовав в борьбе все свои силы, устав сопротивляться, отуманенная спертым воздухом и запахом алкоголя, которым дышал ее муж прямо в лицо, она должна была уступить.

А затем она вышла из избы, в изнеможении опустилась на ступеньку крыльца и оперлась виском о его столбик. Начиналось утро. Высоко в небе пели жаворонки, с писком летали стрижи, и свежий, вкусный ветерок обдавал холодком ее пылавшие щеки. Внизу у речки стоял туман, в глубине которого дергал коростель, и было так мирно, так свято во всей природе, что не хотелось верить, что за стеной, всего в каких-нибудь двух аршинах от нее, могло быть так худо... Замычали коровы, потянуло из соседних изб запахом горелой соломы: это затопили уже печи. Анюта хотела бежать, куда-нибудь далеко, где бы никто не знал того, что с нею произошло, но она не могла подняться с места, и ноги отказывались ей служить. И ей было больно, хотелось плакать о себе, о своей судьбе. В то же время ей было обидно и досадно на этих баб, которые пропивали вместе с мужиками ее свободу, и вместо того, чтобы заступиться за нее, сберечь ее от того, что они уже испытали сами на себе, они толкнули ее во власть к совершенно незнакомому, чужому ей человеку. Ах как ей захотелось вдруг вскочить, закричать на всю деревню, затопать ногами и перебить стекла в этих маленьких, убогих окнах, в которые так мало еще проникает извне божьего света!

Весь день прошел для нее дико и необычно, но она уже не возражала и беспрекословно исполняла все приказания свекрови. Ее ноги двигались как-то сами собой, руки делали все сами, без всякого участия ее души, точно она была в летаргии или под гипнозом. И только иногда в ее мозгу мелькала вдруг искра сознания, и тогда на глазах у нее появлялись слезы, но она не давала им воли и еще более уходила в себя.

Дня через четыре снова пришли мужики и ребята. Пили водку и целовались с Григорием. У крыльца стояла телега. Выпив посошок, Григорий шаркнул перед матерью ножкой и поцеловал ей руку.

— Прощайте, мамаша! — сказал он.— Счастливо оставаться.

А затем, отведя ее в сторону, он наклонился к ней и сказал:

— Вы же, мамаша, наблюдайте за моей Анюточкой!.. Мало ли что?.. Бабеночка молодая...

После этого он подошел к жене.

— Прощайте, Анюточка...— сказал он и вытер губы.— До свидания-с. Надо к делу... Поди хозяин уже надувшись... Слушайте мамашу. Не забывайте, что я вас осчастливил.

И, всмотревшись в ее лицо, он заметил у нее под глазом волосок и смахнул его отращенным ногтем на мизинце. Неприятное чувство пробежало вдоль спины у Анюты.

Выпили еще по стаканчику и всей гурьбой высыпали на улицу.

Григорий уселся на телегу, накинул пальто и огляделся по сторонам.

— Какое сожаление!..— сказал он.— Места столь знакомые!.. Прощайте, ласковые взоры!

Но, заметив мать и жену, он сразу сделал серьезное лицо и сказал:

— Вы же, мамаша, за нею наблюдайте!

Кнут хлестнул по костям лошадки, и телега покатилась.

Мать еще долго смотрела ей вслед, приложив руку к глазам. И только, когда облако пыли уже повернуло налево и скрылось за ригами, она приняла ладонь со лба и глубоко вздохнула.

Шли две бабы с мальчонком. У одной из них был младенец за пазухой. Обе шли с поля, где пахали под озимь.

— Работницу в дом взяли? — спросила одна из них старуху.— Здравствуйте!

— Да, работницу...— отвечала старуха и поплелась в избу.— Нынче-то нанимать больно накладно стало!

— А много приданого?

— Да кабы без приданого, то и не взяли бы вовсе!

И что-то ворча, старуха вошла к себе в избу.

НА БАРЖЕ

Отпустив понятых и простившись с уездным врачом, который уехал к предводителю, судебный следователь Казанский пошел от деревни к Волге пешком. Здесь он рассчитывал досидеть на берегу до тех пор, пока не пройдет мимо какой-нибудь пароход и не возьмет его с собой.

Был вечер, всходила полная, красная луна, и на том берегу, в кустарниках, пели соловьи. Далеко за заливными лугами, точно играя в прятки, переливались зарницы. Длинный плот протянулся по Волге из конца в конец, и в голове у него, в шалашике, горел огонек. Это напоминало большую гусеницу с красным глазом. У этого берега, выбравшись носом и утонув кормою в воде, стояла одинокая барка с домиком на палубе.

«Должно быть, авария»,— подумал Казанский.

Он сел на камень и стал поджидать.

После длинных разговоров на следствии ему ни о чем не хотелось думать, и было приятно, что он один и что стояла хорошая погода. Теперь, как только покажется пароход, он подплывет к нему вот на той лодке, что стоит у перевоза, и закажет себе селянку на сковородке; если пароход не опоздает, он приедет к себе домой ночью, после двенадцати часов, и все равно ему не дадут дома есть, так как жена у кого-нибудь играет в карты и вернется только под утро.

И по мере того как он поджидал, становилось все прохладнее и сырее. Красная луна стала уже меньше и желтее, и кустарников, в которых пели соловьи, уже

не было видно, так как они потонули в тумане. На барже засветился огонь, и видно было, как кто-то сидел там у окошка.

«Не пойти ли мне туда? — подумал следователь.— Все-таки там не так сыро!»

И, посидев еще немного, он подошел к барже и стал взбираться на нее по приставленной лестнице.

— Кто идет? — послышался вдруг голос.

— Это я..— ответил Казанский.— Позвольте подождать у вас парохода...

При виде кокарды и портфеля чернобородый человек недоверчиво посмотрел на Казанского и не сразу ответил:

— Милости просим!

Казанский вошел с ним вместе в домик. Здесь стояла русская печь, пахло прелой гречневой кашей, и на столике, покосившемся вместе с баржей, кипел самовар. Казанскому очень хотелось чаю.

— Может быть, вы меня и чайком попоите? — обратился он к чернобородому человеку.

Тот молча налил ему чашку чаю и подал огрызок сахару.

— Вы из каких будете? — обратился он наконец к гостю.

— Я — судебный следователь...— ответил Казанский.— Был тут верстах в двух на следствии... Возвращаюсь домой.

— Что ж, душегубство какое, или так, зря?

— Детоубийство... Девушка родила и из стыда задушила ребенка.

Чернобородый вздохнул, сел за столик, налил себе чаю и, громко кусая сахар, так что Казанскому делалось жутко, стал пить.

— А вы что ж здесь стоите? — в свою очередь спросил Казанский.

— Сплавом шли,— ответил чернобородый,— да вот ударились о чужой пароход... Посудина слезу и дала. Пароход-от ушел, а мы вот насилу на песок выволоклись. Народ-то ведь какой нынче! Ударить ударил, а нет, чтобы помочь!.. Вот тут и сиди!..

И еще долго молча, сосредоточенно пили чай. А затем чернобородый собрал чашки, принял самовар и, широко крестясь, помолился богу.

— Эх-хе-хе-хе-хе! — зевнул он потом и перекрестил себе рот.— Кто детей душит, как кошенят, а кто надышаться на них не может. У нас тоже вот был случай, ваше высокоблагородие, который детей касающий. Я тогда еще свою лавку имел, на людях не служил и потому в присяжных заседателях был... Судили мы одну жену — мужнюю и бабу-повитуху. Да так насудили, что и теперь стыдно!

И он махнул рукой и усмехнулся себе в ус.

— Какой же это случай? — спросил Казанский.

Чернобородый опять усмехнулся и опять махнул рукой.

— Да все бабы! — начал он.— Был у нас на Волге капитан, ходил на буксире. И задумал этот капитан жениться. Конечно, человек он молодой, при должности, так за него всякая пойдет. Ну, оженили его, справили все порядком, и так вышло, что через неделю ему надо было опять садиться на свой пароход и вести караван на самый верх. Сами знаете, ваше высокоблагородие, буксирному капитану какая жизнь? Сегодня дома, а завтра на пять месяцев в Астрахань уходи или лезь на воду до самой Твери. Простился он с женой и уехал. Через пять месяцев возвращается домой — и сейчас к жене: «Ну что, говорит, как? В тягостях или нет?» — «Нет»,— говорит ему жена. «Это, говорит, плохо. Каждая женщина, говорит, для той точки сотворена, чтобы хозяйство мужу соблюдать и детей рожать». Прожил он с нею целую зиму и все приставал к ней, в тягостях она или нет, а потом опять ушел в навигацию, и так она ему два года сряду и не рожала детей. Это приводило его в замешательство, потому что он где-то там в книжке прочитал, что если, скажем, у женщины два года нет детей, то уж и не будет совсем. Приезжает он после этих двух лет домой — и сейчас к жене: «Ты, говорит, такая и сякая, бесплодная, говорит, смоковница. Я к тебе всей душой, а ты вот уже два года прошло, как не хочешь беременеть, да и баста! Ежели теперь ты не забеременеешь, то я с тобой разведусь. Даю тебе девять месяцев сроку. Я знаю, говорит, такой закон, что ежели жена не родит два года, то можно разводиться, а ежели ты насчет меня сомневаешься, то я могу доказать, что у меня с левой руки дети есть».

— Что ж он так приставал к жене? — спросил следователь.

— Да надо полагать, что уж очень ему хотелось иметь детей,— продолжал чернобородый.— Нуте, настала опять навигация, опять нашему капитану такая линия вышла, чтобы идти на пять месяцев на низ. Вот он подзывает к себе жену и говорит ей: «Знать ничего не хочу, чтобы были дети, и никаких! А не то, воля твоя, разведусь. И ежели только вернусь и ты не будешь в тягостях, то поминай меня как звали!» И так он ее, бедную, напугал, что когда она его проводила, то ей жизнь была не в жизнь. Что теперь, думает, делать? Уж она и туда и сюда — ничего не выходит. А осень приближается, скоро опять вернется муж. Как быть? Вот она купила ваты, сшила себе одеяльце и положила его для видимости на живот. Из-под платья-то оно и кажет, что словно бы она и на самом деле в тягостях. Приезжает капитан. Как увидел ее в таком виде, так и обомлел от радости. Не знает, где и посадить, что и подарить. А она ему и говорит: «Ты меня, Паша, теперь не прикасайся, потому что я тяжела, а то повредишь», а сама-то все ватки подкладывает да подкладывает...

— Ну и что же потом? — спросил Казанский.— Интересно, как она выпуталась из положения.

— Он ее и не касался вовсе,— продолжал чернобородый.— «Я, говорит, образованный человек, понимаю. Это, говорит, купцы — те, действительно, народ несообразный, а твое положение, душенька, хотя и естественно-нормальное, тем не менее вроде как болезненное». А брюхо-то у нее все растет и растет. Видит она, что дальше-то уж не обманешь, и собралась на богомолье в Ярославль, к Николе Мокрому да к Наталье Уз-решительнице. «Отпусти, говорит, меня, Паша, богу помолиться, чтобы все лучше обошлось». А сама и думает: «Вот поеду в Ярославль, да там вату-то и сниму». Он было увязался с нею, так она его не взяла с собой, а поехала одна. Всю дорогу туда и обратно уксус пила, чтобы похудеть, а когда вернулась домой, то лица на ней не было: осунулась и вся зеленая. Муж как увидал ее, так и испугался. «Что,— спрашивает,— с тобой?» А она ему в ноги. «Прости, говорит, выкинула!» — «Как же это ты так?» — «Оступилась», говорит. Побранил он

ее, да делать нечего. «Подождем, говорит, другого раза, авось тогда благополучно будет...»

В это время на Волге раздался всплеск воды, точно от мельничных колес, и гулко прошумел в барже, как в раковине, приставленной к уху. Чернобородый прислушался и надел картуз.

— Кажется, мой пароход? — спросил Казанский.

— Нет, это буксир...— ответил чернобородый и вышел из рубки.

Луна была уже высоко, туман по ту сторону рассеялся, но соловьи уже не пели. Было тихо и пахло водой, а там, где по Волге играл луч месяца, казалось, текла жидкая самоварная медь. Волоча за собою четыре громадные баржи и утопая кормою в воде, шел буксирный пароход и мигал зеленым и красным глазом.

— Чьи баржи? — крикнул ему в рупор чернобородый.

— Конопаткины!..— послышался голос с парохода.

— Беда!..— вздохнул чернобородый.— Все чужие люди, не с кем хозяину дать знать, что застряли... А там, гляди, вода упадет, и вовсе на берегу останешься... Уж который караван проходит мимо...

Постояли немного на палубе, проводили глазами буксир и вернулись обратно в рубку. Было холодно.

— Ну и что же ваш капитан? — спросил судебный следователь.

— Да все то же,— ответил чернобородый, усаживаясь на стул и громко зевая.— Все то же, милостивый государь. Как заладил, что хочу, мол, иметь детей, так и не дал жене ни дня покоя. Дома сидит — жену пилит, разведусь, говорит, а с караваном пойдет — все письмами одолевает. Такая уж охота иметь детей. И до того он, ваше высокородие, напугал жену, что, верите ли, как его ждать, так она сейчас вату и подкладывает. Только вот приезжает он на зиму домой и видит, что она его встречает в тягостях. От ваты, стало быть. Он опять радуется, как блаженный, и не отходит от нее прочь. «Теперь, говорит, у нас будет Суворов или Минин-Пожарский! А если дочь, говорит, родится, то мы ее за хорошего человека замуж выдадим». А она-то все больше да больше ватки подкладывает, а ему и лестно. Между тем стало дело близиться к родам. Баба опять на богомолье: пусти да пусти; а он ей: нет, брат, ша-

лишь, не пущу, а то ты там опять оступишься. Видит баба, что маху дала, что ничего тут не поделаешь, и ударилась к акушерке в заведение. Покаялась ей во всем, так, мол, и так, говорит, выручай, я тебя озолочу. Та себе на уме, быстро это дело обмозговала и говорит: спровадь куда-нибудь мужа на время, а уж мы это дело обделаем. Обрадовалась наша Машенька и давай придумывать, как бы это мужа куда-нибудь на недельку-другую сплавить? И надо же было так случиться, что в это самое время ему телеграмма из Нижнего: прибыть немедленно в контору для переговоров по делам службы. Собрался он тогда же в Нижний, а сам и наказывает жене: смотри же, береги себя, то да се, пятое да десятое, а в случае чего присылай мне в Нижний телеграмму: рожу, дескать, и больше ничего. Хорошо-с. Уехал он, а его супружница мигом к акушерке, и принялись обе за дело. А в ту пору у акушерки в заведении лежала одна деревенская женщина, по имени Федосья Норова, и ожидала приближения родов.

Нуте, так вот она, самая акушерка, и говорит Машеньке: посылай скорее к мужу телеграмму, что, мол, родишь. Машенька послала, и мигом муж тут как тут. Только что в дом, а в спальной-то, запершись с акушеркой вдвоем, сидит Машенька и орет благим матом: ой-ой-ой! Вроде как и на самом деле рожает. Муж стучится: отворите... Куда тебе! Знай себе орет! А тем временем акушерка распеленала Федосьиного ребенка, и как только он закричал, растворила перед мужем дверь и говорит ему: «Пожалуйте-с!» Он как оглашенный вбегает в спальню, прямо к жене, видит, акушерка стоит и ребенка салом смазывает. Раскис тут наш папашенька и голову потерял, не знает, к кому и податься: то к жене, то к ребенку, то к акушерке, а слезы-то так и текут. Достал красненькую бумажку и акушерке на чай подарил. Это, говорит, вам из любезности за благополучные роды. А ей-то что? Взяла да и ушла! Молока, конечно, у Машеньки не было, и пришлось нанять к ребенку кормилицу.

— Передайте челн!..— вдруг послышался голос с того берега.

— Что это? — вздрогнул Казанский.

— Тут недалече перевоз,— объяснил чернобородый,— так вот кличут, чтобы лодку с этого берега по-

дали... Часа по два кличут. Вчера одна бабка до полуночи кричала...

— Передайте че-е-елн!..— послышалось снова.

— Кричи!.. Авось подадут! — усмехнулся чернобородый и стал продолжать свой рассказ.— Только проходят девять дней, как является к нашему капитану Федосья Норова и требует себе назад ребенка. «Какого ребенка?» — «Этого самого!» — «По какому такому праву?» — «Я, говорит, его настоящая мать и только давала его акушерке на воспитание, пока по мне девять ден золотник ходил. А теперь, говорит, пожалуйте мне назад моего дитятю!» Капитан размахнулся да как даст ей по шее. Дитятю такого загнул, что она с лестницы кубарем покатилась. Она-то, не будь дура, да к прокурору, а прокурор, не будь дурак, да к судебному следователю. Начались спросы да расспросы, и угодила наша Машенька на скамью подсудимых за присвоение чужого ребенка, а акушерка с ней в компанию за соучастие. Судили их, голубушек, с присяжными заседателями, при полном параде, и я тоже был на этом деле присяжным. Тоже не левой ногой сморкаемся.

— Передайте че-е-елн!..— донеслось с реки.

— Нуте, — продолжал чернобородый, — началось разбирательство. Машенька все плакала, а акушерка сидела насупившись. Допросили, как водится, свидетелей, а какие тут свидетели, кроме самой Федосьи да капитана? Что Федосья ни скажет, а капитан все свое да свое: я сам, говорит, своими глазами видел, а ты все господ судей в обман вводишь. Позвали экспертов. Все наши знаменитые лекари были. Председатель их спрашивает: «Правда ли, что у Машеньки были роды четыре месяца назад?» А эксперты отвечают: «Никак нет, ваше превосходительство, потому что Машенька не только ни разу не рожала, но никогда рожать не может и впредь». А капитан стоит тут же да во все горло хохочет. «Доктора! — говорит.— Коновалы вы, а не доктора! Я сам своими глазами видел, а они мою Машеньку облыгают! Ничего они не понимают!» Так что даже председатель приказал приставу вывести его вон. Потом говорил прокурор, потом защитник, все чин чином, а затем сказал и сам председатель. «Вы, говорит, присяжные заседатели, слышали и то и другое, и сих, и

оных, и таковых, а потому, как вы скажете, так тому и быть».

— Передайте челн! — все еще слышалось с реки.

— Хорошо-с... Отправились мы в свою комнату и стали совещаться. Я, ваше высокоблагородие, понимал все так, как вот вам сейчас рассказал, а все другие присяжные рассуждали так. Кому принадлежит право оспаривать законность младенца? Мужу! Оспаривает ли он его? Нет! Ну, стало, младенец его! А ежели младенец его, то чего уж тут зря канителить? Нет, не виновна, да и баста! Вот и вся недолга! Я было на дыбы: что, мол, вы, братцы, делаете? разве можно так судить? А они мне: а ты разве светил, что ли? Так я и рукой махнул. Вынесли мы Машеньке и акушерке оправдательный приговор, и стал Федосьин ребенок законным капитанским сыном. Поплакала она, погоревала, да так с пустыми руками к себе на деревню и ушла. Только мы ее и видели.

Мужниного-то ведь права не переспоришь! Потому — собственность... Я так понимаю, ваше высокоблагородие, что дети в браке — это такая же собственность, как, скажем, имение или дом, а дети с ветру — это так себе, ни рыба ни мясо. Хоть имение и твое, а пока у тебя в кармане на него документов нет, все оно не твое. Так и с детьми. Оттого-то их девки и душат и в помойные ямы бросают. Вот хоть бы доведись до вас... Скажем, у вас двое ребят, свой и приемыш... И все-таки свой будет для вас свой, а приемыш будет хоть и свой, а все-таки словно чужой.

— У меня вовсе нет детей,— ответил Казанский.

— Так почему бы вам не взять себе ребеночка от той, которая его душит и убивает?

Судебный следователь замялся.

— Это дело хитрое...— сказал он.

— Вот то-то оно и есть! — засмеялся чернобородый.— Потому, что такой ребеночек будет для вас не собственный!

И, высунувшись в окно, он долго смотрел в него, а потом сказал:

— Ваш пароход идет!.. Вона показывает огни!..

Казанский взял портфель и вышел на палубу. Все было мокро от росы, и было сыро и зябко. Кругом стояла мертвая тишина, и только далеко-далеко, там,

где виднелись одни пароходные огоньки, раздавался шум колес и пыхтенье пара. Казанский поднял воротник и сошел с баржи в лодку.

— Уж погодите, ваше высокоблагородие,— обратился к нему чернобородый,— я сам вас на пароход доставлю.

И он стал зажигать фонарь.

Казанский сел на влажную скамеечку у кормы, а его спутник поставил на нос фонарь и взмахнул веслами.

Темная масса парохода, вся усеянная огоньками, подходила все ближе и ближе и, пока они доплыли до середины реки, была уже совсем недалеко. Чернобородый взял фонарь и замахал им в воздухе сверху вниз. На пароходе послышались голоса. И Казанскому показалось, что пароход сейчас разрежет их лодку пополам или же они попадут в его колеса и потонут в кипевшей под ними воде. Инстинктивно он схватился за портфель и прижал его к себе.

— Греби веселей! — послышался голос с парохода.

Чернобородый сделал два-три сильных взмаха веслами, и лодка вплотную пристала к пароходу и вместе с ним понеслась по течению. Чьи-то невидимые руки схватили Казанского под мышки и втащили на пароход.

— Вперед до полного! — послышался голос наверху.

— Вперед до полного! — ответило ему эхо в машине.

— Счастливого пути! — крикнул Казанскому чернобородый, но за шумом колес судебный следователь не услышал его и, закивав в пространство головой, вышел наверх.

По-прежнему светила луна, и уже далеко позади подпрыгивал по воде огонек: это лодка с баржи попала в волны от колес и ныряла то носом, то кормой.

«Зачем я ему не предложил на чай?..— подумал судебный следователь.— Впрочем, он, кажется, не из таких, которые берут».

И он долго ходил взад и вперед по палубе. Он привык ездить на пароходах и чувствовал себя на них гораздо лучше, чем у себя дома. Да его и не тянуло домой. Все равно он не застанет жены, все равно к нему не выбегут навстречу дети. И кто знает: быть может, если бы у него были дети, то и его жена не скучала

бы так в провинции и он сам не бежал бы так из дому?

И ему страстно вдруг захотелось иметь детей. Да, это животворящее начало в каждой семье, для которого люди живут, учатся, изобретают, умирают на баррикадах. Разве, в сущности, не для детей?

Ему подали селянку на сковородке, он выпил три рюмки водки, раскис и стал воображать себе, как он вернется сейчас домой и как жена встретит его с озабоченным взглядом и скажет:

«Ты знаешь, у нашего Коли сегодня с утра жарок, и я дала ему касторки».

Он тоже отнесется к этому серьезно и тоже с озабоченным видом отправится прямо из передней в детскую.

«Разве взять на воспитание? Рискнуть? — подумал он.— Чем черт не шутит!»

Но самая мысль об этом испугала его.

«Нет, нет! — продолжал он думать.— Пожалуй, еще возьмешь врожденного преступника или идиота. Возись тогда с ним!»

«А если бы преступником или идиотом оказался твой собственный сын?» — спросил его внутренний голос.

«Мне было бы это очень грустно,— мысленно ответил на него Казанский,— но — что делать? — то был бы свой, а не чужой!»

Казанский усмехнулся, выпил еще рюмку водки и проговорил:

— Какой я еще, в сущности, чернобородый.

И, расплатившись за селянку, он сошел к себе в каюту и улегся спать.

СЕСТРА

Наташа зашла к повару, взяла у него кое-что из съестного, завернула в газету и, боясь, чтобы ее не задержал отец, вышла на улицу. По дороге она купила в лавке две коробки конфет, положила в каждую из них по рублю и пошла к брату.

Был вечер, навстречу ей шло с поля стадо и подымало по улице пыль. Наташа боялась коров и шла, прижавшись к заборам, и ей казалось, что вот-вот они бросятся на нее и поднимут на рога. Она понимала, что это вздор, что этого не может быть, но боялась коров так же безотчетно, как и грозы. Над нею то и дело свешивались из-за заборов ветви сирени, бывшей в полном цвету, и этот запах пыли, сирени и парного молока, которым пахло от коров, производил на нее хорошее, весеннее впечатление. Она была молода, здорова, красива собой, знала это, и ей было несколько неловко, что она шла с неуклюжим свертком и что могла встретить знакомых. В городском саду играла уже музыка, и слышно было, как гудели басовые трубы. Сегодня вечером, попозже, за ней обещали зайти офицер Березин с сестрой, чтобы повести ее в сад, и потому она спешила и боялась опоздать.

Брат Наташи, Николай, жил на самом краю города, там, где обитали бойники и кузнецы и где заборов и пустырей было больше, чем домов. Наташа боялась этих мест, не любила видневшегося кладбища с его грустными воротами и оградой, из-за которой выглядывали белые кресты, не любила и кузниц, в которых всегда горел огонь и всегда стучали молотками. Отец

запретил ей бывать у брата, находя предосудительным для девушки ее лет ходить одной по окраинам города, и когда она ходила к Николаю, к страху перед отцом всегда примешивалась боязнь этих кузниц и кладбища.

Когда она постучалась к брату, ее встретила женщина с короткими волосами, грязно и бедно одетая. Это была жена Николая. Отец не мог простить сыну того, что он, генеральский сын, пошел в простые рабочие, а главное, что женился на этой женщине, от которой имел двух детей, Борю и Федю, и выгнал из дому и лишил поддержки. Это убивало Наташу, и она чувствовала себя перед братом почему-то виноватой.

— А Коли нет...— сказала женщина.— Он пошел на вокзал. Войдите, он скоро придет...

Наташа всегда краснела, когда встречалась с ней, и всегда испытывала неловкость, когда не заставала брата дома.

— Вот это вам...— сказала она и передала ей сверток с едой.— Пригодится...

— Благодарю вас...— ответила женщина и тоже покраснела.— Коля пошел на вокзал... Там рассчитывают рабочих, так он боится, чтобы не рассчитали и его. Не приходил с утра...

Обе вместе вошли в дом. Два мальчика играли в углу картонными коробками и при виде тетки тоже как будто испытали неловкость. Их рваные, заплатанные штанишки, грязная одежда матери и бедность кругом стали как-то заметнее, когда вошла к ним Наташа и внесла с собою запах духов и шелест шелкового платья. Они недоверчиво подошли к тете и взяли от нее конфеты.

— Ну протяните ручку тете!..— сказала мать.— Боря, шаркни перед тетей ножкой!.. Федя, что ж ты?

И, увидев в коробках серебряные рубли, она опять покраснела и застыдилась.

— Зачем вы беспокоились, Наталья Сергеевна?..— сказала она.— Нам и так, право, неловко...

Потом посидели обе в смущении и не знали, о чем говорить. Если бы был дома брат Николай, то Наташа заговорила бы с ним об отце, о нем самом, о знакомых, а с этой женщиной у нее не было ровно ничего общего. Ей было жалко ее, этих ребятишек и брата, и чем больше ей становилось их жаль, тем сильнее испытывала

она чувство виновности перед ними за жестокость отца и за то, что сама она жила в богатом доме, с горничными, швейцаром, поваром и лакеем. И если бы отец не требовал от нее, чтобы она нарядно одевалась, и не давал ей на руки так мало денег, то она с охотою экономила бы на туалетах и все отдавала бы этой несчастной семье. И, не зная, как поступить, дожидаться ли брата или уходить, она поднялась с места и стала мять в руке двадцатипятирублевую бумажку, которую приготовила для Николая.

— Посидите...— обратилась к ней хозяйка таким тоном, в котором не было уверенности, что Наташа останется и посидит.

— Нет, уж пора...— ответила Наташа.— Дома папа ждет, да и зайти за мной обещали...

И, все еще не зная, как поступить с бумажкой, она покраснела, опустила глаза и сказала:

— Анна Петровна, будьте добры... Передайте это Коле, но так, чтобы он не обиделся...

— Благодарю вас...— ответила Анна Петровна.— Только едва ли он возьмет... Ведь вы знаете, какой он!

И, взяв от Наташи деньги, она потянулась к ней и поцеловала ее в губы.

Она курила, и запахом табака пахнуло Наташе прямо в рот. Наташе хотелось сплюнуть, но было неловко, и эти короткие волосы, эти гнилые зубы и курение показались ей жалкими, недостойными ее брата, с которым она вместе росла и уму которого так привыкла удивляться.

И, поцеловав Борю и Федю, она простилась и вышла от брата.

Солнце уже зашло, в кузницах по-прежнему горел огонь и стучали молотками, и, стараясь не глядеть на кладбище, в котором стало так темно и уныло, она быстро-быстро пошла домой.

Несмотря на дальность расстояния, из городского сада доносилась музыка, и Наташу вдруг потянуло туда, где она уже не увидит этих длинных заборов, этих убогих домишек и этих оборванных мальчиков, которые играли посреди улицы в бабки.

«И что он в ней нашел? — думала она о брате и невестке.— Он, такой умный, благородный, красивый, и она — такая... такая безобразная и неряха!»

Но эти ее мысли показались ей рассуждением сытого человека, и ей сделалось стыдно за себя и за отца, и, опустив глаза, она пошла еще быстрее.

Когда она пришла домой, ее отец сидел в столовой один, в халате, и пил эмс. Лицо у него было хмурое, осунувшееся, и видно было, что ему было не по себе. При первом же взгляде Наташа поняла, что у него опять начались его обычные припадки печени, вслед за которыми он всегда страдал от астмы.

Она подошла к нему, поцеловала его в лоб и погладила его по голове.

— Ты, папа, опять нездоров? — спросила она.

Он поймал ее руку, поцеловал и ничего не сказал.

Затем оба молча сидели за столом. Ей ужасно хотелось рассказать ему, где она была, что видела, как бедно живет ее брат, и попросить отца простить его и позволить ему переехать в их большой дом, в котором было столько пустых комнат, но она знала, к чему это поведет, и не поднимала об этом разговора. После чая генерал закурил сигару, пошел к себе в спальню и лег. Поняв, в чем дело, лакей на цыпочках прошел через столовую в кабинет и стал говорить по телефону с врачом.

Пришли штабс-капитан Березин с сестрой, ласковые, надушенные, веселые. Наташа любила, когда они приходили. Лишившись матери с детства, она не имела около себя близких людей, и ей казалось, что ближе Березиных для нее не было никого. С ними она ходила в театр и в городской сад, и если бы не они, то ей пришлось бы безвыходно сидеть дома.

— Ну, живо, живо!..— заговорил Березин.— Идемте в сад! А то будет поздно!..

Она не решалась, так как заболел отец, но Березины настаивали, да и ей самой очень хотелось. Она вошла к отцу. Он лежал на диване, курил, но по выражению его лица она поняла, что ему было очень нехорошо.

— Папа, я пойду в сад...— сказала она.— Можно?

— Ах, да иди, пожалуйста!..— ответил он с сердцем.— Точно я ее никогда не пускаю!

Она вышла к Березиным, и после этого ответа у нее уже вовсе не было охоты идти. Она знала, что теперь всю ночь ей придется просидеть около отца, ставить ему припарки и слушать его стоны. Несмотря на то что в

доме было много прислуги, генерал любил, чтобы во время припадков печени за ним ухаживала его дочь, и не допускал к себе никого.

— Идите, господа, одни...— сказала она.— Папа болен... Мне неудобно...

Но Березины ничего не хотели слушать и почти силою повели ее в сад.

Она шла рядом с штабс-капитаном, и ей было приятно, что около нее шел этот изящный, умный офицер с такой могучей мускулатурой и в таком белом, точно фарфоровом, кителе. Впереди них, такая же изящная, шла ее подруга по гимназии Лиза, сестра штабс-капитана. Когда-то она была влюблена в брата Наташи, Николая, когда тот еще не уходил в народ, и это сблизило ее с Наташей. И теперь, когда они шли в сад и когда Наташа еще не могла отделаться от впечатления, которое вынесла от посещения брата, ей казалось странным, как это ее Николай мог так равнодушно отнестись к Лизе и предпочесть ей такую некрасивую женщину и почти старуху, как Анна Петровна.

«Вот и Жорж, вероятно, женится на такой же неинтересной,— подумала она про штабс-капитана.— Все мужчины одинаковы».

И эта мысль почему-то испугала ее. Ей хотелось плакать, она разнервничалась и всю дорогу молчала.

— А Наталья Сергеевна сегодня не в своей тарелке! — трунил над нею Жорж.— Интересно видеть ту муху, которая ее укусила.

Вот и городской сад. Сквозь решетку видны дорожки, посыпанные песком, и оттого, что они были политы, пахло свежестью, как это бывает от только что вымытых некрашеных полов. У главного входа, около самого тротуара, двое рабочих починяли газовый фонарь и копали ломом землю: один держал вертикально лом, а другой со всего размаха ударял по нему тяжелым молотом. Так и казалось, что вот-вот он промахнется и ударит молотом товарища по плечу.

— Это Николай Сергеевич! — сказала Лиза и покраснела.

Услышав свое имя, махавший молотом рабочий поднял голову, и лицо его радостно просияло. Это, действительно, был Николай. Он вылез из ямы, отер пот, круп-

ными каплями выступивший у него на лбу, и подошел к сестре.

— Здравствуй, Наташа! — сказал он и поцеловал ее в губы.— Здравствуйте, господа!

Проходившие мимо люди оглядывались на них, и Наташе было неловко, что они могли иначе объяснить себе этот поцелуй ее с простым рабочим.

— А я была сегодня у тебя...— сказала Наташа.

— Знаю, знаю...— ответил Николай.— Ты только что ушла от нас, а я и пришел.

— Ты все еще на вокзале?

— Нет, рассчитали! Теперь поступил на газовый завод.

И, вытащив из-за пазухи захватанный конверт, он протянул его сестре.

— Я хотел прямо отсюда пойти к тебе,— сказал он и опустил глаза,— да вот неожиданно встретил тебя здесь. В таком случае возьми, пожалуйста, вот это письмо к тебе от Анюты.

Она машинально взяла от него конверт и положила его к себе в сумочку. Затем постояли немного, помялись и, не зная, о чем больше говорить, стали прощаться. Он опять поцеловал сестру в губы, пожал Березиным руки и полез к себе в яму. Они вошли в сад и смешались с толпою. Играла музыка, шумели платьями нарядные дамы, но Наташе казалось, что она все еще слышит эти ужасные удары молота о лом, и ее сердце сжималось, точно это колотили не по лому, а прямо ее по груди.

Сделав два-три тура вокруг беседки с музыкантами, Березины встретили знакомых и разговорились с ними. Наташа воспользовалась этим, достала из сумочки конверт и распечатала его.

В нем оказался двадцатипятирублевый билет.

Что-то кольнуло ее в самое сердце, и в глазах у нее вдруг все запрыгало и заволоклось туманом. Но она сделала над собою усилие и, разорвав конверт вместе с двадцатипятирублевой бумажкой, скомкала обрывки и сунула их обратно в ридикюль. А потом ей стало стыдно своего поступка, и она ходила по саду, злясь на себя, и мысленно повторяла:

«Как это глупо! Боже мой, как глупо! Точно нет бедных, кроме этих гордых дураков!»

Когда Наташа вернулась из сада, отец ее громко стонал. Был доктор и прописал то же, что и в прошлые разы; но это мало помогало. Самый припадок продолжался всегда не более двух суток, и Наташа знала, что тут ничего не поделаешь и что если выждать эти два дня по возможности безропотно и кротко, то все обойдется к лучшему, только бы не было астмы. И она всю ночь не смыкала глаз, сидела около отца и часто меняла ему припарки. К утру старик заснул, но потом вдруг сразу проснулся, вскочил с постели, с выражением ужаса на лице забегал по комнате и, держась обеими руками за грудь и задыхаясь, стал метаться из стороны в сторону, как загнанный зверь. Казалось, всего воздуха комнаты ему не хватало, чтобы вздохнуть, и он бросился к окнам и растворил их настежь. Затем он обессилел и, весь мокрый от выступившего на нем холодного пота, лег опять на постель и застонал так, что было жалко его слушать.

— Умираю...— еле смог он произнести.— Конец... Пошли за священником!..

Наташа испугалась, разбудила лакея и не знала, что ей делать. Старик кричал на все комнаты, лакей никак не мог понять, чего от него хотят, и если бы тут был брат Николай, то Наташа не чувствовала бы себя так одиноко.

— Священника...— шептал генерал побледневшими губами.— Скорее... Умираю...

Она склонилась к отцу. Слезы текли у нее ручьями по щекам.

— Папа,— сказала она,— позволь послать за Колей?

Он сверкнул на нее глазами.

— Нет...— прошептал он.— Нет... Не надо... Не хочу... Умираю...

— Прости его, папа...— умоляла она.— Пора...

И она зарыдала и упала головою ему на край кровати.

Он положил ей руку на голову и не ответил ни слова. Так просидела она около него с десять минут.

Ей показалось затем, что рука его вдруг похолодела, она вскочила и в ужасе посмотрела на отца. Он лежал бледный, с закрытыми глазами и уже не двигался и не стонал.

— За доктором! — закричала она.— За доктором! Он умирает.

Лакей бросился к телефону, все в доме поднялись, засуетились, и когда явились доктор, священник и Николай, то генерала уже не было в живых. Звонили к ранней обедне, было холодно, дул ветер, и никому и в голову не приходило затворить окна, которые растворил во время припадка покойный.

Приходил пристав, описал все имущество, выдал квитанцию в полученном за это гонораре и ушел. И когда похоронили генерала и Наташа возвратилась с кладбища домой, то все ей показалось дома пусто и уныло, и было страшно оставаться одной. Николай тогда же ушел к себе на завод и затем домой, и если бы не штабс-капитан Березин, взявший на себя труд распорядиться похоронами и затем распустить прислугу, и не Лиза, которая хлопотала у Наташи, как хозяйка, то бедной девушке пришлось бы туго. Дня через три, с возможной осторожностью, Березин заговорил о наследстве. Все в доме были уверены, что наследником будет Николай как единственный сын покойного, но когда к нему послали сказать, чтобы он переезжал с семьею в отцовский дом, принял на себя хозяйство и начал хлопоты в окружном суде, то он коротко ответил:

— Мне не нужно ничего.

Это обидело Наташу, она плакала и считала невеликодушным, что он весь дом взвалил на ее плечи. Когда же стали приводить в порядок бумаги отца, то в его письменном столе нашли пакет, адресованный на имя Наташи. Дрожащими руками она распечатала его, нашла в нем духовное завещание и, к своему ужасу и удивлению, узнала из него, что все свое движимое и недвижимое имущество покойный генерал завещал ей, своей дочери, минуя сына Николая. При этом он ставил условие, чтобы после своей смерти Наташа все передала не брату, а пожертвовала в монастырь.

— Как это жестоко! — залилась она слезами.— Какой тяжкий грех!

И она плакала, плакала без конца, и ей казалось, что она украла у своего брата наследство и что все люди смотрят на нее теперь как на воровку, как на дочь, подладившуюся к отцу, чтобы получить от него наследство.

Узнав о завещании, ее брат стал держать себя как-то гордо, высоко поднял голову, а может быть, ей это только так казалось, и по-прежнему повторял, что он не ожидал от отца ничего и потому очень рад за сестру. И в то время, когда все ее знакомые высказывали ей удовольствие, что она теперь самая богатая невеста в городе, штабс-капитан стал вдруг как-то холоднее относиться к ней, перестал у нее бывать, и это ее мучило, и только теперь она поняла, чем он был для нее до сих пор.

«Что с ним? — думала она.— Отчего он так переменился?»

По целым часам она ходила из угла в угол по пустынным комнатам и все думала о брате и штабс-капитане, и хотелось бежать из дома, который теперь принадлежал ей, и не есть этого хлеба, который казался чужим.

Ах, что бы теперь она дала за то, чтобы к ней посватался Березин и взял ее отсюда к себе!

Как-то пришла Лиза навестить подругу. Из уважения к горю Наташи, она надела на себя траур и казалась в нем еще моложе и красивее. Она тоже держала себя как-то странно, но потом, когда разговорились, она бросилась Наташе на шею, и обе горько поплакали.

— Лиза, отчего твой брат переменился ко мне? — робко спросила Наташа и опустила глаза.

Лиза вспыхнула, затеребила вуаль и нагнулась над ридикюлем.

— Да знаешь ли...— ответила она и еще больше покраснела.— Он дорожит твоим мнением и боится, как бы ты не подумала, что он близок с тобою только потому, что ты стала богатой.

Это обидело Наташу, но в то же время слова Лизы были для нее откровением, и ей было приятно, что Жорж не ходил к ней именно потому.

— Какие глупости! — сказала она.— Передай ему, что, во-первых, все это не мое и я должна все в целости сохранить для монастыря!

— Ну это вполне зависит от твоего желания! — сказала Лиза.

Наташа сердито посмотрела на нее.

— И ты думаешь,— ответила она,— что воля отца для меня не священна? Что я не исполню его воли?

— Полагаю, что гораздо нравственнее воспользоваться всем самой или же передать тому, кто действительно нуждается, например, хотя бы твоему брату Николаю... А монастырю на что?

Наташа и сама была такого же мнения, не исполнить же завещание казалось ей грехом и профанацией воли покойного, какою бы странной ни казалась эта воля. И чтобы положить таким разговорам конец, она провела рукой по волосам и решительным тоном сказала:

— Воля отца будет исполнена во что бы то ни стало, а теперь давай прекратим об этом разговор!

Недели через две после этого пришло утверждение в правах наследства. Наташа тотчас же отделила половину процентов с капитала, причитавшихся ей на жизнь и содержание дома, и послала ее детям брата. Николай обиделся и вернул ей эти деньги. Она почувствовала, как вдруг что-то подкатило ей к горлу.

— За что?.. За что?..— повторяла она.— За что?..

А когда она успокоилась, ей уже казалось, что у нее с братом отношения порваны навсегда и, что бы он теперь ни предпринимал, ему уже никогда не восстановить той связи, которая с самого детства существовала между ним и сестрой. Но по мере того как она думала о нем, перед ней до мельчайших подробностей возникали картины тяжкой бедности его семьи и его самого, и он представлялся ей упавшим безнадежно.

Ей казалось, что если она насильно, против его воли, не передаст ему того, что принадлежало ему по праву как единственному сыну, то она будет тяжкой грешницей и не простит себе этого никогда.

Она села за стол и написала брату письмо.

«Милый Коля,— писала она.— Зачем ты меня мучишь? Ведь я знаю, что вы нуждаетесь, что у твоих детей не всегда бывает молоко. Если ты не хочешь простить покойному отцу его отношения к тебе, то неужели же ты не можешь понять, что теперь его деньги — мои и что я имею полное право распорядиться ими, как хочу. Не мешай же мне помогать твоим детям и твоей жене. Это эгоистично с твоей стороны».

На это он ей ответил:

«Дорогая Наташа, неужели ты не понимаешь, что вся поэзия свободного физического труда в том именно и состоит, чтобы быть свободным от всякой собствен-

ности, жить только настоящим, не иметь обеспеченным завтрашнего дня и, следовательно, каждую минуту иметь право возмущаться, презирать, требовать, если придется — сражаться на баррикадах? Не лишай же меня моей свободы и не навязывай мне того, от чего я ушел добровольно».

Эта переписка открыла ей то, что она до сих пор не знала: что в уходе брата из их дома отец был виноват менее, чем она предполагала, и что у Николая была своя теория, которой он держался так же упрямо, как упрямо отец не давал ему своего прощения и не пускал его к себе на глаза.

Но это не успокоило ее, и она стала подыскивать способ, как бы помимо брата обеспечить судьбу его детей, но так, чтобы их мать могла расходовать деньги немедленно и чтобы Николай не имел возможности лишить их этих денег. Она положила на имя Бори и Феди по девятисот рублей в сберегательную кассу и книжки на эти вклады послала их матери. Но, по праву отца, Николай взял деньги из кассы и возвратил их обратно Наташе.

Это ее обидело, ей хотелось вспылить, наговорить ему дерзостей, затопать на него ногами. Но в то время, когда он возвращал ей эти деньги, у нее сидели в гостях Березины, и ей было неловко проявлять при них свой характер.

— Охота тебе связываться с ним,— сказала ей Лиза, когда Николай ушел.— Не хочет, и не надо!

— Тебе легко рассуждать,— ответила ей Наташа,— но если бы ты была на моем месте и видела бы ту ужасающую бедность, в которой живет его семья, то и ты поступала бы не иначе. На него уж я махнула рукой, но мне жаль его несчастных, оборванных ребят... И притом это сознание, что я пользуюсь всем с избытком, имею лишнюю прислугу и целый пустой громадный дом, тогда как они гниют где-то там около кладбища на валах, отравляет мое существование, и мне хочется бросить все и бежать отсюда без оглядки.

Жорж подошел к ней и пожал ей руку.

— Не волнуйтесь,— сказал он,— все обойдется. Я глубоко вас понимаю.

Наташа отошла в сторону, стала у окна и, глядя в сад, задумчиво произнесла:

— Ах если бы завещание отца было признано недействительным!

— Для этого ему следовало бы быть самоубийцей...— также задумчиво ответил Жорж.

Наташа вздрогнула.

— А разве завещания самоубийц не действительны? — спросила она.

— Сколько знаю, да...— ответил Жорж.

— Вы в этом уверены?

— Прочтите десятый том Свода законов!

— И если бы отец, положим, застрелился, то все досталось бы Николаю?

— Ну, конечно!

— И он не мог бы тогда отказаться?

— От родового отказаться нельзя, в особенности, когда имеешь детей...

— Отчего этого не получилось? — произнесла она.— Какое бы это было счастье!..

Лиза строго взглянула на нее.

— Наташа! — воскликнула она.— Что ты говоришь? Опомнись!

Наташа спохватилась, приняла руки от висков и покраснела.

— Я и сама не знаю, что говорю...— сказала она.— Господи, прости меня!

Затем долго молчали, и когда Березины простились с ней, то у обоих было скучно на душе.

— И через золото слезы льются...— грустно сказал штабс-капитан, когда они вышли из дома.

— Да...— протянула Лиза.— В особенности с такими нервами, как у Наташи!

— Это не нервы, а мышление честного, благородного человека!

— Ты в нее влюблен?

Березин ничего не ответил, и оба молча продолжали путь.

Был вечер, пахло белой акацией, по обыкновению, в городском саду играла музыка, но в воздухе что-то повисло, было как-то тяжело, и не было желания ни мыслить, ни говорить. Хотелось дождя.

Дня через два Наташа отправилась к брату. Она не была у него уже недели три, с тех самых пор, как он возвратил ей деньги, положенные ею на имя его детей.

Она на него дулась за это, но желание помочь его семье и взглянуть, как они живут, взяло над нею верх, и она собралась и пошла. Стояла засуха, пыль облаками носилась по улицам, и на деревьях от зноя стали желтеть листья. Она шла, наклоняя голову, чтобы пыль не попадала ей в глаза, и закрываясь зонтиком от ветра. Но песчинки скрипели на зубах, и это было неприятно. Ветер дул ей прямо в лицо, сгонял всю юбку назад, и ей трудно было идти.

«Какая неприятная погода! — думала она.— Зачем мой отец поселился здесь, где такой нехороший климат?»

И она стала думать о том, что если бы Жорж сделал ей предложение и она вышла бы за него замуж, то они переехали бы на жительство туда, где нет таких ветров, где растут леса и высокие деревья и где идут тихие, благодатные дожди. Она представляла себе, какою она будет женою для Жоржа, как будет уютно у них в квартире и как вся их жизнь будет представлять собою нечто тихое, красивое, изящное... И чем сильнее дул ей навстречу ветер, тем пламеннее было в ней желание уехать из этого города и начать новую жизнь.

Но вот и дом брата. Она входит в него. Брата, по обыкновению, нет дома: он на заводе. У русской печи стоит его жена и, вся красная от палящей жары, худыми руками держит ухват и что-то устанавливает им в глубине. Должно быть, это что-нибудь очень тяжелое, потому что мускулы на ее руках напряглись и спина согнулась и стала похожей на рыбью. Пахнет мылом и содой, как после стирки белья. Тут же на полу сидят два мальчика, Боря и Федя, сильно осунувшиеся и похудевшие, макают хлеб в воду и едят. Глаза у них воспалены, опухли, и от того, что белки налились кровью и стали красны, их лица кажутся хмурыми и злыми.

— Здравствуйте,— говорит Наташа.— Как поживаете?

Боря вскакивает с места, бросает хлеб и, весь скорчившись в дугу и тяжело переступая ножками на одном месте, со свистом втягивает в себя воздух и затем начинает долго и беспрерывно кашлять. Глядя на него, Федя делает то же, и оба, бедняжки, покраснев как раки, задыхаются от кашля до тех пор, пока из носов у них не показывается кровь и пока не кончается все рвотой.

— Вот так, что ни съедят,— говорит Анна Петровна,— все и вырвут!

— Что с ними? — в ужасе спрашивает Наташа.— Бедные дети!

Анна Петровна ставит в угол ухват и, вся красная, в бессилии опускает руки.

— Не могу...— говорит она.— Сил больше не хватает...

— Что с детьми? — спрашивает Наташа.

— Коклюш...— отвечает Анна Петровна.— Замучились все...

— Что же доктор? Посылали за доктором?

Вместо ответа Анна Петровна бросается Наташе на шею и начинает рыдать, как дитя. Ее Боря и Федя снова принимаются кашлять, и поднимается невообразимый хаос звуков, от которого на душе у Наташи становится скорбно и тяжело, и она тоже начинает плакать...

— Ведь я кончила гимназию...— всхлипывает Анна Петровна.— Если бы вы знали, как тяжела для меня эта жизнь! Николай увлечен общим делом, как фанатик, ничего не хочет знать, но ведь я женщина, у нас есть дети, а им не на что купить молока... Я сознаю, что он прав, что всем нам надо жертвовать собою, страдать, но у меня такая мелкая, такая слабая душа... Ах, боже мой, боже мой!.. Такую ли он ждал во мне жену!..

И она снова начинает рыдать, и ее дети опять вторят ей своим ужасным, надрывающим душу кашлем.

Наташа не может дольше оставаться у них и отправляется домой. Теперь уж ветер дует ей в спину, ей легко идти, и она не замечает, что солнца уже нет и что сзади нее поднимается из-за горизонта темная туча, и молнии вспыхивают на ней то в одном, то в другом конце.

«Чем бы им помочь? — думает Наташа дорогой.— Как бы спасти их от нищеты? Господи, помоги мне, научи меня! Ведь и я так же права, как и Николай!»

Она пришла домой, сняла с себя шляпку и, усталая, присела к столу и опустила голову на локти.

А тем временем пыль вихрями пронеслась по улицам, деревья зашумели, раздалось хлопанье калиток, и тяжелые капли дождя одна за другой забарабанили по крыше. В комнатах потемнело, точно к ночи, молнии

вспыхивали во всех окнах, дождь полил как из ведра, и гром гремел так, точно хотел разрушить город.

Наташа поднялась со своего места и, вся съежившись от страха, прислонилась к стене. Она была во всем доме одна, хотела крикнуть прислуге, но голос отказывался ей служить, хотела бежать, но ноги ее не несли. Она стояла, прижавшись к стене, и ей казалось, что она сейчас погибнет и что семья брата останется без нее ни с чем. А молнии сверкали уже беспрерывно, и гром перешел в один сплошной, неумолимый рев.

Сумасбродная мысль вдруг пришла в голову Наташе. Она вспомнила слова Жоржа о завещании самоубийц и, полная страха, бросилась к себе в будуар, достала из шкафа свое духовное завещание, по которому все должно было перейти к монастырю, и положила его на стол. Затем она побежала в кабинет отца и в целой массе пузырьков, оставшихся после его болезни, разыскала морфий и дрожащими руками поднесла его ко рту...

И теперь, когда все уже было сделано, она возвратилась к себе в будуар, написала записку с просьбой никого не винить в ее смерти и положила ее рядом с завещанием на стол.

Теперь все достанется не монастырю, а брату, и он уже не посмеет отказаться от наследства, так как оно теперь родовое и все равно перейдет к его детям...

«Я исполнила волю отца...— думала она.— Я завещала все монастырю...»

Раздался стук калитки, послышались чьи-то шаги, и, весь мокрый, с росинками на усах и бороде, к ней в будуар вошел Березин.

— Вы одна, Наташа,— сказал он.— Вы боитесь грома... Лиза послала меня к вам, чтобы вам не было страшно...

И, увидев ее, сидевшую у стола, он взял ее за руку.

Гроза уже проходила, молния сверкала реже, и в сумерках он не видал того, что лежало на столе.

— Natalie,— сказал он, и голос его задрожал.— Будьте моей женой! Вы богаты, я беден, но я люблю вас и дорого бы дал, чтобы вы тоже были бедны!

Она улыбнулась, подняла на него глаза, ей хотелось сказать ему, что она уже бедна, что все принадлежит уже не ей, а Николаю или его детям, но она почувст-

вовала вдруг, как руки и ноги у нее похолодели и как замерло вдруг сердце. А затем у нее в глазах все позеленело, она хотела открыть рот, чтобы просить о помощи, но голова ее безнадежно свалилась на грудь, и всем телом она съехала со стула на пол...

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Иванов знал, что его брат Григорий, ссыльный, бежал с каторжных работ. Мать наводила о сосланном справки, и знатоки тюремного дела сообщили ей, что в этом еще радости мало, так как, по всей вероятности, он попался в руки стариков. Едва только молодого арестанта, сказали они, привозят на Сахалин, как старые каторжники подговаривают его бежать, разводят перед ним турусы на колесах, а затем по дороге отнимают у него деньги, убивают его и возвращаются назад. И все такие исчезнувшие новички официально числятся в бегах. Вот почему уже восьмой год мать не получает от сына никаких известий. И если бы он был жив, то, наверное, дал бы о себе знать. И она поверила в то, что говорили ей знатоки, записала раба божия Григория в святцы и каждое воскресенье в церкви подавала о нем за упокой.

В ту ночь, когда его арестовали жандармы, его жена только что произвела на свет сынишку Витьку, и Ивановым стоило больших хлопот, чтобы об обыске и об аресте не узнала тогда же роженица. Теперь Витьке шел уже восьмой год, а Анна Федоровна так и осталась соломенной вдовой.

Чтобы избежать сплетен, пересудов и сожалений, Ивановы тогда же переехали на жительство в другой город и с тех пор жили все вместе в одной квартире.

Однажды вечером Иванов и Анна Федоровна были с знакомыми в театре, а затем отправились поужинать в ресторан. Когда лакей подавал им второе блюдо, случилась неприятность. Зазевавшись на что-то, он заце-

пился локтем за спинку стула, на котором сидел Иванов, и вылил весь соусник ему прямо на сюртук. Все бросились помогать Иванову, началась суматоха, и в конце концов вышел сам содержатель ресторана, извинился перед Ивановым, а лакею тут же, при всех, резко сказал:

— Убирайся вон! Ты у меня уже больше не служишь!

Иванову было жаль сюртука и в то же время было жаль и лакея, который должен был теперь остаться без места. Было неприятно, что пришлось обратить на себя внимание всего ресторана, считавшего его жертвою нерасторопности лакея; к тому же и соус стал проникать к самому телу. Ивановы не доужинали и уехали домой.

— Такая досада!..— вздыхал по дороге Иванов.— Как нарочно, надел сюртук новый. Ты не знаешь, Нюся, бензином оттереть можно?

— Простофиля...— в свою очередь ворчала Анна Федоровна.— Нужно же быть таким неуклюжим! Хорошо еще, что не на голову!

Часа полтора потом оба оттирали бензином сюртук, но ничего из этого не вышло. Решили отдать его в чистку.

Наутро кухарка доложила Иванову, что его спрашивает какой-то человек. Иванов вышел в кухню и увидал вчерашнего лакея. Он тяжело дышал, вероятно, оттого, что поднимался по лестнице, и, опустив глаза, вертел в руках шапку.

— Я пришел извиниться перед вами, господин...— сказал лакей, не поднимая глаз.— Конечно, не то мне досадно, что я лишился места, а то, что испортил вам сюртук. Так уж случилось... Очень прошу вас, господин, извините меня.

Он говорил это мягким, задушевным тоном, и в его голосе и манерах чувствовалась известная воспитанность. Было видно, что и самому ему было неприятно, что так случилось.

— Что ж делать? — ответил ему Иванов.— Надо быть впредь осторожнее, а сделанного уж не воротишь!

Лакей склонил голову набок, еще быстрее завертел шапку в руках и густо покраснел.

— Мне бы...— сказал он, и голос его задрожал.— Мне бы хотелось также извиниться и перед барыней... Могу я их видеть?

Иванову показалось это нескромным.

— Нет, зачем же? — ответил он.— Впрочем, я передам ей ваше извинение!

И, не дожидаясь, когда лакей уйдет, он сам вышел из кухни.

«Где я его встречал? — подумал он.— Точно лицо его мне знакомо!»

И, решив, что он видел его где-нибудь раньше в какой-нибудь гостинице или ресторане, он скоро о нем позабыл.

Только вечером, ложась спать, он вспомнил о нем снова.

«Как он узнал, кто я такой и где я живу? — подумал он.— Ведь я в этом ресторане всего только во второй раз в жизни!»

И ему припомнилось, как кто-то сказал ему, что среди ресторанной прислуги часто попадаются шпионы.

«Может быть, и шпион!» — решил он и лег спать.

На другой день после обеда горничная доложила ему, что его спрашивает какой-то Арбузов. Иванов лежал на диване и дремал. Спать после обеда было не в его обыкновении; он вскочил и виновато стал оправлять на себе костюм.

— Просите! — сказал он.

Вошел небольшого роста приличный господин с очень печальным лицом.

— Арбузов,— отрекомендовался он.— Простите, что, не имея чести быть с вами знакомым, осмелился вас беспокоить. Позвольте присесть!

Он сел и стал тяжело дышать.

— Что скажете? — спросил его Иванов.

Арбузов безнадежно махнул рукой.

— Да такое, знаете ли, случилось,— ответил он,— что, в сущности говоря, и сказать стыдно. В прошлом году схватили моего сына за политические дела и сослали на каторгу. И вот уже целый год, как я и бедная мать не знаем о нем ровно ничего. Ни единой строчки. Истомились душою. Верите ли, не спим по целым неделям... Единственный сын...

Он вытащил платок и вытер им глаза.

— И вот я узнал,— продолжал он,— слухом земля полнится, что и у вас такая же история. Ваш братец, говорят, тоже на Сахалине... Будьте такие добрые, умоляю вас, протяните руку помощи! Если вы имеете с вашим братцем переписку, то не откажите попросить его, чтобы он собрал там на месте справочки о моем сыне и дал вам знать. Семен Алексеевич Арбузов, двадцати трех лет, ссыльнокаторжный, православный... Сделайте такое одолжение! Заставьте вечно бога молить!

Иванову стало жаль его.

— К сожалению, ничего не могу для вас сделать,— сказал он,— мой брат был сослан на Сахалин еще восемь лет тому назад, и с тех пор мы ничего о нем не знаем.

— Почему же-с? — встревожился Арбузов.

— Говорят, он бежал оттуда, но где он в настоящее время и жив ли, нам ровно ничего не известно.

Глаза Арбузова засверкали.

— Значит, побеги оттуда возможны? — спросил он.

— Если сосланный числится в бегах,— ответил Иванов,— значит, возможны.

— И ваш братец за все это время вам ровно ничего не писал?

— Ни единой строки.

Арбузов поднялся с места.

— Какое тяжкое горе свалилось на нашу голову! — сказал он.— Чем я утешу теперь несчастную мать? Одна была надежда на вас...

Арбузов опять прослезился и, горячо пожав Иванову руку, стал прощаться.

В это время в комнату вбежал Витька за карандашом, но, увидев чужого человека, попятился назад.

— Тебе чего? — спросил Иванов.

— Ничего,— ответил Витька и так же скоро выбежал из кабинета.

Лицо Арбузова приняло умиленное выражение.

— Это ваш сыночек? — спросил он.

— Нет, не мой...— ответил Иванов.— Это сын того, сосланного... Мой племянник...

Арбузов глубоко вздохнул и с участием покачал головой.

— Бедный, бедный мальчик!..— сказал он.— Что-то его ждет впереди?

И еще раз пожав Иванову руку и оглядываясь по сторонам, точно ища выхода, Арбузов надел пальто и высокие калоши и ушел.

Два дня спустя Иванов вышел на улицу и снова встретил лакея около парадного крыльца. Увидев Иванова, он смутился, точно его застали врасплох, и снял шапку.

— Вы ко мне? — спросил Иванов.— Наденьте шапку!

— Да-с...— ответил он.— Впрочем, нет-с... Как будучи без места... Хожу вот, подыскиваю себе занятий...

Иванов хотел что-нибудь посоветовать ему, ободрить, но в это время точно из земли вырос Арбузов и с радостным видом протянул Иванову руку.

— А я к вам! — сказал он.— Здравствуйте! Бегу — и ног под собою не чую! Поздравьте меня... Письмо от сына получил. Только недавно был у вас, а сейчас вот письмо тут как тут! Бедная старуха просто без ума от радости!

И он смеялся, и в то же время слезы катились у него одна за другой по щекам.

— Ну вот и отлично! — ответил Иванов.— Отчего же он так долго вам не писал?

— Какое не писал! — воскликнул Арбузов.— Писал, и много раз писал, да милая почта его письмами печи топила! Уж не знаю, как это-то проскочило! Сжалился господь над нами, стариками! Вот пишу ему на Сахалин ответ, в какой-то Верхний Армудон...

— Армудан,— поправил его лакей.

Арбузов подозрительно поглядел на него и потом строго сказал:

— Вас не спрашивают!

Лакей сконфузился и виновато побрел своей дорогой, а Арбузов продолжал:

— Не желаете ли, я запрошу сына и о вашем братце?

— Сделайте одолжение! — ответил Иванов.— Только вряд ли из этого что-нибудь выйдет!

Они простились, и Иванов отправился по своим делам.

«Все-таки надо было бы сообщить этому старику подробности,— подумал он.— Кто знает, быть может, Григорий еще и жив!»

Но привычка считать брата умершим была сильнее всяких соображений, да и здравый смысл говорил за то, что Григорий погиб. И Иванов вскоре успокоился, что не воспользовался случаем навести о брате справки.

Как-то няня повела Витю погулять. Когда они шли по тротуару, какой-то старичок подошел к ним и дал Вите конфет.

— Как здоровье твоего папы? — спросил он у него.

— У меня папы нет...— ответил мальчик.— Мой папа умер уже давно.

— И с тех пор ты его не видел?

Мальчик посмотрел на него удивленными глазами и ответил:

— Не видал.

Старичок дал ему еще конфет и, поговорив о чем-то с няней, ушел.

Конфеты были неважные: няня и Витя не сумели дома передать, о чем им говорил этот человек, и для Иванова так и осталось тайной, кто это был. Только Анна Федоровна обиделась на няню, что она позволила Вите есть конфеты.

— Мало ли что может от них приключиться? — сказала она.— Конфеты разные бывают! Долго ли испортить ребенка.

— И-и, барыня! — ответила нянька.— От доброты никогда порчи не бывает!

В тот же день вечером к Иванову пришел лакей.

— Что он ко мне привязался? — крикнул Иванов.— Скажите ему, что я вовсе не желаю его видеть и ни в чем не могу ему помочь.

Горничная помялась.

— Он очень просит вас, барин, принять его,— сказала она.— Говорит, что очень уж вы ему нужны для чего-то...

Иванов нахмурился, хотел отказать, но потом передумал и сказал:

— Пусть войдет!

В дверях кабинета показалась знакомая фигура. Лакей вошел, сделал два шага вперед, но затем спохватился и почтительно остановился у косяка. Иванов сидел у письменного стола, сам был освещен, но от абажура на лампе весь кабинет его был в тени, и видеть выражение лица у лакея он не мог.

— Что вам угодно? — спросил Иванов.

Лакей кашлянул в кулак.

— Как будучи без места...— начал он.— Пришел попросить вас, не окажете ли вы мне протекции?

И прежде чем Иванов ему хоть что-нибудь ответил, он быстро, в два-три прыжка, очутился вдруг около него и, схватив его за оба плеча, низко нагнулся к нему и прошептал:

— Я твой брат Григорий! Молчи! Не говори никому!

Сердце у Иванова похолодело. Если бы сейчас на него обрушился потолок, он был бы менее поражен, чем этими словами лакея. Он почувствовал, как все запрыгало у него в глазах и как душу его наполнило вдруг какое-то странное чувство беспокойства — не за брата, а именно за себя и за своих. С трудом поднявшись с места и еле овладев собою, он подошел к двери и плотно ее затворил.

— Это ложь! — строго сказал он.— Вы самозванец! Мой брат не такой, как вы!

Лакей схватил его за руку.

— Да, я не такой, как ваш брат,— горячо заговорил он.— Ваш брат был блондин, а я брюнет, но это оттого, что я крашу себе волосы; у вашего брата была русая борода, а я бреюсь. И если бы вы захотели всмотреться в меня сейчас, когда я не изменяю выражения своего лица, то вы поняли бы, что я, действительно, ваш брат. Смотрите же! Беглый каторжник, весь в вашей власти, я не в силах был совладеть с собой и вот пришел повидаться с вами и с женой.

Он подошел к лампе и снял с нее абажур.

— Смотрите же! — продолжал он.— Я опять ваш брат!

Иванов взглянул на него при полном освещении, и теперь ему было ясно, что это, действительно, его брат Григорий. Но его ум отказывался признавать то, что так давно погребла его душа. И вместо того чтобы обрадоваться брату и кликнуть к нему жену и мать, он испугался его и изменившим ему голосом сказал:

— Значит, у тебя подложный паспорт?

Григорий печально покачал головою.

— Тебя пугает мой паспорт?..— сказал он.— Успокойся! У меня настоящий паспорт. Такой же, как у тебя... Мне подарил его рабочий на постройке Уссурий-

ской железной дороги, на которой работал и я. Он заболел там сыпным тифом, умер, и с тех пор я свободен так же, как и ты. Вместе с ним ушло в могилу и мое имя. Его похоронили вместо меня...

Иванов молчал.

— Я вижу, вы от меня отвыкли...— продолжал Григорий.— Что ж? Так этого и нужно было ожидать. Страдания, пережитые вами во время моего ареста и ссылки, исчерпали все запасы вашей любви ко мне. Когда умирает горячо любимый хронический больной, который всем надоел своей болезнью, то память о нем становится дороже, чем он сам. С другим утешится жена, и друга лучший друг забудет... Но мать? Что мать? Вспоминает? Плачет?

— Она записала тебя в святцы,— проговорил Иванов,— каждое воскресенье подает о тебе за упокой.

У Григория на глазах заблестели слезы.

— Милая, дорогая старуха! — воскликнул он с восторгом.— Пусть же эта ее молитва зачтется за того, кто теперь лежит там, далеко на берегу Уссури. После него, вероятно, тоже осталась мать...

— Если хочешь, я сейчас позову ее сюда! — сказал Иванов.

Григорий провел рукою по волосам.

— Нет,— сказал он,— погоди! Сейчас я, пожалуй, не совладаю с собой, и может выйти скандал, вроде того, который случился тогда в ресторане... Кстати, что твой сюртук?

— Ничего, оттерли...— ответил Иванов.— Но как ты сюда попал?

— Этот вопрос я должен задать тебе. Как вы-то сюда попали? Я хотел, чтобы вы обо мне забыли; боялся встретиться с вами, чтобы не побеспокоить вас, и жил своей особой жизнью. То крючник на Волге, то землекоп, то парикмахер, я, наконец, добрался до этого города и поступил в этот несчастный ресторан. Когда я увидел вас в тот вечер, я тотчас же узнал тебя и жену и — дурацкая натура! — так встревожился и так раскис, что опрокинул на тебя сотейник. Ты уж прости... За это я наказан: меня выгнали из ресторана.

— Чем же ты намерен теперь заняться?

— О, это для меня легче, чем для тебя! Нужда научила меня и спать под забором, и недоедать... Ведь по

паспорту я безземельный крестьянин Федор Чулков: куда уж тут лезть в сытые и в господа! А для голодного ведь всегда найдется заработок!

Иванов молчал. Задача, которую задал ему теперь Григорий, была для него совсем неразрешимой. Он смотрел на брата; множество вопросов возникало в его голове, и он не знал, что ему делать и как поступить. Радостного свидания из их встречи не вышло, сердце отступило на задний план, и теперь приходилось считаться с рассудком или же обманывать себя и лицемерно вешаться друг другу на шею. Оставить Григория у себя значило бы снова воскресить в своей семье то, что уже давным-давно было погребено, а бросить его на произвол судьбы, отречься от него казалось некрасивым. Иванов сознавал, что если бы в его сердце оставалась еще хоть сотая доля той любви к брату, какую он испытывал тогда и какую питал к его памяти теперь, то их встреча не была бы так холодна. Но такой любви в себе он не ощущал и знал, что и мать его тоже ее не ощутит. Для нее ее сын Григорий был святой, с мученическим венцом на главе, и было бы жестоко теперь показать ей вместо этого великомученика простого лакея. Анна Федоровна, жившая с мужем всего только год, благоговела перед его памятью; лучше его для нее не было мужчин, но это только потому, что до сих пор она сохраняла в своей душе его образ все таким же, каким он был в их медовый месяц. И если бы она увидела его теперь, в его поношенном ватном пальто, сутулого и так изменившего свой внешний вид, и ей сказали бы, что это ее муж, которого она когда-то любила, она почувствовала бы то же, что человек, который неожиданно для себя вместо поэтического тенистого сада вдруг видит выросший на его месте некрасивый пятиэтажный дом. О Витьке уж нечего и говорить. Он вовсе не знал отца. И тот прекрасный бесплотный дух, оставшийся вместо брата, сына, мужа и отца, который они так боготворили и который жил среди них и вдохновлял собою всю их жизнь, теперь воплотился в этого некрасивого лакея, с сизым бритым лицом. Нет, покойники не должны вставать из гроба, и святые не должны воплощаться в людей.

Наступило тяжелое молчание. Иванов сидел и не знал, как ему поступить, а Григорий стоял, переминался



с ноги на ногу и виновато пожимал плечами. Он сознавал, что сделал большую ошибку, что открылся брату, а Иванов чувствовал, что ему предстоит еще много работы над собой, чтобы воскресить в себе умерший образ брата и снова начать молиться на него так же, как он молился на него до сих пор.

— Прощай...— сказал наконец Григорий.

Иванов поднялся с места.

— Погоди минутку,— сказал он.

И, подойдя к двери, он отпер ее и кликнул в столовую, где в это время уже садились за чай.

— Мама, Ася, Витька! Идите сюда!

Старушка и мать с сыном вошли в кабинет и, увидя незнакомого человека, почувствовали неловкость. Григорий жадно впился в них глазами.

— Вот этот человек,— сказал Иванов,— был в Сибири и видел, как хоронили нашего Григория. Он умер при постройке Уссурийской дороги от сыпного тифа!

Мать закрыла платком глаза и несколько раз перекрестилась, а на лицах Анны Федоровны и Вити появилось выражение глубокого благоговения перед памятью мужа и отца.

Григорию хотелось протестовать, хотелось сказать, что это ложь, что он жив и пришел, чтобы остаться с ними совсем и уж не разлучаться никогда, но, увидев эти святые слезы своей матери и эти восторженные взгляды своих сына и жены, он понял, что умер для них навсегда и что нарушать эту связь их душ с его душою было бы так же преступно, как и навязывать им новую жизнь и живого себя.

И, оглядев кабинет, уставленный и увешанный кругом только одними его портретами, он глубоко вздохнул и, махнув безнадежно рукою, ни слова не говоря, вышел из дома.

— Ну, слава богу! — говорила в это время мать.— Теперь я знаю точно, что Гриша умер, и верю, что душа его в раю...

Витя тоже перекрестился, и по его глазам можно было прочитать, что в его душе образ его отца сложился в нечто высокое и прекрасное, равного чему не могло быть во всей вселенной.

Затем долго молчали, как это бывает в минуты, когда говорят о дорогом покойнике.

— Ну что ж, господа,— нарушил наконец молчание Иванов.— Кажется, и самовар уж давно погас!

— Да, идите чай пить,— сказала старушка и вытерла насухо глаза.— Хороший, Витя, был человек твой отец! Благородный, пострадавший за других. Помни о нем и цени его высоко!

И все перешли в столовую.

В тот же вечер Иванов отправился в ресторан, где служил Григорий, чтобы от его товарищей узнать, где он теперь живет и чем бы можно было ему помочь.

Едва только он сошел с крыльца, как навстречу ему попался Арбузов. Лицо его переменилось, и как-то странно светились теперь его глаза.

— Я так и знал, что он не удержится и придет к вам! — весело сказал он и потер себе руки.

— Кто придет? — спросил его Иванов.

— Ваш братец, Григорий Сергеевич! Я уже давно слежу за ним, и мне нужно было только убедиться в правдивости моих предположений и в том, покрывали ли вы его или нет? Не трудитесь его искать!

У Иванова похолодело сердце.

— Где же он теперь? — спросил он.

Арбузов сделал выразительный жест рукой и многозначительно засвистал.

Иванов понял, что его брат умер теперь для всех навсегда и что больше уж не воскреснет ни для кого.

И полный чувства омерзения к Арбузову, он вернулся домой и, не снимая пальто, бросился на диван и зарыдал.

НАСЛЕДСТВО

Похоронили Ивана Максимыча и долго думали о том, как повести себя по отношению к его вдове, которая была за границей, в Мариенбаде. Захочет ли она воспользоваться своим правом хозяйки? И если захочет, то, конечно, мать и сестра покойного уступят ей низы, а сами поселятся наверху, и пусть она будет полной хозяйкой. Только один вопрос волновал и мать и сестру: а что, если покойный оставил духовное завещание? И если оставил, то где оно?

Приехала вдова, отперла несгораемый шкаф в кабинете своего покойного мужа и уверенно достала из него завещание.

— Нина,— обратилась она к сестре покойного.— Вот на твое имя пакет. Здесь завещание. Распечатай его.

Дрожащими руками Нина Максимовна распечатала пакет и залилась слезами. Завещание выпало у нее из рук. Вошла мать, Анна Петровна, и тоже встревожилась. Вдова Софья Сергеевна подняла с полу письмо и подала его старушке.

— Читайте, мамаша,— сказала она.— Это завещание! Оно адресовано на имя Нины.

Анна Петровна опустила со лба очки на нос и прочитала:

— «Дорогая сестра Нина Максимовна, завещаю тебе все мое имущество, состоящее в двухэтажном каменном доме на Митинской улице с землею, под № 63, и весь мой капитал, находящийся в Государственном банке в сумме сорока восьми тысяч пятисот рублей с процентами. В доме живи ты сама с матерью, и было

бы желательно, чтобы после вашей смерти он перешел в городское управление под приют для престарелых, о чем ты сделай соответствующее завещание, если того захочешь. Из оставленного мною капитала пять тысяч выдай жене моей, Софье Сергеевне, а остальные деньги возьми себе. Ты будешь получать с них проценты, по сто пятьдесят рублей в месяц, каковой суммы, полагаю, хватит на содержание тебя самой и нашей матери.

После вашей смерти деньги эти должны перейти нашему родному городу на образовательные цели, хотя я и в этом не хочу тебя стеснять.

Живите мирно, помогайте бедным, и да благословит вас бог. *Иван Максимович Хитров».*

Нина Максимовна обняла невестку и зарыдала.

— Ты хорошая женщина,— сказала она,— ты честная женщина. Прости меня... Прости меня...

— Да что такое? — спросила Софья Сергеевна.— Почему тебя прощать?

— Ты могла бы уничтожить это завещание... Или просто не отдать... Но ты этого не сделала.

Софья Сергеевна нахмурилась.

— Успокойся, Нина,— сказала она.— У тебя расстроены нервы.

— Прости меня... Прости...— рыдала Нина Максимовна у нее на плече.— Это я так... Ты не обращай на меня внимания. Это я так...

А старушка в это время сидела в кресле и, повернув голову к образу, крестилась.

— Спасибо ему, голубчику,— говорила она.— Пошли ему, господи, царствие небесное. Упокой, господи, его душу... Капитала-то, капитала-то что! И от всех от нас, голубчик, скрывал! А ведь мы-то думали, что, кроме дома, он, голубчик, ничего не имел, и даже похоронили-то его не так, как следовало бы по капиталу!

— Мамаша! — строго сказала ей Софья Сергеевна.

— Прости, прости, дружочек...— залепетала старушка.— Это я так... так...

Затем все втроем долго плакали и решили из уважения к памяти покойного ничего больше о деньгах не говорить.

Наутро приехал из Петербурга брат, Григорий Максимович. Веселый, смешливый, он, видимо, старался как можно больше каламбурить, чтобы только развлечь

родных. Но, оставшись наедине с матерью, он все-таки не выдержал и зарыдал. А потом он быстро отер слезы и весело стал насвистывать. Он был младшим братом, воспитанником покойного, нежно любил его и теперь, с его смертью, чувствовал себя одиноким. Ему казалось, что теперь для него все пропало.

Хотя и решили ничего не говорить о деньгах, но этого не вышло, так как пришлось показать ему завещание.

— Благороднейшая личность! — воскликнул в восхищении Григорий Максимович.— Чудная, великолепная личность! Так может распорядиться своим имуществом только истинно великий человек!

А затем он нахмурился и, вертя завещание в руках, заходил из угла в угол.

— Ты что? — спросила его сестра.

— Да так, ничего...— ответил он.— Маленькая оплошность со стороны брата, но ведь при нашем отношении к его воле это сущие пустяки. Ведь мы не станем оспаривать его воли! И брат Петр тоже! Тем более, что мы, братья, от Вани не ожидали ровно ничего...

— Да в чем дело? — спросила Софья Сергеевна.

— В завещании нет подписей свидетелей.

— А разве это важно?

— Без подписей свидетелей это не завещание, а простой клочок бумаги.

— Но ведь, полагаю, никому нет дела до подписей,— сказала сестра.— Мы желаем исполнить в точности волю покойного и оставить все на благотворительные цели. Кому какое дело?

— Так-то оно так, да только дело должно пройти через окружной суд.

Все встревожились.

— И что же тогда? — спросила Нина Максимовна.

— Да то, что во всем наследстве утвердят только меня и брата Петра да в указанной части Софью Сергеевну, а ты и мать ни при чем...

Старушка испугалась.

— Но ведь воля покойного выражена ясно! — воскликнула она.

— Суду до этого нет ровно никакого дела, мама! — ответил Григорий Максимович и снова зашагал по комнате.— Да, да...— продолжал он.— Я и Петр явимся на-

следниками по закону. Но ты не бойся, сестра, я откажусь... Сегодня же я подпишу отречение от наследства. Воля брата благородна и для меня священна...

— Для меня тоже,— сказала Софья Сергеевна.— Я тоже откажусь!

— А за брата Петра я ручаюсь. Я сегодня же напишу ему в Курск!

Мать и сестра восторженными глазами смотрели на невестку и Григория Максимовича, и слезы потекли у них по щекам.

— Милые, хорошие мои...— залепетала старушка.— Святые...

Через два дня Григорий Максимович уехал обратно в Петербург, а дней через шесть оба они, и Григорий и Петр, уже прислали нотариальные отречения от наследства. И каждому из них думалось, что если у покойного их брата было настолько благородства, что все свое состояние он завещал в пользу родины, которую любил, то и у них теперь явилось крепкое убеждение, что своим отречением от наследства и они в общий улей внесли свою каплю меда. Правда, они вовсе не ожидали от брата наследства, так как даже и не подозревали, что у него имелся такой капитал. Что же касается дома на Митинской улице, то они уже давно привыкли считать его собственностью сестры, матери и невестки. Тем легче им было отказываться от наследства. А с другой стороны, и дом вовсе не притягивал их к себе. Петр оседло жил в Курске, а все интересы Григория были в Петербурге, и владение домом в далекой провинции, хотя большим и дорогим, только бы их стеснило. Нет, они искренне и честно отказываются от наследства! Они уважают волю брата, как глубоко уважали его самого при жизни. Они радуются за мать, за сестру, радуются за свой родной город и горячо благоговеют перед своей невесткой, которая сумела быть достойной своего покойного мужа. Как наследница, по закону она получила бы гораздо больше, чем те пять тысяч, которые он ей оставил, но она этого не хочет... Славная, милая, благородная женщина!

Через месяц сестра прислала Григорию письмо. Она писала ему, что банк не выдает ей процентов и что это ставит ее в неловкое положение перед прислугой, которой надо платить. Мать это очень беспокоит, да и ее са-

мое пугает будущее, так как денег нет, а банк, по-видимому, без подписи окружного суда не будет выдавать денег и впредь.

Григорий Максимович послал на первое время ей двести рублей и советовал ей как можно скорее нанять адвоката, чтобы он провел ее дело в окружном суде. Это сущие пустяки, писал он ей, и, надо полагать, адвокат дорого не возьмет, так как никаких хитростей в деле нет.

Она ответила ему, что адвокат уже нанят и что на будущей неделе он приедет в Петербург поговорить с Григорием Максимовичем лично.

«Зачем он поедет? — подумал Григорий.— Ведь все документы и отречения, мое и Петра, у сестры!»

Приехал адвокат. Милый, важный, любезный, он сообщил Григорию Максимовичу, что его отречение никакого значения не имеет и что надо утверждаться в правах наследства ему и его брату Петру.

— Почему не имеет? — встревожился Григорий Максимович.

— Потому что ваш покойный брат,— отвечал адвокат,— умер, не оставив духовного завещания. Ведь нельзя же письмо покойного к своей сестре считать завещанием! Его не признает никакой суд в мире. Таким образом, имущество вашего брата является для вас родовым.

— Но почему же я не могу отказаться?

— Да потому, что наследство к вам и к вашему брату, Петру, переходит по закону — понимаете? По закону — как родовое, а не по завещанию, как благоприобретенное.

— Простите меня, но я совершенно не понимаю... Я человек правоспособный и почему-то не могу вдруг отказаться от того, чего вовсе иметь не хочу.

— Таков закон,— ответил адвокат.— Если бы вы были одиноки, то еще туда-сюда. Но ведь у вас, я слышал, есть дети. А за них вы не имеете права отказываться.

Григорий Максимович тут только сообразил, в чем дело.

— Как же быть? — спросил он.

— Вы хотите исполнить волю вашего брата?

— Да, она для меня священна.

— В таком случае,— продолжал адвокат,— есть два выхода из положения. Первый — это пусть ваша сестра Нина Максимовна утверждается в правах наследства. Как только ее утвердят, так сейчас же вы и ваш брат, Петр Максимович, подайте на нее в суд жалобу за присвоение себе наследства помимо вас и решите затем дело полюбовно, миром, то есть что вы уступаете ей все наследство только на условиях, указанных в завещании.

Григорий Максимович в волнении прошелся по комнате.

— Что вы советуете? — спросил он.— Разве это возможно? Подавать на сестру?

— Я и знал, что вы не согласитесь на это,— ответил адвокат.— Я сообщил это вам только как один из выходов из положения. А вот в чем состоит второй выход, и уж единственно возможный.

Григорий Максимович остановился перед адвокатом и приложил руки к груди.

— Но я ведь вовсе не желаю этого наследства! — воскликнул он.— Понимаете, не желаю вовсе!

— У вас есть дети,— спокойно ответил адвокат,— которые могут пожелать его, когда вырастут. За них-то вы не вправе решать вопрос.

— В чем же состоит второй выход? — спросил Григорий Максимович.

— Вы и ваш брат, Петр Максимович, должны отправиться к нотариусу и запродать вашей сестре Нине Максимовне ваше наследство ну хоть тысяч за двадцать, что ли... Фиктивно, конечно... Родовое продавать можно... Отказываться нельзя, но продавать можно. Затем, когда вас утвердят в правах наследства, вы совершите купчую — и дело в шляпе. Ваша сестра получит дом по купчей, а деньги вы передадите ей прямо с рук на руки. Вот и все.

Григорий Максимович почувствовал, как кровь прилила ему к вискам.

— Но ведь это ложь! — сказал он.— Как я могу запродавать то, что еще не мое, чего я не хочу, и запродавать за деньги, которых не получал и не получу?..

— Таков выход из положения,— ответил адвокат.— Как хотите. Конечно, можно и без запродажной, но тогда, в случае если вы умрете до утверждения вас в пра-

вах наследства,— все под богом ходим,— то уж все достанется вашим детям, и воля вашего брата, конечно, выполнена не будет. Повторяю — как хотите. Я хлопочу о вашем же интересе.

Адвокат взялся за шляпу.

— Послушайте,— обратился к нему Григорий Максимович и с мольбою взял его за руку выше кисти.— Будем говорить, как простые люди. Каков бы ни был закон, неужели же для того, чтобы привести в исполнение ясно выраженную волю человека, ясность и трезвость ума которого может удостоверить целый город, целый уезд, нужно вдруг лгать, писать фиктивные запродажные, расписываться в получении дутых сумм — одним словом, совершать ряд фокусов, недостойных, простите, культурного человека? Неужели это нужно? Нет, воля ваша, а я не могу на это согласиться. Я отрекся уже от наследства и считаю, что это все, что я должен был честно сделать.

Адвокат молча взял портфель и палку и молча протянул ему руку.

— Подумайте! — сказал он ему после минутного молчания.— Подумайте и желаю вам быть здоровым. До свиданья!

И он вышел. Григорий Максимович лег на оттоманку и закрыл лицо руками. Ему было больно и обидно. Такой простой случай, так ясно выражена воля покойного, так честно он, Григорий, и брат его, Петр, отказались от наследства — и вдруг эти лучшие чувства одного, завещавшего все в пользу родного города, и других, с радостью отрекшихся от этого наследства, должны уступить теперь место разным экивокам, фиктивным запродажным купчим, и только потому, что у него, у Григория, есть сынишка и дочь. Нет, этого не может быть, это что-то не так, это все хитросплетения юристов, и Григорий Максимович из упрямства, из принципа не желает лгать даже дозволенной ложью и не пойдет ни на какие сделки с своею совестью. И если уж так суждено, что все должно достаться брату Петру и ему, то они тотчас же все передадут сестре и даже в мыслях не допустят, чтобы хоть на одну йоту была не исполнена воля покойного Ивана. А если вдруг он, Григорий, завтра умрет? Что, если вдруг умрет завтра брат Петр, у которого к тому же астма и громадная семья?

И при мысли, что все может достаться их семьям и воля покойного брата не будет тогда приведена в исполнение, Григорий Максимович вскочил с оттоманки.

— Но как же быть? — воскликнул он.— Как быть?

Раздались мелкие, детские шаги, и в комнату вбежал мальчик Костя с большими серыми глазами. На нем были коротенькие чулочки, и все коленки у него были искусаны комарами.

— Папка,— сказал он,— тебя мамка зовет! Ты чего так ходишь?

Григорий Максимович остановился, схватил его за плечи, приподнял и посмотрел ему прямо в глаза.

— А того,— отвечал он,— что тебя боятся! Понимаешь? Тебя боятся и заставляют твоего папку ни за что врать!

И, спохватившись, что не следовало бы о таких вещах говорить с ребенком, он подвел его к двери и тихонько вытолкнул за нее.

— Ну, иди, иди! — сказал он.— Скажи маме, что я сейчас...

Через несколько дней пришло от Нины Максимовны письмо. Против обыкновения, оно было написано в холодных, сдержанных выражениях. В конце письма сестра писала: «Конечно, ты и Петруша являетесь наследниками по закону, и я и мать беспрекословно подчинимся решению суда».

После подписи была приписка от матери, сделанная, очевидно, без ведома сестры:

«Грех это, Гриша».

Григория Максимовича это взорвало.

— Что им нужно от меня! — вспылил он и скомкал письмо.— Ведь я же отказался от наследства, отказался от всего! Чего им еще надо? Неужели я должен обязательно лгать, писать фиктивные запродажные, делать дозволенные законом подлоги? Не желаю — вот и все!

Но мысль о том, что его упорство начинало уже портить семейные отношения, которыми все Хитровы так дорожили, боязнь, что сестра и мать смогут объяснить себе его отказ совсем не так, как он того желал бы, заставила его призадуматься.

Ну а если он, действительно, поступит так, как советовал ему адвокат? Если он проделает все те штуки, которые необходимы для осуществления воли брата?

Конечно, мать и сестра будут довольны и истина восторжествует, но какими путями? Что останется от воли брата Ивана, которую он высказал свободно? Ровно ничего. Благодетелями уже явятся не он, брат Иван, а они — Григорий и Петр. И при этом не даром отдадут, а запродадут. И никому не будет известно, что купчая фиктивна, что они, Григорий и Петр, не взяли у сестры ни копейки, что же касается капитала, то кто поверит, что они передали его прямо с рук на руки сестре? Правда, это мелочно обращать внимание на людские разговоры, быть может, даже никто ничего и не скажет, но почему-то в голову лезут все одни только нехорошие мысли.

«Ах какой я неврастеник!» — подумал Григорий Максимович и взялся за виски.

Конечно, он никогда не согласится ни на какие компромиссы. Он честно отказался от наследства и больше не сделает ровно ничего. Но тогда...

Григорий Максимович вскочил и в страхе забегал по комнате.

— Тогда... Тогда,— пробормотал он,— все, и родня и чужие, подумают, что я хочу оттягать это наследство себе! Фу, гадость какая!

Наутро приехал брат Петр из Курска. Они обнялись, прослезились и долго говорили о покойном брате. Затем вечером удалились в кабинет и опять долго говорили о покойном. Странно, как-то сами собой приходили в голову такие мелочи об Иване, которые в другое время не вспомнились бы никогда.

— Ну, что наследство? — спросил брат Петр.

Григорий Максимович безнадежно махнул рукой, встал, вновь заходил по комнате и рассказал брату все.

— А я бы на твоем месте,— обратился к нему Петр,— поступил бы именно так, как советовал тебе адвокат.

— А истина? А правда? — встревожился Григорий.

Брат Петр глубоко вздохнул.

— Да что такое истина? — сказал он.— Ведь если бы не было ночи, то не было бы и дня; если бы не было плюса, то не было бы и минуса. Ведь мы только потому и познаем добро, что есть зло. И если ты не признаешь зла так же необходимым в природе, как и добро, то не будешь тогда иметь понятия и о добре. Согласись, что

не мог же законодатель при составлении законов о наследстве предусмотреть наш случай. Тогда бы получилось не сорок пять томов закона, а все сто сорок пять... Наоборот, запродажная, которая кажется тебе злом, на мой взгляд, является только добром: с одной стороны, она устраивает дело, а с другой — только рельефнее подтверждает твою личную порядочность и душевную чистоту.

— А люди? — спросил брат Григорий.— Что подумают люди?

— Да что люди! Свет и во тьме светит. То, что ясно, ясно для всех. Кто может подумать, что ты украл или убил? А я так с иной точки зрения смотрю на это дело. Мне кажется, что, глядя на наш случай, люди скажут: «Какая нелепость эти две подписи на завещании, когда все добрые люди знают, что покойный был в здравом уме и трезвой памяти! И вот, скажут они, это отсутствие ненужных подписей заставило порядочных людей лгать, составлять фиктивные запродажные, поступать против совести...» И кто знает, быть может, благодаря нам нашим внукам придется жить вдвое легче и вдвое счастливее. Ведь жизнь идет всегда далеко впереди права, и праву за жизнью не скоро поспеть.

Оба с облегчением вздохнули.

— Ну что же? — сказал Петр.— Давай писать сестре?

— Давай,— ответил Григорий.— Кстати, уж и адвокату!

— В таком случае давай писать сначала адвокату, а потом и сестре.

И оба уселись за писание писем.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГРЕХ

Впервые напечатано в газете «Новое время» 7 ноября 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

ОДИН

Впервые напечатано в газете «Новое время» 27 мая 1902 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В конце XIX — начале XX века русскую интеллигенцию волновали вопросы борьбы за существование, наследственности, естественного подбора, закона больших чисел, вырождения. Многие скатывались к полному пессимизму и даже к проповеди самоубийства. В рассказе «Один» М. П. Чехов касается этих проблем в плане победы человека, его воли и разума над темными силами природы. Взгляды автора перекликаются в этом со взглядами его брата, А. П. Чехова, о которых Михаил Павлович сообщил в своей книге «Вокруг Чехова», рассказав о спорах писателя с зоологом В. А. Вагнером:

«Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то кончено, возврата обратно нет, ибо природа не шутит; а Чехов возражал: как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием» (изд. 1964 г., стр. 237).

ГРИШКА

Впервые напечатано в газете «Новое время» 28 июня 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В журнале «Золотое детство» опубликовано с сокращениями в № 14 за май 1910 г.

М. П. Чехов в течение пяти лет (1890—1895) работал податным инспектором в Тульской, Московской и Ярославской губерниях. За это время он побывал в сотнях крестьянских изб, хорошо познакомился с бытом нищей тогда деревни. В рассказе «Гришка» он отобразил эти свои впечатления.

СЖИВЕТСЯ — СТЕРПИТСЯ

Впервые напечатано в газете «Новое время» 19 июня 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В рассказе описаны события, происходившие во второй половине 1880-х годов в семье священника, служившего в церкви села Никулина, что в двух верстах от города Воскресенска (ныне Истры) Московской губернии. В эти годы семья Чеховых проводила летний отдых в усадьбе Бабкино, в трех верстах от Никулина, и М. П. Чехов встречался со священником.

ПРЕСТУПНИК

Впервые напечатано в газете «Новое время» 24 декабря 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В рассказе приведены отдельные эпизоды из жизни угличского лесничего Сафара Измаиловича Урусбиева. М. П. Чехов познакомился с ним в начале 1894 г., когда был переведен в Углич.

СТЕНА

Впервые напечатано в газете «Новое время» 18 октября 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

Юрист по образованию, М. П. Чехов следил за судебными процессами того времени. Наиболее интересные материалы он использовал в некоторых своих рассказах. В 1906—1911 гг. М. П. Чехов работал помощником присяжного поверенного.

НЕПРИЯТНОСТЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время» 20—21 сентября 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В этом рассказе ряд подробностей связан со смертью и похоронами отца М. П. Чехова — Павла Егоровича.

ОСЕНЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время» 9 октября 1902 г. Подпись: М. Чех.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

Этот рассказ навеян судьбою сестры М. П. Чехова, Марии Павловны, которая так и осталась незамужней.

РЕВЕРС

Впервые напечатано в газете «Новое время» 19 декабря 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

До революции в царских войсках было правило: офицеры не могли жениться до 28-летнего возраста. Если молодой офицер настаивал на женитьбе, ему она разрешалась, но под залог крупной денежной суммы — от 500 до 1000 рублей. Как только ему исполнялось 28 лет, залоговые деньги возвращались. Ранние браки офицеров считались для армии неудобными.

Описанный в рассказе случай М. П. Чехов наблюдал в Ярославле в 90-х годах прошлого века.

БЕДА

Впервые напечатано в приложении к газете «Новое время» 6 октября 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В 1892—1894 гг. М. П. Чехов управлял мелиховским имением А. П. Чехова. Некоторые наблюдения и впечатления тех лет автор и отобразил в рассказе.

ГЕНЕРАЛЬША

Впервые напечатано в газете «Новое время» 5 февраля 1902 г. под названием «Мещане». Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы» под названием «Генеральша», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В рассказе описана обстановка домашней жизни вельможи, которую М. П. Чехов наблюдал в годы службы в Ярославской казенной палате (1896—1901).

ИНТРИГА

Впервые напечатано в газете «Новое время» 6—7 июня 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

В рассказе описан случай, происшедший в городе Угличе Ярославской губернии в мае 1894 г.

ПО СОВЕСТИ

Впервые напечатано в газете «Новое время» 18 июля 1901 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

Судебное дело о двоемужие слушалось в Ярославском окружном суде в 90-х годах прошлого века. Один из знакомых М. П. Чехова был на этом суде старшиной присяжных заседателей и позже рассказал ему содержание дела, которое и легло в основу рассказа.

ОТ СКУКИ

Впервые напечатано в газете «Новое время» в 1901 или 1902 г. Подпись: М. Ч.

Вошло в сборник «Очерки и рассказы», первое издание — 1904 г., второе — 1905 г.

Рассказ написан по впечатлениям, полученным М. П. Чеховым в городе Угличе, когда он служил там податным инспектором в 1894—1895 гг.

СИНИЙ ЧУЛОК

Повесть написана предположительно в 1903 г. В 1904 г. вышла отдельным изданием с титульным листом: «Мих. П. Чехов. Синий чулок. Повесть. СПб. Дата цензурного разрешения 22 марта 1904 г.».

Сельскохозяйственные работы, уклад жизни в усадьбе, пейзаж — все это описано автором по мелиховским впечатлениям, конечно, с творческой переработкой.

Повесть ставит целый ряд волновавших тогдашнюю прогрессивную интеллигенцию социальных проблем.

«ЕДИНАЯ ЖЕНА»

Первая публикация рассказа в периодической печати пока не найдена. Рассказ вошел в сборник «Свирель», СПб., 1910 г.

В усадебной и сельской обстановке, описанной в этой повести, заметны мелиховские впечатления.

МЕСТЬ

Впервые напечатано в Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу «Нива», № 6, 1907 г., с подзаголовком: «Рассказ М. П. Чехова».

Вошло в сборник «Свирель», СПб., 1910 г.

В образе чиновника Гречихина находим много автобиографических черт.

В повести описан произвол, чинившийся ярославским полицеймейстером в годы, когда М. П. Чехов служил в Ярославской казенной палате. Непосредственным начальником М. П. Чехова тогда был действительный статский советник, кавалер многих орденов Михаил Сергеевич Кропотов, крупный саратовский помещик. Конфликт между М. П. Чеховым, воспитанным в лучших демократических традициях конца XIX века, и косным миром чиновников назревал ряд лет. 7 февраля 1901 г. Михаил Павлович так писал брату А. П. Чехову: «Унижаться и лизать задницу я не могу, а отсюда — целый ряд столкновений, доводящих меня до таких сердцебиений, от которых я еле устаиваю на ногах».

28 февраля того же года Михаил Павлович писал брату о предъявленном ему генералом обвинении: «...я не веду компании с чиновниками и выказываю им мое явное недоброжелательство тем, что не бываю там, где бывают они».

Все это привело к уходу М. П. Чехова с государственной службы.

СИРОТЫ

Впервые напечатано в Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу «Нива», в № 6 и 7 за

июнь и июль 1905 г., СПб., с подзаголовком: «Повесть Мих. Павл. Чехова».

В отдельном издании вышло с титульным листом: «Мих. П. Чехов. Сироты. Повесть». Первое издание — 1905 г. (дата цензурного разрешения 20 августа 1905 г.), второе издание — 1910 г.

Вошло в сборник «Свирель», СПб., 1910 г.

Описание городского пейзажа навеяно таганрогскими впечатлениями.

СУДЬБА

М. П. Чехов в марте 1906 г. ездил за границу и посетил Шильонский замок. Из этого следует, что повесть написана не раньше апреля 1906 г.

Она вошла в сборник «Свирель», 1910 г.

АНЮТА

Впервые напечатано в газете «Слово» 12 января 1907 г. Подпись: Михаил Чехов.

Вторично опубликовано в газете «Литературная Россия» 15 октября 1965 г., со вступительной статьей М. П. Сокольникова, портретом М. П. Чехова и иллюстрацией.

В рассказе описан случай, имевший место в Мелихове. Усадьба А. П. Чехова двумя своими сторонами граничила с селом Мелиховом. Этим объясняется то, что Чеховы были свидетелями ряда событий, происходивших в крестьянской среде.

20 октября 1896 г. П. Е. Чехов так записал в своем дневнике: «Анюту Андрианову пропили». Это-то событие и послужило канвой рассказа.

Через год, 2 октября 1897 г., П. Е. Чехов сделал такую запись в своем дневнике: «Анюта умерла, которая у нас жила. Ее заразили повивальные бабки во время родов».

НА БАРЖЕ

Впервые напечатано в газете «Слово» 26 июня 1907 г. Подпись: Михаил Чехов.

В основу рассказа положены впечатления, полученные М. П. Чеховым во время его многочисленных поездок по Угличскому уезду в качестве податного инспектора. Как юриста, М. П. Чехова интересовали сложные случаи из судебной практики.

СЕСТРА

Впервые напечатано в Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу «Нива», № 12 за декабрь 1907 г., с подзаголовком: «Рассказ М. П. Чехова».

В рассказе автор выступает противником модного в те годы толстовства и показывает, к какому абсурду приводит фанатичное следование этим идеям. Автор обрисовал трагическую ситуацию, возникшую из-за несовершенства законов о наследовании родовых имуществ.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Впервые напечатано в журнале «Вестник Европы», т. 5, за сентябрь 1907 г., с подзаголовком: «Рассказ». Подпись: Михаил Чехов.

Тема рассказа родилась у М. П. Чехова в годы реакции, наступившей после революции 1905 г. При разработке сюжета автор использовал имевший место случай, о котором ему сообщил один из знакомых.

НАСЛЕДСТВО

Рассказ «Наследство» публикуется впервые.

Черновая рукопись его с заглавием «Ложь» была найдена после смерти М. П. Чехова в его бумагах. Датой написания рассказа следует считать январь 1905 г.

Рассказ повествует о мрачной обстановке введения в права наследования имущества в те годы. В основу сюжета рассказа легли события, которые произошли в чеховской семье. Как известно, нотариального завещания А. П. Чехов не оставил. Сохранилось только следующее завещательное письмо на имя Марии Павловны Чеховой от 3 августа 1901 г.:

«Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи... После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение Таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — Таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию... Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно.

Антон Чехов».

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Павлович Чехов — беллетрист. Вступительная статья *М. П. Сокольникова* 3

Очерки и рассказы

ГРЕХ 21
ОДИН 33
ГРИШКА 39
СЖИВЕТСЯ—СТЕРПИТСЯ 49
ПРЕСТУПНИК 59
СТЕНА 65
НЕПРИЯТНОСТЬ . . . 79
ОСЕНЬ 95
РЕВЕРС 101
БЕДА 112
ГЕНЕРАЛЬША 121
ИНТРИГА 131
ПО СОВЕСТИ 141
ОТ СКУКИ 149

Синий чулок. *Повесть* 157

Свирель. *Повести* . . 213

«ЕДИНАЯ ЖЕНА» . . . 215
МЕСТЬ 243
СИРОТЫ 263
СУДЬБА 300

Анюта. *Из несобранных рассказов* 335

АНЮТА 337
НА БАРЖЕ 344
СЕСТРА 354
ПУСТОЙ СЛУЧАЙ . . . 370
НАСЛЕДСТВО 382

Примечания *С. М. Чехова* 392

Чехов Михаил Павлович
СВИРЕЛЬ
М. «Московский рабочий». 1969
400 с. Р2

Редакторы *Д. Терентьева, Т. Бойко*
Оформление *Ю. Давыдова*
Иллюстрации *С. С. Чехова*
Художественный редактор *А. Игнатьева*
Технический редактор *Т. Павлова*

Издательство «Московский рабочий».
Москва, пр. Владимирова, 6.

Л49225. Подписано к печати 23/IV 1969 г. Формат бумаги 84 × 108 1/32. Бум. л. 6,12. Печ. л. 21,0. Уч-изд. л. 19,87. Тираж 100 000. Тем. план 1969 г. № 248. Цена 78 к. Заказ 1808.

Типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.